

А. БОГДАНОВ

ПРАЗДНИК
БЕССМЕРТИЯ



А. БОГДАНОВ

ПРАЗДНИК БЕССМЕРТИЯ



ЛЕНИЗДАТ
КЛАССИКА



ЛЕНИЗДАТ

К Л А С С И К А

А. БОГДАНОВ

ПРАЗДНИК БЕССМЕРТИЯ

Избранные произведения



Издательская группа «Лениздат»
Санкт-Петербург

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)1+6
Б73

Дизайн обложки Вадима Обласова

Богданов А.

Б73 Праздник бессмертия : Избранные произведения. — СПб. : Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2014. — 384 с.

ISBN 978-5-4453-0176-9

Литературное творчество Александра Александровича Богданова (1876–1928) — одна из вершин этой уникальной разносторонней личности. Он был известен как талантливый врач-психотерапевт; автор оригинальных работ по экономике и философии; профессиональный политик; социал-демократ; член ЦК партии большевиков; сначала соратник, а затем соперник В. И. Ленина, его антагонист; член оппозиционной группы «Вперед»; лидер и идеолог Пролеткульта; организатор первого в мире Института переливания крови. Трудно назвать сферу деятельности, которой не коснулся бы А. Богданов, область науки, в которой он, настоящий подвижник и ученый-энциклопедист, опередивший свое время, не оставил бы след. В книгу вошли произведения, составившие так называемую «марсианскую» трилогию Богданова: роман-утопия «Красная звезда», фантастический роман «Инженер Мэнни», поэма «Марсианин, заброшенный на Землю», а также тематически примыкающий к ним рассказ «Праздник бессмертия», посвященный далекому будущему нашей планеты, где люди наконец построили коммунистический рай и открыли свой «эликсир бессмертия».

УДК 882
ББК 84(2Рос=Рус)1+6

© Мирзаев А. М., предисловие,
комментарии, 2014
© Оформление. Издательская группа
«Лениздат», 2014
© ООО «Команда А», 2014
Издательство ЛЕНИЗДАТ®

ISBN 978-5-4453-0176-9

«МАРС, ДАВНИЙ СТАРЫЙ ДРУГ! НАШ БРАТ! ДВОЙНИК НАШ АЛЫЙ!..»*

«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — это науке неизвестно. Наука пока еще не в курсе дела» — знаменитая глубокомысленная сентенция Никадилова, роль которого в комедийном музыкальном фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» (1956) с блеском исполнил актер Сергей Филиппов. Разумеется, это был абсолютно беспронзый ход, замечательная режиссерская находка. Конечно, смешно. Как тут не засмеяться, когда во время праздничного новогоднего концерта на сцену спиралеобразно выбегает лектор из «Общества по распространению», которого успели уже изрядно подпоить, и начинает считать звездочки: «Одна звездочка, две звездочки, три звездочки... лучше всего, конечно, пять звездочек». Но этот безусловный смеховой эффект заставляет нас забыть о самой первой фразе «лекции» Никадилова: «Всех вас интересует вопрос, есть ли жизнь на Марсе...»

Да, все мы прекрасно знаем, что наша планета периодически болеет тотальной «марсианоманией», но чем был вызван очередной ее приступ в 1956-м? Связано ли это с великим противостоянием Марса, наблюдавшемся в этом году (кстати, именно в 1956-м были определены главные

* Из стихотворения Валерия Брюсова «При электричестве» (1911).

планы будущих полетов и состоялись пуски баллистических ракет). В следующем году, 4 октября 1957-го, произведен запуск первого советского искусственного спутника — событие, обозначившее начало космической эры. Думали об этом создатели фильма?.. Как знать, возможно.

А еще известно, что на совещании, которое проводилось Академией наук СССР в Москве в декабре 1956 года, многие наши астрономы и биологи поддерживали гипотезу существования жизни на Красной планете. Да и вообще, в Советском Союзе, во всяком случае, по официальной информации, этот вопрос практически всегда решался сугубо положительно...

Но есть и главный вопрос, волнующий далеко не первый век и отнюдь не только россиян: почему — Марс, отчего нас так интересует, так волнует и притягивает эта Красная планета, названная в честь воинственного римского бога?..

Известный популяризатор науки, американский астроном и астрофизик Карл Саган, словно в ответ на наши вопрошания, писал в своей книге «Космос» (1980): «Почему столько напряженных раздумий и горячечных фантазий посвящено именно марсианам, а не жителям Сатурна или, скажем, Плутона? Да потому, что на первый взгляд Марс кажется очень похожим на Землю. Это ближайшая планета, поверхность которой мы можем наблюдать. На ней есть ледяные полярные шапки, проплывают белые облака, свирепствуют пыльные бури, приводящие к сезонным изменениям ее красной поверхности. И даже сутки здесь длятся 24 часа. Все это порождает искушение считать Марс обитаемой планетой <...> Он стал своего рода мистической сценой, на которую мы проецируем наши земные надежды и страхи».

Не одно столетие Марс занимает умы не только праздные и любопытствующие, но и государственные,

и чиновничьи, а также мысли ученых, писателей и поэтов.

17 декабря 1900 года в Париже учредили премию крупного предпринимателя Пьера Гузмана (Guzman Prize). Она должна была вручаться «за установление связи с внеземной цивилизацией». Счастливчику, вступившему в контакт с обитателями какого-либо небесного тела, кроме Марса, выплачивалось 100 000 золотых франков. Красная планета в рассмотрение не включалась, поскольку считалось, что общение с марсианами — почти уже свершившийся факт, дело ближайших лет...

«Вероятно, не только недостаточная информированность многих людей в те далекие времена была причиной того, что недоказанная научная гипотеза быстро овладела умами человечества, — писал российский астроном Л. В. Ксанфомалити. — <...> Газеты и журналы тех времен полны самых удивительных сообщений о Марсе. Теперь, спустя столетие, трудно понять, что откуда бралось. Марсиане страдают от жажды на безводной планете; марсиане из последних сил создают глобальные ирригационные сооружения, марсиане экономят последние капли воды... Когда страсти были в разгаре, говорят, был организован сбор средств в помощь несчастным марсианам. Утверждают, что на постройку ракеты, которая якобы была должна доставить воду на Марс (и это в XIX веке!), была собрана немалая сумма, после чего и сборщики и сами собранные средства исчезли таинственным образом».

Известный в будущем астроном-самоучка Камиль Фламмарин начал свой путь в науке с того, что пяти лет от роду стал наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, спустя годы работал в Парижской обсерватории, а венцом его деятельности стала организация в 1887 году Французского астрономического общества.

Буквально каждого выдающегося ученого-астронома словно мощнейшим магнитом притягивал Марс. Отдал дань изучению Красной планеты и Фламмарин. В 1909 году, собрав и описав свои многочисленные наблюдения этой планеты, он издал книгу под названием «Планета Марс и условия обитания на ней».

Под влиянием Фламмарина «марсианизмом» заболел и знаменитый итальянец Джованни Скиапарелли, прославившийся тем, что первым разглядел в телескоп сеть тонких линий на Марсе — так называемых «каналов». Американский астроном Персиваль Ловелл, безоглядно поверив в их искусственное происхождение, увлек своим энтузиазмом многих других легковверных, ставших адептами ничем не подтверждаемой (и не подтвержденной до сих пор) легенды о населенности Марса разумными существами (и, вероятно, прекрасными инженерами: кто-то же должен был построить все эти бесчисленные «canali»). В 1908 году Ловелл выпустил книгу «Марс как обитель жизни», где приводил немало казавшихся неопровержимыми доводов в пользу существования на Марсе развитой цивилизации. Книга стала бестселлером и век тому назад произвела настоящий фурор.

В России бóльшей популярностью пользовались фантастические сочинения Жюль Верна и Герберта Уэллса. Невероятный успех получила знаменитая «Война миров» Уэллса — роман, написанный еще в 1897 году. Автор населил его страшными циркулеобразными и башнеподобными стальными пришельцами с умирающей планеты Марс, стремящимися захватить Землю и сделать ее своей колонией.

«В океане звезд. Астрономическая одиссея» (1892) Анания Лякидэ — первое в отечественной литературе фантастическое произведение, герой которого, помимо других планет Солнечной системы, попадает и на

Марс. Но ни Лякидэ, ни авторы других романов, посвященных космическим путешествиям: Борис Красногорский с «астрономической» дилогией «По волнам эфира» (1913) и «Острова эфирного океана» (1914); Вивиан Итин с утопическим романом «Страна Гонгури» (другое название «Открытие Риэля»; 1922); Николай Муханов и его «Пылающие бездны» (1924); ученый, изобретатель и основоположник современной космонавтики Константин Циолковский, который начал писать свою повесть «Вне Земли» еще в 1897 году, а смог издать ее лишь в 1920-м; и даже Порфирий Инфантьев, автор романа «На другой планете», первой русской «марсианы» (авторское название «Обитатели Марса»; написан в 1896 году, но напечатан только в 1901-м с цензурными купюрами), — никто не получил и толики той известности и популярности, которая выпала на долю Алексея Николаевича Толстого с его прославленной «Аэлитой», изданной в 1923 году и уже через год экранизированной режиссером Яковом Протазановым.

И все же только одного писателя, более известного как революционера, социал-демократа, автора философских работ и экономических сочинений, называют основателем советской научно-фантастической литературы, оказавшем влияние на все последующие сочинения в этом жанре, — Александра Александровича Богданова.

* * *

Родился А. А. Малиновский (Богданов — основной его псевдоним, но были и другие — Максимов, Рядовой, Вернер) 10 (22) августа 1873 года в г. Соколка (Сокулка; польск. Sokółka) Гродненской губернии Российской империи (ныне территория Польши).

В семье народного учителя, инспектора городского училища Александра Александровича Малиновского (1847–1923) было десять детей. Четверо из них рано

умерли. Александр был вторым по старшинству после брата Николая, с которым его сближала, несмотря на разницу в возрасте, безудержная страсть к чтению. Когда будущему революционеру и литератору Богданову было 6–7 лет, они с братом забирались в библиотеку училища, где работал отец, и просиживали там до поздней ночи, пока родители не спохватывались и не начинали их искать. Мать Саши, Мария Андреевна Комарова, происходила из мещан, была дочерью мелкого чиновника. Его дед, выходец из вольных крестьян Вологодской губернии, служил псаломщиком.

Окончив с золотой медалью Тульскую гимназию, Александр в 1892 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. В декабре 1894-го был арестован, как член Союзного Совета землячеств, и выслан в Тулу. В ссылке А. Малиновский вел занятия в рабочих кружках. На материале этих занятий написал «Краткий курс экономической науки» (1897; впервые под псевдонимом: А. Богданов). Ленин в рецензии на книгу писал о «выдающихся достоинствах этого сочинения» и называл ее «замечательным явлением в нашей экономической литературе».

С 1895 года Богданов обучался на медицинском факультете Харьковского университета и окончил его в 1899-м со специализацией в области психологии. В 1894–1901 годах он участвовал в деятельности различных марксистских кружков, напечатал свои первые экономические, публицистические и философские труды. В 1898-м написал первую философскую книгу «Основные элементы исторического взгляда на природу».

В 1899 году в Туле Богданов познакомился с Натальей Богдановной Корсак (1865–1945), ставшей его женой. Она служила акушеркой у руководившего губернской земской больницей А. М. Руднева, отца В. А. База-

рова (Руднева), близкого друга Богданова. Выполняя поручения Руднева, семейного доктора при имении Толстых, Наталья ездила в Ясную Поляну — принимала роды у жены Л. Н. Толстого. В дальнейшем она работала фельдшером, была сотрудником Института клинической и экспериментальной гематологии и переливания крови им. А. А. Богданова.

Вскоре Александра вновь арестовывают по делу «о социальной пропаганде среди рабочих». Полгода просидел он в одной из московских тюрем. В мае 1900-го его выслали в Калугу, затем — в Вологду. Полтора года Богданов служил врачом вологодской психиатрической больницы. Он много учился, занимался самообразованием, писал. В 1902 году стал редактором им же самым задуманного сборника, направленного против идеалистов, — «Очерки реалистического мировоззрения»; с конца 1903 года редактировал марксистский журнал «Правда» (издавался в Москве).

Во время вологодской ссылки он познакомился и сблизился с Анатолием Луначарским, в то время — плодовитым литератором, публицистом, блестящим оратором. Будущий нарком просвещения сделал предложение Анне Александровне Малиновской, сестре Богданова, «на третий день знакомства», — как писал он в своих автобиографических заметках. Анна Малиновская-Луначарская стала впоследствии писательницей, переводчиком, автором научно-фантастических рассказов и романа-сатиры «Город пробуждается» (1927).

В Вологде время проходило не только в углубленных занятиях науками и сочинительстве, но и в отчаянных спорах с другими ссыльными: философом Н. Бердяевым, писателем А. Ремизовым, историком П. Щеголевым, революционером-террористом Б. Савинковым, — с теми, чьи имена стали вскоре весьма известными.

С 1904 года Богданов жил в Бежецке (Тверская губерния), сотрудничал в журналах «Правда» и «Рассвет». После окончания срока ссылки он выехал в Женеву, где встретился с Лениным. Вернулся в Россию. Выступал на III съезде РСДРП в Лондоне с докладом по вопросу о вооруженном восстании. Вошел в ЦК партии большевиков. Активно участвовал в подготовке Первой российской революции.

В 1905 году Богданов — сотрудник «Летучего листка ЦК РСДРП», газеты «Эхо», член редколлегии большевистской «Новой жизни». Он является представителем ЦК в Петербургском совете рабочих депутатов. Его вновь арестовывают, но потом освобождают под залог. Высылают за границу, но Богданов нелегально возвращается и селится вместе с Лениным в Куоккале.

В этот период он публикуется в различных большевистских изданиях, выпускает свой первый основательный философский труд «Эмпириомонизм» (М., 1904–1906, кн. 1–3). Предисловие к третьей части этого сочинения датируется: «30 апреля 1906 года, „Кресты“» (речь идет, конечно, о знаменитой петербургской тюрьме, имеющей форму креста, где содержался арестованный).

В 1907 году Богданов вновь едет с Лениным и тов. Иннокентием (И. Ф. Дубровинским) в Женеву, поскольку туда переезжает редакция большевистского «Пролетария». Здесь он пишет свой первый фантастический роман-утопию, который называет «Красная звезда», разумеется, не только потому, что речь в книге идет о Марсе, Красной планете. Марсиане, к изумлению главного героя, землянина Леонида (Лэнни), уже давным-давно построили настоящий коммунистический рай, который, конечно, полностью совпадает с будущим земным «красным» раем — каким его видит социалист, философ и ученый Александр Богданов.

1909 год — во многом переломный и определяющий в судьбе Богданова. Он лидер группы РСДРП «Вперед» (1909), организатор — вместе с Горьким и Луначарским — партийных школ на Капри (1909–1911) и в Болонье (1910–1911). В эту пору усиливаются разногласия и расхождения во взглядах между ним и Лениным, выступившим с резкой критикой Богданова в «Материализме и эмпириокритицизме». Летом 1909 года его исключают из Большевицкого центра, в январе 1910-го — из ЦК. А еще через год, разругавшись с членами группы «Вперед», отказавшимися поддержать его идеи по разработке и внедрению «пролетарской культуры», Богданов окончательно порывает с политикой как таковой и сосредоточивается на своих научных трудах и сочинениях «политически-пропагандистского» толка.

В 1912 году в Москве выходит фантастический роман Александра Богданова «Инженер Мэнни», основные герои которого имеют те же имена, что и персонажи «Красной звезды», но если в первом «марсианском» произведении от имени землянина Леонида рассказывается о Марсе и марсианах в начале XX столетия, то во втором мы узнаем об их предках, о жизни и смерти Мэнни, гениального марсианского инженера.

Год спустя Богданов возвращается в Россию и печатает первую часть «Всеобщей организационной науки (Тектологии)» (СПб.; М., 1913) — самой главной и самой важной для него работы. Автор трактует тектологию как науку, объединяющую организационные методы всех наук. В своем труде он предвосхитил основные положения кибернетики, теории систем, структурализма, синергетики и некоторых других современных направлений научной мысли.

Во время Первой мировой войны Богданов служил врачом на фронте, ординатором эвакуационного

госпиталя в Москве и санитарным врачом по пунктам военнопленных. Затем выступал со статьями, в которых высказывался против политики «военного коммунизма». В 1918 году он являлся инициатором создания и членом ЦК Пролеткульта, его идеологом (до осени 1921), одним из организаторов Пролетарского университета; входил в президиум Коммунистической академии (до 1926); читал лекции в Московском университете.

В 1923 году Богданов был арестован по делу группы «Рабочая правда», провел в ГПУ пять недель, но, добившись личной беседы с Ф. Э. Дзержинским, сумел доказать ему, что со стороны «Рабочей правды» имела место подтасовка фактов, а он к советской власти относится лояльно и врагом ее не является.

Все свои силы Богданов отдает подготовке к опытам по переливанию крови, используя гонорары, которые поступают за его наиболее популярные статьи и книги, а также учебники и пособия по политической экономии, для закупки необходимой дорогостоящей аппаратуры. 18 мая 1924 года ему впервые удастся осуществить обменное переливание крови.

Опыты и исследования продолжаются. Богданов получает поддержку Сталина, Н. И. Бухарина и наркома здравоохранения Н. А. Семашко. В 1926 году он становится директором Государственного института переливания крови. В 1927-м выпускает монографию «Борьба за жизнеспособность», в которой суммируются результаты многолетних исследований.

За четыре года, с 1924-го, Богданов сделал себе одиннадцать переливаний крови. Двенадцатый опыт, проведенный 7 апреля 1928 года, стал последним. Богданов считал, что у него есть стойкий иммунитет к туберкулезу, и поэтому предложил обменяться кровью больному студенту Колдомасову, страдавшему неактивной формой

туберкулеза легких и перенесшему в прошлом малярию. Через три часа после переливания крови у Богданова началась тяжелая трансфузионная реакция. Наблюдался нарастающий отек легких, сердечная слабость. До последних минут Богданов стойко переносил страдания, проявляя невероятное мужество; отказываясь от помощи врачей, проводил самонаблюдение, записывая симптомы болезни. Спустя 15 дней он скончался. Похоронили его на Новодевичьем кладбище в Москве.

Н. И. Бухарин писал в газете «Правда»: «Умер в мучениях А. А. Богданов <...> мы, его теперешние идеологические противники, должны признать огромный размах мысли покойного, его совершенно исключительную образованность, смелость его обобщающего ума. Богданов был человек крупнейшего масштаба, с самыми разносторонними, поистине энциклопедическими познаниями: врач, математик, философ, экономист — он следил буквально за всеми отраслями науки <...> Пропал громадный ум, энергия, воля; умер образованнейший человек нашего времени, неутомимый труженик науки, которому многие и многие обязаны началом своего революционного пути» (1928, 8 апр., № 84 (3916), с. 3).

Отчего именно умер Богданов, так и не было установлено. Друзья и коллеги обратились к Н. А. Семашко с требованием произвести расследование обстоятельств смерти. О результатах официального расследования не сообщалось.

В апреле 1928 года Совет Народных Комиссаров РСФСР постановил присвоить Институту наименование «Государственный институт переливания крови имени А. А. Богданова». Когда в 1937 году Институт переехал в новое здание, доски с этим именем в названии уже не было. Вернулась она на прежнее место только в середине 1980-х годов.

Практически сразу после смерти Богданова его философия была объявлена «теоретической основой правого уклона», а в 1937 году вышла книга А. В. Щеглова «Борьба Ленина с богдановской ревизией марксизма», где теории Александра Богданова объявлялись орудием «фашистской контрреволюции в борьбе против победившего в СССР социализма». Шла тотальная борьба с так называемой «богдановщиной». Начало этой борьбе положил еще Ленин, а продолжалась она (и продолжается, но уже не в таких масштабах) до конца 1980-х годов, когда, наконец, начинается переиздание основных экономических, публицистических, общественно-политических, философских трудов Богданова, его научно-фантастической беллетристики.

18 октября 1999 года в Екатеринбурге был создан «Международный институт А. Богданова» как «организационно-научный центр для объединения, координации и развития фундаментальных и прикладных исследований российских и зарубежных ученых, творчески применяющих идеи, заложенные в научном наследии великого русского мыслителя Александра Александровича Богданова».

Изучение и издание в полном объеме многообразного и многопланового научного и художественного наследия Александра Александровича Богданова по-настоящему еще только начинается. И особенно важной сейчас представляется публикация научно-фантастических произведений этого уникального человека — революционера-марксиста, ученого-энциклопедиста, врача-экспериментатора, экономиста, философа, писателя. В своих «марсианских» романах Богданов прозревает будущее и позволяет взглянуть на наше прошлое иначе, чем прежде, и под совершенно особым углом зрения.

Арсен Мирзаев

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

Роман-утопия

*Посвящается
моему сотруднику*

Автор

Доктор Вернер

литератору Мирскому

Вам, товарищ, посылаю я записки Леонида. Он желал издать их, — Вы лучше меня сумеете устроить это. Сам он скрылся. Я бросаю лечебницу и иду отыскивать его. Думаю найти его в Горном Районе, где сейчас начинаются серьезные события. По-видимому, цель бегства — попытка косвенного самоубийства. Это — результат все той же душевной болезни. А между тем он был так близок к полному выздоровлению...

Как только что-нибудь узнаю, сообщу Вам.

Горячий привет

Ваш Н. Вернер

24 июля 190? (8 или 9 — неразборчиво)

РУКОПИСЬ ЛЕОНИДА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. Разрыв

Это было тогда, когда только начиналась та великая ломка в нашей стране, которая идет еще до сих пор и, я думаю, близится теперь к своему неизбежному грозному концу.

Ее первые, кровавые дни так глубоко потрясли общественное сознание, что все ожидали скорого и светлого исхода борьбы: казалось, что худшее уже совершилось, что ничего еще худшего не может быть. Никто не представлял себе, до какой степени цепки костлявые руки мертвеца, который давил — и еще продолжает давить — живого в своих судорожных объятиях.

Боевое возбуждение стремительно разливалось в массах. Души людей беззаветно раскрывались навстречу будущему, настоящее расплывалось в розовом тумане, прошлое уходило куда-то вдаль, исчезая из глаз. Все человеческие отношения стали неустойчивы и непрочны, как никогда раньше.

В эти дни произошло то, что перевернуло мою жизнь и вырвало меня из потока народной борьбы.

Я был, несмотря на свои двадцать семь лет, одним из «старых» работников партии. За мною числилось шесть лет работы, с перерывом всего на год тюрьмы. Я раньше, чем многие другие, почувствовал приближение бури и спокойнее, чем они, ее встретил. Работать

приходилось гораздо больше прежнего; но я вместе с тем не бросал ни своих научных занятий — меня особенно интересовал вопрос о строении материи, — ни литературных: я писал в детских журналах, и это давало мне средства к жизни. В то же время я любил... или мне казалось, что любил.

Ее партийное имя было Анна Николаевна.

Она принадлежала к другому, более умеренному течению нашей партии. Я объяснял это мягкостью ее натуры и общей путаницей политических отношений в нашей стране; несмотря на то, что она была старше меня, я считал ее еще не вполне определившимся человеком. В этом я ошибался.

Очень скоро после того, как мы сошлись с нею, различие наших натур стало сказываться все заметнее и все болезненнее для нас обоих. Постепенно оно приняло форму глубокого идейного разногласия — в понимании нашего отношения к революционной работе и в понимании смысла нашей собственной связи.

Она шла в революцию под знаменем долга и жертвы, я — под знаменем моего свободного желания. К великому движению пролетариата она примыкала, как моралистка, находящая удовлетворение в высшей нравственности, я — как аморалист, который просто любит жизнь, хочет ее высшего расцвета и потому вступает в то ее течение, которое воплощает главный путь истории к этому расцвету. Для Анны Николаевны пролетарская этика была священна сама по себе; я же считал, что это полезное приспособление, необходимое рабочему классу в его борьбе, но преходящее, как сама эта борьба и порождающий ее строй жизни. По мнению Анны Николаевны, в социалистическом обществе можно было предвидеть только преобразование классовой морали пролетариата в общечеловеческую;

я же находил, что пролетариат уже теперь идет к уничтожению всякой морали и что социальное чувство, делающее людей товарищами в труде и радости и страдании, разовьется вполне свободно только тогда, когда сбросит фетишистскую оболочку нравственности. Из этих разногласий рождались нередко противоречия в оценке политических и социальных фактов, противоречия, которые примирить было, очевидно, нельзя.

Еще острее мы разошлись во взглядах на наши собственные отношения. Она считала, что любовь обязывает к уступкам, к жертвам и, главное, к верности, пока брак продолжается. Я на деле вовсе не собирался вступать в новые связи, но не мог и признать обязательства верности, именно как обязательства. Я даже полагал, что многобрачие принципиально выше единобрачия, так как оно способно дать людям и большее богатство личной жизни и большее разнообразие сочетаний в сфере наследственности. На мой взгляд, только противоречия буржуазного строя делают в наше время многобрачие частью вовсе неосуществимым, частью привилегией эксплуататоров и паразитов, все грязнящих своей разлагающейся психологией; будущее и так должно принести глубокое преобразование. Анну Николаевну такие воззрения жестоко возмущали: она видела в них попытку облечь в идейную форму грубо чувственное отношение к жизни.

И все же я не предвидел и не предполагал неизбежности разрыва, — когда в нашу жизнь проникло постороннее влияние, которое ускорило развязку.

Около этого времени в столицу приехал молодой человек, носивший необычное у нас конспиративное имя Мэнни. Он привез с юга некоторые сообщения и поручения, по которым можно было видеть, что он пользуется полным доверием товарищей. Выполнявши

свое дело, он еще на некоторое время решил остаться в столице и стал нередко заходить к нам, обнаруживая явную склонность ближе сойтись со мною.

Это был человек оригинальный во многом, начиная с наружности. Его глаза были настолько замаскированы очень темными очками, что я не знал даже их цвета; его голова была несколько непропорционально велика; черты его лица, красивые, но удивительно неподвижные и безжизненные, совершенно не гармонировали с его мягким и выразительным голосом, так же как и с его стройной, юношески-гибкой фигурой. Его речь была свободной и плавной и всегда полна содержания. Его научное образование было очень односторонне; по специальности он был, по-видимому, инженер.

В беседе Мэнни имел склонность постоянно сводить частные и практические вопросы к общим идейным основаниям. Когда он бывал у нас, выходило всегда как-то так, что противоречия натур и взглядов у меня с женой очень скоро выступали на первый план настолько отчетливо и ярко, что мы начинали мучительно чувствовать их безысходность. Мировоззрение Мэнни было, по-видимому, сходно с моим; он всегда высказывался очень мягко и осторожно по форме, но столь же резко и глубоко по существу. Наши политические разногласия с Анной Николаевной он так искусно связывал с основным различием наших мировоззрений, что эти разногласия казались психологически неизбежными, почти логическими выводами из них, и исчезала всякая надежда повлиять друг на друга, сгладить противоречия и прийти к чему-нибудь общему. Анна Николаевна питала к Мэнни нечто вроде ненависти, соединенной с живым интересом. Мне он внушал большое уважение и смутное недоверие: я чувствовал, что он идет к какой-то цели, но не мог понять к какой.

В один из январских дней — это было уже в конце января — предстояло обсуждение в руководящих группах обоих течений партии проекта массовой демонстрации, с вероятным исходом в вооруженное столкновение. Накануне вечером пришел к нам Мэнни и поднял вопрос об участии в этой демонстрации, если она будет решена, самих партийных руководителей. Завязался спор, который быстро принял жгучий характер.

Анна Николаевна заявила, что всякий, кто подает голос за демонстрацию, нравственно обязан идти в первых рядах. Я находил, что это вообще не обязательно, а идти следует тому, кто там необходим или кто может быть серьезно полезен, причем имел в виду именно себя как человека с некоторым опытом в подобных делах. Мэнни пошел дальше и утверждал, что ввиду очевидно неизбежного столкновения с войсками на поле действия должны находиться уличные агитаторы и боевые организаторы, политическим же руководителям там совсем не место, а люди физически слабые и нервные могут быть даже очень вредны. Анна Николаевна была прямо оскорблена этими рассуждениями, которые ей казались направленными специально против нее. Она оборвала разговор и ушла в свою комнату. Скоро ушел и Мэнни.

На другой день мне пришлось встать рано утром и уйти, не повидавшись с Анной Николаевной, а вернуться уже вечером. Демонстрация была отклонена и в нашем комитете, и, как я узнал, в руководящем коллективе другого течения. Я был этим доволен, потому что знал, насколько недостаточна подготовка для вооруженного конфликта, и считал такое выступление бесплодной растратой сил. Мне казалось, что это решение несколько ослабит остроту раздражения Анны Николаевны из-за вчерашнего разговора. На столе у себя я нашел записку от Анны Николаевны:

«Я уезжаю. Чем больше я понимаю себя и вас, тем более для меня становится ясно, что мы идем разными путями и что мы оба ошиблись. Лучше нам больше не встречаться. Простите».

Я долго бродил по улицам, утомленный, с чувством пустоты в голове и холода в сердце. Когда я вернулся домой, то застал там неожиданного гостя: у моего стола сидел Мэнни и писал записку.

II. Приглашение

— Мне надо переговорить с вами по одному очень серьезному и несколько странному делу; — сказал Мэнни.

Мне было все равно; я сел и приготовился слушать.

— Я читал вашу брошюру об электронах и материи, — начал он. — Я сам несколько лет изучал этот вопрос и полагаю, что в вашей брошюре много верных мыслей.

Я молча поклонился. Он продолжал:

— В этой работе у вас есть одно особенно интересное для меня замечание. Вы высказали там предположение, что электрическая теория материи, необходимо представляя силу тяготения в виде какого-то производного от электрических сил притяжения и отталкивания, должна привести к открытию тяготения с другим знаком, то есть к получению такого типа материи, который отталкивается, а не притягивается землей, солнцем и другими знакомыми нам телами; вы указывали для сравнения на диамагнитное отталкивание тел и на отталкивание параллельных токов разного направления. Все это сказано мимоходом, но я думаю, что сами вы придавали этому больше значения, чем хотели обнаружить.

— Вы правы, — ответил я, — и я думаю, что именно на таком пути человечество решит как задачу вполне свободного воздушного передвижения, так затем и задачу сообщения между планетами. Но верна ли сама по себе эта идея или нет, она совершенно бесплодна до тех пор, пока нет точной теории материи и тяготения. Если другой тип материи и существует, то просто найти его, очевидно, нельзя: силою отталкивания он давно уже устранен из всей Солнечной системы, а еще вернее — он не вошел в ее состав, когда она начинала организовываться в виде туманности. Значит, этот тип материи надо еще теоретически конструировать и затем практически воспроизвести. Теперь же для этого нет данных и можно, в сущности, только предчувствовать свою задачу.

— И тем не менее эта задача уже разрешена, — сказал Мэнни.

Я взглянул на него с изумлением. Лицо его было все так же неподвижно, но в его тоне было что-то такое, что не позволяло считать его за шарлатана.

«Может быть, душевнобольной», — мелькнуло у меня в голове.

— Мне нет надобности обманывать вас, и я хорошо знаю, что говорю, — отвечал он на мою мысль. — Выслушайте меня терпеливо, а затем, если надо, я представлю доказательства.

И он рассказал следующее:

— Великое открытие, о котором идет речь, не было совершено силами отдельной личности. Оно принадлежит целому научному обществу, существующему довольно давно и долго работавшему в этом направлении. Общество это было до сих пор тайным, и я не уполномочен знакомить вас ближе с его происхождением и историей, пока нам не удастся столкнуться

в главном. Общество наше значительно опередило академический мир во многих важных вопросах науки. Радирующие элементы и их распадение были известны нам гораздо раньше Кюри и Рамзая, и нашим товарищам удалось гораздо дальше и глубже провести анализ строения материи. На этом пути была предусмотрена возможность существования элементов, отталкиваемых земными телами, а затем выполнен и синтез этой «минус-материи», как мы ее кратко обозначаем.

После этого было уже нетрудно разработать и осуществить технические применения этого открытия — сначала летательные аппараты для передвижения в земной атмосфере, а потом и для сообщения с другими планетами.

Несмотря на спокойно-убедительный тон Мэнни, его рассказ казался мне слишком странным и неподобающим.

— И вы сумели все это выполнить и сохранить в тайне? — заметил я, прерывая его речь.

— Да, потому что мы считали это в высшей степени важным. Мы находили, что было бы очень опасно опубликовать наши научные открытия, пока в большинстве стран остаются реакционные правительства. И вы, русский революционер, более чем кто-либо, должны с нами согласиться. Посмотрите, как ваше азиатское государство пользуется европейскими способами сообщения и средствами истребления, чтобы подавлять и искоренять все, что есть у вас живого и прогрессивного. Многим ли лучше правительство той полуфеодальной, полуконституционной страны, трон которой занимает воинственно-болтливый глупец, управляемый знатными мошенниками? И чего стоят даже две мещанские республики Европы? А между тем ясно, что если бы наши летательные машины стали

известны, то правительства прежде всего позаботились бы захватить их в свою монополию и использовать для усиления власти и могущества высших классов. Этого мы решительно не желаем и потому оставляем монополию за собой, выжидая более подходящих условий.

— И вам в самом деле уже удалось достичь других планет? — спросил я.

— Да, двух ближайших, теллурических планет, Венеры и Марса, не считая, конечно, мертвой Луны. Именно теперь мы заняты их подробным исследованием. У нас есть все необходимые средства, нам нужны люди сильные и надежные. По полномочию от моих товарищей, я предлагаю вам вступить в наши ряды, — разумеется со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами.

Он остановился, ожидая ответа. Я не знал, что думать.

— Доказательства! — сказал я. — Вы обещали представить доказательства.

Мэнни вынул из кармана стеклянный флакон с какой-то металлической жидкостью, которую я принял за ртуть. Но странным образом эта жидкость, наполнявшая не более трети флакона, находилась не на дне его, а в верхней части, около горлышка, и в горлышке до самой пробки. Мэнни перевернул флакон, и жидкость перелилась ко дну, т. е. прямо вверх. Мэнни выпустил склянку из рук, и она повисла в воздухе. Это было невероятно, но несомненно и очевидно.

— Флакон этот из обыкновенного стекла, — пояснил Мэнни, — а налита в него жидкость, которая отталкивается телами Солнечной системы. Жидкости налито ровно столько, чтобы уравновесить тяжесть флакона; таким образом, то и другое вместе не имеет веса. По этому способу мы устраиваем и все летательные

аппараты: они делаются из обыкновенных материалов, но заключают в себе резервуар, наполненный достаточным количеством «материи отрицательного типа». Затем остается дать всей этой невесомой системе надлежащую скорость движения. Для земных летательных машин применяются простые электрические двигатели с воздушным винтом; для междупланетного передвижения этот способ, конечно, негоден, и тут мы пользуемся совершенно иным методом, с которым впоследствии я могу познакомить вас ближе.

Сомневаться больше не приходилось.

— Какие же ограничения налагает ваше общество на вступающих в него, кроме, разумеется, обязательной тайны?

— Да вообще-то почти никаких. Ни личная жизнь, ни общественная деятельность товарищей ничем не стеснены, лишь бы не вредили деятельности общества в целом. Но каждый должен при самом своем вступлении исполнить какое-либо важное и ответственное поручение общества. Этим способом, с одной стороны, укрепляется связь с обществом, с другой — выясняется на деле уровень его способностей и энергии.

— Значит, и мне будет теперь же предложено такое поручение?

— Да.

— Какое именно?

— Вы должны принять участие в отправляющейся завтра экспедиции на планету Марс.

— Насколько продолжительна будет экспедиция?

— Это неизвестно. Одна дорога туда и обратно требует не менее пяти месяцев. Можно и совсем не вернуться.

— Это-то я понимаю, но не в том дело. Но как мне быть с моей революционной работой? Вы сами,

по-видимому, социал-демократ и поймете мое затруднение.

— Выбирайте. Мы считаем перерыв в работе необходимым для завершения вашей подготовки. Поручение не может быть отложено. Отказ от него есть отказ от всего.

Я задумался. С выступлением на сцену широких масс устранение того или иного работника — факт совершенно ничтожный по своему значению для дела в его целом. К тому же это устранение временное, и, вернувшись к работе, я буду гораздо более полезен ей со своими новыми связями, знаниями и средствами. Я решился.

— Когда же я должен отправляться?

— Сейчас, со мною.

— Вы дадите мне два часа, чтобы известить товарищей? Меня надо завтра же заменить в районе.

— Это почти сделано. Сегодня приехал Андрей, бежавший с юга. Я предупредил его, что вы можете уехать, и он готов занять ваше место. Дожидаясь вас, я написал ему на случай письмо с подробными указаниями. Мы можем завезти ему это письмо по дороге.

Больше толковать было не о чем. Я быстро уничтожил лишние бумаги, написал записку своей хозяйке и стал одеваться. Мэнни был уже готов.

— Итак, идем. С этой минуты — я ваш пленник.

— Вы — мой товарищ! — отвечал Мэнни.

III. Ночь

Квартира Мэнни занимала весь пятый этаж большого дома, обособленно возвышающегося среди маленьких домиков одной из окраин столицы. Нас никто не встречал. В комнатах, по которым мы шли, было пусто, и при ярком свете электрических лампочек пустота эта

казалась особенно мрачной и неестественной. В третьей комнате Мэнни остановился.

— Вот здесь, — он указал на дверь четвертой комнаты, — находится воздушная лодочка, в которой мы сейчас поедем к большому этеронефу. Но раньше я должен подвергнуться маленькому превращению. В этой маске мне трудно было бы управлять гондолой.

Он расстегнул воротничок и снял с себя вместе с очками ту удивительно сделанную маску, которую я, как и все другие, принимал до этого момента за его лицо. Я был поражен тем, что увидел при этом. Его глаза были чудовищно громадны, какими никогда не бывают человеческие глаза. Их зрачки были расширены даже по сравнению с этой неестественной величиной самих глаз, что делало их выражение почти страшным. Верхняя часть лица и головы была настолько широка, насколько это было неизбежно для помещения таких глаз; напротив, нижняя часть лица, без всяких признаков бороды и усов, была сравнительно мала. Все вместе производило впечатление крайней оригинальности, пожалуй уродства, но не карикатуры.

— Вы видите, какой наружностью наделила меня природа, — сказал Мэнни. — Вы понимаете, что я должен скрывать ее, хотя бы ради того, чтобы не пугать людей, не говоря уже о требованиях конспирации. Но вам уж придется привыкать к моему безобразию, вы по необходимости будете проводить много времени со мною.

Он отворил дверь следующей комнаты и осветил ее. Это была обширная зала. Посередине ее лежала небольшая, довольно широкая лодочка, сделанная из металла и стекла. В ее передней части и борта, и дно были стеклянные, со стальными переплетами; эта прозрачная стенка в два сантиметра толщиной была, оче-

видно, очень прочна. Над носовыми бортами две плоских хрустальных пластинки, соединенных под острым углом, должны были разрезать воздух и охранять пассажиров от ветра при быстром движении. Машина занимала среднюю часть лодочки, винт с тремя лопастями в полметра ширины находился в кормовой части. Передняя половина лодочки вместе с машиной была прикрыта сверху тонким пластинчатым навесом, прикрепленным к металлической оковке стеклянных бортов и к легким стальным колонкам. Все вместе было изящно как игрушка. Мэнни предложил мне сесть на боковую скамеечку гондолы, погасил электрический свет и раскрыл огромное окно залы. Сам он сел спереди возле машины и выбросил несколько мешков балласта, лежавших на дне лодки. Затем он положил руку на рычаг машины. Лодка заколебалась, медленно поднялась и тихо проскользнула в открытое окно.

— Благодаря минус-материи для наших аэропланов не требуется ломких и неуклюжих крыльев, — заметил Мэнни.

Я сидел как прикованный, не решаясь пошевелиться. Шум винта становился все слышнее, холодный зимний воздух врвался под навес, приятно освежая мое горевшее лицо, но бессильный проникнуть под мое теплое платье. Над нами сверкали, переливаясь, тысячи звезд, а внизу... Я видел через прозрачное дно гондолы, как уменьшались черные пятна домов и уходили вдаль яркие точки электрических фонарей столицы, и снежные равнины светились далеко под нами тусклым синевато-белым светом. Головокружение, сначала легкое и почти приятное, становилось все сильнее, и я закрыл глаза, чтобы избавиться от него.

Воздух становился все резче, шум винта и свист ветра все выше, — очевидно, быстрота движения

возрастала. Скоро среди этих звуков мое ухо стало различать тонкий непрерывный и очень ровный серебристый звон, — это дрожала, разбивая воздух, стеклянная стенка гондолы. Странная музыка заполняла сознание, мысли путались и уходили, оставалось только чувство стихийно-легкого и свободного движения, уносящего куда-то вперед и вперед, в бесконечное пространство.

— Четыре километра в минуту, — сказал Мэнни, и я открыл глаза.

— Это еще далеко? — спросил я.

— Около часу пути, на льду одного озера.

Мы находились на высоте нескольких сот метров, и лодка летела горизонтально, не опускаясь и не поднимаясь. Мои глаза привыкали к темноте, и я видел все яснее. Мы вступили в страну озер и гранитных скал. Эти скалы чернели местами, свободные от снега. Между ними кое-где лепились деревушки.

Налево позади нас оставалось вдаль снежное поле замерзшего залива, справа — белые равнины громадного озера. На этом безжизненном зимнем ландшафте мне предстояло порвать свои связи со старой землей. И вдруг я почувствовал — не сомнение, нет, настоящую уверенность, что это — разрыв навсегда.

Гондола медленно опустилась между скалами, в небольшой бухте горного озера, перед темным сооружением, возвышавшимся на снегу. Ни окон, ни дверей не было видно. Часть металлической оболочки сооружения медленно сдвинулась в сторону, открывая черное отверстие, в которое и вплыла наша лодка. Затем отверстие снова закрылось, а пространство, где мы находились, осветилось электрическим светом. Это была большая удлиненная комната без мебели; на полу ее лежала масса мешков с балластом.

Мэнни прикрепил гондолу к специально предназначенным для этого колонкам и отворил одну из боковых дверей. Она вела в длинный полуосвещенный коридор. По сторонам его были расположены, по-видимому, каюты. Мэнни привел меня в одну из них и сказал:

— Вот ваша каюта. Устраивайтесь сами, а я пойду в машинное отделение. Увидимся завтра утром.

Я был рад остаться один. Сквозь все возбуждение, вызванное странными событиями вечера, утомление давало себя знать, я не прикоснулся к приготовленному для меня на столе ужину и, погасив лампочку, лег в постель. Мысли нелепо перемешивались в голове, переходя от предмета к предмету самым неожиданным образом. Я упорно заставлял себя заснуть, но это мне долго не удавалось. Наконец сознание стало неясным; смутные, неустойчивые образы начали толпиться перед глазами, окружающее ушло куда-то далеко, и тяжелые грезы овладели моим мозгом.

Цепь снов закончилась ужасным кошмаром. Я стоял на краю громадной черной пропасти, на дне которой сияли звезды, и Мэнни с непреодолимой силой увлекал меня вниз, говоря, что не стоит бояться силы тяжести и что через несколько сот тысяч лет падения мы достигнем ближайшей звезды. Я застонал в мучительной последней борьбе и проснулся.

Нежный голубой свет наполнял мою комнату. Около меня сидел на постели и наклонялся ко мне... Мэнни? Да, он, но призрачно-странный и как будто другой: мне казалось, что он стал гораздо меньше, и глаза его не так резко выступали на лице, у него было мягкое, доброе выражение, а не холодное и непреклонное, как только что на краю бездны...

— Какой вы хороший... — произнес я, смутно сознавая эту перемену.

Он улыбнулся и положил руку мне на лоб. Это была маленькая мягкая рука. Я снова закрыл глаза и с нелепой мыслью о том, чтобы поцеловать эту руку, забылся в спокойном, блаженном сне.

IV. Объяснение

Когда я проснулся и осветил комнату, часы показывали десять. Окончив свой туалет, я нажал кнопку звонка, и через минуту в комнату вошел Мэнни.

— Мы скоро отправимся? — спросил я.

— Через час, — ответил Мэнни.

— Вы заходили ко мне сегодня ночью или мне только приснилось?

— Нет, это был не сон, но приходил не я, а наш молодой доктор, Нэтти. Вы плохо и тревожно спали, он должен был усыпить вас посредством голубого света и внушения.

— Он ваш брат?

— Нет, — улыбаясь сказал Мэнни.

— Вы до сих пор не сказали мне, какой вы национальности... Ваши остальные товарищи принадлежат к тому же типу, как и вы?

— Да, — ответил Мэнни.

— Значит, вы меня обманули, — резко заявил я. — Это не научное общество, а нечто другое?

— Да, — спокойно сказал Мэнни. — Все мы жители другой планеты, представители другого человечества. Мы — марсиане.

— Зачем вы меня обманули?

— А вы стали бы меня слушать, если бы я сразу сказал вам всю правду? У меня было слишком мало времени, чтобы убедить вас. Приходится исказить истину ради правдоподобия. Без этой переходной сту-

пени ваше сознание было бы чрезмерно потрясено. В главном же я сказал правду, — в том, что касается предстоящего путешествия.

— Значит, я все-таки ваш пленник?

— Нет, вы и теперь свободны. У вас еще час времени, чтобы решить вопрос. Если вы откажетесь за это время, мы отвезем вас обратно, а путешествие отложим, потому что нам одним возвращаться нет смысла.

— Зачем же я вам нужен?

— Чтобы послужить живой связью между нашим и земным человечеством, чтобы ознакомиться с нашим строем жизни и ближе ознакомить марсиан с земным, чтобы быть — пока вы этого пожелаете — представителем своей планеты в нашем мире.

— Это уже вполне правда?

— Да, вполне, если вы окажетесь в силах выполнить эту роль.

— В таком случае надо попытаться. Я остаюсь с вами.

— Это ваше окончательное решение? — спросил Мэнни.

— Да, если и последнее ваше объяснение не представляет какой-нибудь переходной ступени.

— Итак, мы едем, — сказал Мэнни, оставляя без внимания мою колкость. — Сейчас я пойду сделать последние указания машинисту, а потом вернусь к вам, и мы пойдем вместе наблюдать отплытие этеронефа.

Он ушел, а я предался размышлениям. Наше объяснение, в сущности, не было вполне закончено. Оставался еще один вопрос, и довольно серьезный, но я не решился предложить его Мэнни. Сознательно ли он содействовал моему разрыву с Анной Николаевной? Мне казалось, что да. Вероятно, он видел в ней препятствие для своей цели. Может быть, он был прав. Во всяком

случае, он мог только ускорить этот разрыв, а не создавать его. Конечно, и это было дерзким вмешательством в мои личные дела. Но теперь я уже был связан с Мэнни и все равно должен был подавлять свою враждебность к нему. Значит, незачем было и трогать прошлое, лучше всего было и не думать об этом вопросе.

В общем, новый оборот дела не слишком меня поразил: сон подкрепил мои силы, а удивить меня чем-нибудь, после всего пережитого накануне, было уже довольно трудно. Надо было только выработать план дальнейших действий.

Задача состояла, очевидно, в том, чтобы как можно скорее и полнее ориентироваться в своей новой обстановке. Самое лучшее — начинать с ближайшего и переходить шаг за шагом к более отдаленному. Ближайшим же являлось — этеронеф, его обитатели и начинающееся путешествие. Марс был еще далеко: самое меньшее на два месяца расстояния, как можно было заключить из вчерашних слов Мэнни.

Наружную форму этеронефа я успел заметить еще накануне: это был почти шар со сглаженным сегментом внизу, на манер поставленного колумбова яйца, — форма, рассчитанная, конечно, на то, чтобы получался наибольший объем при наименьшей поверхности, т. е. наименьшей затрате материала и наименьшей площади охлаждения. Что касается материала, то преобладали, по-видимому, алюминий и стекло. Внутреннее устройство мне должен был показать и объяснить Мэнни, он же должен был познакомить меня со всеми остальными «чудовищами», как я мысленно называл своих новых товарищей.

Вернувшись, Мэнни повел меня к остальным марсианам. Все собрались в боковой зале с громадными хрустальными окнами в половину стены. Настоящий

солнечный свет был очень приятен после призрачного света электрических лампочек. Марсиан было человек двадцать, и все были, как мне тогда показалось, на одно лицо. Отсутствие бороды, усов, а также и морщин на лицах почти сглаживало у них даже разницу возраста. Я невольно следил глазами за Мэнни, чтобы не потерять его среди этой чуждой мне компании. Впрочем, я скоро стал различать между ними моего ночного посетителя, Нэтти, выделявшегося своей молодостью и живостью, а также широкоплечего гиганта Стэрни, поражавшего меня каким-то странно-холодным, почти зловещим выражением лица. Кроме самого Мэнни, один Нэтти говорил со мною по-русски, Стэрни и еще три-четыре человека — по-французски, другие — по-английски и по-немецки, между собою же они говорили на каком-то совершенно новом для меня, очевидно, своем родном, языке. Язык этот был звучен и красив и, как я с удовольствием заметил, не представлял, по-видимому, никаких особенных трудностей в произношении.

V. Отплытие

Как ни интересны были «чудовища», но главное мое внимание было невольно устремлено к приближающемуся торжественному моменту «отплытия». Я пристально смотрел на снежную поверхность, находившуюся перед нами, и на отвесную гранитную стену, поднимающуюся за нею. Я ожидал, что вот-вот почувствую резкий толчок, и все это быстро замелькает, удаляясь от нас. Но ничего подобного я не дождался.

Бесшумное, медленное, чуть заметное движение стало понемногу отделять нас от снежной площади. В течение нескольких секунд поднятие было едва заметно.

— Ускорение два сантиметра, — сказал Мэнни.

Я понял, что это значило. В первую секунду мы должны были пройти всего один сантиметр, во вторую три, в третью пять, в четвертую семь сантиметров; и скорость должна была все время изменяться, непрерывно возрастая по закону арифметической прогрессии. Через минуту мы должны были достигнуть скорости идущего человека, через 15 минут — курьерского поезда и т. д.

Мы двигались по закону падения тел, но падали вверх и в пятьсот раз медленнее, чем обыкновенные тяжелые тела, падающие близ поверхности Земли.

Стеклянная пластинка окна начиналась от самого пола и составляла с ним тупой угол, сообразно направлению шаровой поверхности этеронефа, частью которого она являлась. Благодаря этому мы могли, наклоняясь вперед, видеть и то, что было прямо под нами.

Земля все быстрее уходила из-под нас, и горизонт расширялся. Уменьшились темные пятна скал и деревьев, очертания озер вырисовывались, как на плане. А небо становилось все темнее; и в то самое время, как синяя полоса незамерзшего моря заняла всю западную сторону горизонта, мои глаза уже стали различать наиболее яркие звезды при полуденном солнечном свете.

Очень медленное вращательное движение этеронефа вокруг его вертикальной оси позволило нам видеть все пространство вокруг.

Нам казалось, что горизонт поднимается вместе с нами, и земная площадь под нами представлялась громадным вогнутым блюдечком с рельефными украшениями. Их контуры становились мельче, рельеф все плосче, весь ландшафт все в большей мере принимал характер географической карты, резко вычерченной в середине, расплывчато и неясно к ее краям, где все заволакивалось полупрозрачным синеватым туманом. А небо сделалось совсем черным, и бесчисленные звез-

ды, вплоть до самых мелких, сияли на нем спокойным, немерцающим светом, не боясь яркого солнца, лучи которого стали жгучими до боли.

— Скажите, Мэнни, это ускорение в два сантиметра, с которым мы сейчас движемся, будет продолжаться все время путешествия?

— Да, — отвечал он, — только его направление будет около середины пути изменено на обратное и скорость будет тогда не увеличиваться, а уменьшаться каждую секунду на такую же величину. Таким образом, хотя наибольшая скорость этеронефа будет около 50 километров в секунду, а средняя — около 25 километров, но к моменту прибытия она станет так же мала, как была в самом начале пути, и мы без всякого толчка и сотрясения опустимся на поверхность Марса. Без этих огромных переменных скоростей мы бы не могли достигнуть ни Земли, ни Венеры, потому что даже их ближайшие расстояния — 60 и 100 миллионов километров — при скорости, например, ваших поездов удалось бы проехать только в течение столетий, а не месяцев, как это сделаем мы с вами. Что же касается способа «пушечного выстрела», о котором я читал в ваших фантастических романах, то это, конечно, простая шутка, потому что по законам механики практически одно и то же — находиться ли внутри ядра во время выстрела или получить ядро внутри.

— А каким образом вы достигаете такого равномерного замедления и ускорения?

— Движущая сила этеронефа — это одно из радирующих веществ, которое нам удалось добывать в большом количестве. Мы нашли способ ускорять разложение этих элементов в сотни тысяч раз; это делается в наших двигателях при помощи довольно простых электрохимических приемов. Таким образом

освобождается громадное количество энергии. Частицы распадающихся атомов разлетаются, как вам известно, со скоростью, которая в десятки тысяч раз превосходит скорость артиллерийских снарядов. Когда эти частицы могут вылетать из этеронефа только по одному определенному направлению, то есть по одному каналу с непроницаемыми для них стенками, тогда весь этеронеф движется в противоположную сторону, как это бывает при отдаче ружья или откате орудия. По известному вам закону живых сил вы легко можете рассчитать, что незначительной части миллиграмма таких частиц в секунду вполне достаточно, чтобы дать нашему этеронефу его равномерно ускоренное движение.

Во время нашего разговора все марсиане исчезли из залы. Мэнни предложил мне идти позавтракать в его каюте. Я пошел с ним. Его каюта примыкала к стенке этеронефа, и в ней было большое хрустальное окно. Мы продолжали беседу. Я знал, что мне предстоят новые, неиспытанные ощущения в виде потери тяжести моего тела, и расспрашивал об этом Мэнни.

— Да, — сказал Мэнни, — хотя Солнце продолжает притягивать нас, но здесь это действие ничтожно. Влияние Земли тоже станет незаметно завтра-послезавтра. Только благодаря непрерывному ускорению этеронефа у нас будет сохраняться $1/400$ – $1/500$ нашего прежнего веса. В первый раз привыкать к этому нелегко, хотя перемена происходит очень постепенно. Приобретая легкость, вы будете утрачивать ловкость, будете делать массу неправильно рассчитанных движений, ведущих мимо цели. Удовольствие летать по воздуху покажется вам весьма сомнительным. Что касается неизбежных при этом сердцебиений, головокружений и даже тошноты, то избавиться от них поможет вам Нэтти. Трудно будет также справляться с водою и другими жидкостя-

ми, которые будут при малейших толчках ускользать из сосудов и разбрасываться повсюду в виде огромных сферических капель. Но у нас все старательно приспособлено для устранения этих неудобств: мебель и посуда прикрепляются к месту, жидкости сохраняются закупоренными, всюду приделаны ручки и ремни для остановки невольных полетов при резких движениях. Вообще же вы привыкнете, времени для этого хватит.

Со времени отъезда прошло около двух часов, а уменьшение веса было уже довольно ощутительно, хотя пока еще очень приятно: тело становилось легче, движения свободнее и ничего больше. Атмосферу мы успели вполне миновать, но это нас не беспокоило, так как в нашем герметически закрытом корабле имелся, конечно, достаточный запас кислорода. Видимая область земной поверхности стала окончательно похожа на географическую карту — правда, с перепутанным масштабом: более крупным в середине, более мелким к горизонту; кое-где ее закрывали еще белые пятна облаков. На юге, за Средиземным морем, север Африки и Аравии был довольно ясно виден сквозь зимнюю дымку; на севере, за Скандинавией, взгляд терялся в снежной и ледяной пустыне, — только скалы Шпицбергена выделялись еще темным пятном. На востоке, за зеленовато-бурой полосой Урала, местами прорезанной снежными пятнами, начиналось опять сплошное царство белого цвета, кое-где только с зеленоватым отливом — слабым напоминанием о громадных хвойных лесах Сибири. На западе, за ясными контурами средней Европы, терялись в облаках очертания берегов Англии и северной Франции. Я не мог долго смотреть на эту гигантскую картину, так как мысль о страшной глубине бездны, над которой мы находились, быстро вызывала у меня чувство, близкое к обмороку.

Я возобновил разговор:

— Вы капитан этого корабля, не так ли?

Мэнни утвердительно кивнул и заметил:

— Но это не значит, чтобы я обладал тем, что у вас называется властью начальника. Просто я наиболее опытен в деле управления этеронефом, и мои указания принимаются так же, как я принимаю астрономические вычисления, выполняемые Стэрни, или как все мы принимаем медицинские советы Нэтти для поддержания нашего здоровья и рабочей силы.

— А сколько лет этому доктору Нэтти? Он кажется мне уж очень молодым.

— Не помню, 16 или 17, — с улыбкой ответил Мэнни.

Приблизительно так мне и казалось. Но я не мог не удивляться такой ранней учености.

— И в этом возрасте быть уже врачом! — невольно вырвалось у меня.

— И прибавьте: знающим и опытным врачом, — дополнил Мэнни.

В то время я не сообразил, — а Мэнни умышленно не напомнил этого, — что годы марсиан почти вдвое длиннее наших: оборот Марса вокруг Солнца совершается в 686 наших дней, и 16 лет Нэтти равнялись 30 земным годам.

VI. Этеронеф

После завтрака Мэнни провел меня осматривать наш «корабль». Прежде всего мы направились в машинное отделение. Оно занимало нижний этаж этеронефа, примыкая прямо к его уплощенному дну, и делилось перегородками на пять комнат, одну центральную и четыре боковые. В середине центральной комнаты

возвышалась движущая машина, а вокруг нее со всех четырех сторон были сделаны в полу круглые стеклянные окна, одно из чистого хрусталя, три из цветного стекла различной окраски; стекла были в три сантиметра толщиной, удивительно прозрачные. В данную минуту мы могли видеть через них только часть земной поверхности.

Основную часть машины составлял вертикальный металлический цилиндр трех метров вышины и полметра в диаметре, сделанный, как мне объяснил Мэнни, из осмия — очень тугоплавкого, благородного металла, родственного платине. В этом цилиндре происходило разложение радирующей материи: накалинные до красна 20-сантиметровой толщины стенки явно свидетельствовали об энергии этого процесса. И, однако, в комнате не было слишком жарко: весь цилиндр был окружен вдвое более широким футляром из какого-то прозрачного вещества, прекрасно защищающего от жары; а сверху этот футляр соединен был с трубами, по которым нагретый воздух отводился из него во все стороны для равномерного «отопления» этеронефа.

Остальные части машины, связанные разными способами с цилиндром, — электрические катушки, аккумуляторы, указатели с циферблатами и т. п. — были расположены вокруг в красивом порядке, и дежурный машинист благодаря системе зеркал видел все их сразу, не сходя со своего кресла.

Из боковых комнат одна была «астрономическая», справа и слева от нее находились «водяная» и «кислородная», а на противоположной стороне — «вычислительная». В астрономической комнате пол и наружная стенка были сплошь хрустальные, из геометрически отшлифованного стекла идеальной чистоты. Их прозрачность была такова, что когда я, идя вслед за Мэнни

по воздушным мостикам, решался взглянуть прямо вниз, то я ничего не видел между собой и бездной, расстилавшейся под нами, — мне приходилось закрыть глаза, чтобы остановить мучительное головокружение. Я старался смотреть по сторонам на инструменты, которые были расположены в промежутках сети мостиков, на сложных штативах, спускавшихся с потолка и внутренних стен комнаты. Главный телескоп был около двух метров длины, но с непропорционально большим объективом и, очевидно, такой же оптической силой.

— Окуляры мы применяем только алмазные, — сказал Мэнни, — они дают наибольшее поле зрения.

— Насколько значительно обычное увеличение этого телескопа? — спросил я.

— Ясное увеличение около 600 раз, — отвечал Мэнни, — но когда оно недостаточно, мы фотографируем поле зрения и рассматриваем фотографию под микроскопом. Этим путем увеличение фактически доводится до 60 тысяч и более, а замедление с фотографированием не составляет у нас и минуты.

Мэнни предложил мне сейчас же взглянуть в телескоп на покинутую Землю. Он сам направил трубу.

— Расстояние теперь около 2000 километров, — сказал он. — Узнаете ли вы, что перед вами?

Я сразу узнал гавань скандинавской столицы, где нередко проезжал по делам партии. Мне было интересно рассмотреть пароходы на рейде. Мэнни одним поворотом боковой ручки, имевшейся при телескопе, поставил на место окуляра фотографическую камеру, а через несколько секунд снял ее с телескопа и целиком перенес в большой аппарат, стоявший сбоку и оказавшийся микроскопом.

— Мы проявляем и закрепляем изображение тут же, в микроскопе, не прикасаясь к пластинке рука-

ми, — пояснил он и после нескольких незначительных операций, через какие-нибудь полминуты предоставил мне окуляр микроскопа. Я с поразительной ясностью увидел знакомый мне пароход Северного общества, как будто он находился в нескольких десятках шагов от меня; изображение в проходящем свете казалось рельефным и имело совершенно натуральную окраску. На мостике стоял седой капитан, с которым я не раз беседовал во время поездки. Матрос, опускавший на палубу большой ящик, как будто застыл в своей позе, так же как и пассажир, указывавший ему что-то рукою. И все это было за 2000 километров.

Молодой марсианин, помощник Стэрни, вошел в комнату. Ему надо было произвести точное измерение пройденного этеронефом расстояния. Мы не хотели мешать ему в работе и прошли дальше, в «водяную» комнату. Там находился огромный резервуар с водой и большие аппараты для ее очищения. Множество труб проводили эту воду из резервуара по всему этеронефу.

Далее шла «вычислительная» комната. Там стояли непонятные для меня машины со множеством циферблатов и стрелок. За самой большой машиной работал Стэрни. Из нее тянулась длинная лента, заключавшая, очевидно, результаты вычислений Стэрни, но знаки на ней, как и на всех циферблатах, были мне незнакомы. Мне не хотелось мешать Стэрни и вообще разговаривать с ним. Мы быстро прошли в последнее боковое отделение.

Это была «кислородная» комната. В ней хранились запасы кислорода в виде 25 тонн бертолетовой соли, из которой можно было выделить, по мере надобности, 10 000 кубических метров кислорода: это количество достаточно для нескольких путешествий, подобных нашему. Тут же находились аппараты для разложения

бертолетовой соли. Далее, там же хранились запасы барита и едкого кали для поглощения из воздуха углекислоты, а также запасы серного ангидрида для поглощения лишней влаги и летучего левкомаина — того физиологического яда, который выделяется при дыхании и который несравненно вреднее углекислоты. Этой комнатой заведовал доктор Нэтти.

Затем мы вернулись в центральное машинное отделение и из него в небольшом подъемнике переправились прямо в самый верхний этаж этеронефа. Там центральную комнату занимала вторая обсерватория, во всем подобная нижней, но только с хрустальной оболочкой вверху, а не внизу, и с инструментами более крупных размеров. Из этой обсерватории видна была другая половина небесной сферы вместе с «планетой назначения». Марс сиял своим красноватым светом в стороне от зенита. Мэнни направил туда телескоп, и я отчетливо увидел знакомые мне по картам Скиапарелли очертания материков, морей и сети каналов. Мэнни фотографировал планету, и под микроскопом выступила детальная карта. Но я не мог ничего понять в ней без объяснений Мэнни: пятна городов, лесов и озер отличались одни от других неуловимыми и непонятными для меня частностями.

— Как велико расстояние? — спросил я.

— Сейчас сравнительно близкое — около 100 миллионов километров.

— А почему Марс не в зените купола? Мы, значит, летим не прямо к нему, а в сторону?

— Да, и мы не можем иначе. Отправляясь с Земли, мы в силу инерции сохраняем, между прочим, скорость ее движения вокруг Солнца — 30 километров в секунду. Скорость же Марса всего 24 километра, и если бы летели по перпендикуляру между обеими

орбитами, то мы ударились бы о поверхность Марса с остаточной боковой скоростью 6 километров в секунду. Это очень неудобно, и мы должны выбрать криволинейный путь, на котором уравнивается и лишняя боковая скорость.

— Как же велик в таком случае весь наш путь?

— Около 160 миллионов километров, что потребует не менее двух с половиной месяцев.

Если бы я не был математиком, эти цифры ничего не говорили бы моему сердцу. Но теперь они вызывали во мне ощущение, близкое к кошмару, и я поспешил уйти из астрономической комнаты.

Шесть боковых отделений верхнего сегмента, окружавших кольцом обсерваторию, были совсем без окон, и их потолок, представлявший часть шаровой поверхности, наклонно опускался к самому полу. У потолка помещались большие резервуары «минус-материи», отталкивание которой должно было парализовать вес всего этеронефа.

Средние этажи — третий и второй — были заняты общими залами, лабораториями отдельных членов экспедиции, их каютами, ваннами, библиотекой, гимнастической комнатой и т. д.

Каюта Нэтти находилась рядом с моею.

VII. Люди

Потеря тяжести все больше давала себя знать. Возраставшее чувство легкости перестало быть приятным. К нему присоединился элемент неуверенности и какого-то смутного беспокойства. Я ушел в свою комнату и лег на койку.

Часа два спокойного положения и усиленных размышлений привели к тому, что я незаметно заснул.

Когда я проснулся, в моей комнате у стола сидел Нэтти. Я невольно резким движением поднялся с постели и, как будто подброшенный чем-то кверху, ударился головой о потолок.

— Когда весишь менее 20 фунтов, то надо быть осторожнее, — добродушно-философским тоном заметил Нэтти.

Он пришел ко мне со специальной целью дать все необходимые указания на случай той «морской болезни», которая уже начиналась у меня от потери тяжести. В каюте имелся особый сигнальный звонок в его комнату, которым я мог всегда его вызвать, если бы еще потребовалась его помощь.

Я воспользовался случаем разговориться с юным доктором, — меня как-то невольно влекло к этому симпатичному, очень ученому, но и очень веселому мальчику. Я спросил его, почему случилось так, что из всей компании марсиан на этеронефе он один, кроме Мэнни, владеет моим родным языком.

— Это очень просто, — объяснил он. — Когда мы искали человека, то Мэнни выбрал себя и меня для вашей страны, и мы провели в ней больше года, пока нам не удалось покончить это дело с вами.

— Значит, другие «искали человека» в других странах?

— Конечно, среди всех главных народов Земли. Но, как Мэнни и предвидел, найти его всего скорее удалось в вашей стране, где жизнь идет наиболее энергично и ярко, где люди вынуждены все больше смотреть вперед. Найдя человека, мы известили остальных; они собрались из всех стран; и вот мы едем.

— Что вы собственно подразумеваете, когда говорите: «искали человека», «нашли человека»? Я понимаю, что дело шло о субъекте, пригодном для извест-

ной роли, — Мэнни объяснил мне, какой именно. Мне очень лестно видеть, что выбрали меня, но я хотел бы знать, чему я этим обязан.

— В самых общих чертах я могу сказать вам это. Нам нужен был человек, в натуре которого совмещалось бы как можно больше здоровья и гибкости, как можно больше способности к разумному труду, как можно меньше чисто личных привязанностей на Земле, как можно меньше индивидуализма. Наши физиологи и психологи полагали, что переход от условий жизни вашего общества, резко раздробленного вечной внутренней борьбой, к условиям нашего, организованного, как вы сказали, социалистически, — что переход этот очень тяжел и труден для отдельного человека и требует особенно благоприятной организации. Мэнни нашел, что вы подходите больше других.

— И мнения Мэнни было для всех вас достаточно?

— Да, мы вполне доверяем его оценке. Он — человек выдающейся силы и ясности ума и ошибается очень редко. Он имеет больше опыта в сношениях с земными людьми, чем кто-либо из нас; он первый начал эти сношения.

— А кто открыл самый способ сообщения между планетами?

— Это — дело многих, а не одного. «Минус-материя» была добыта уже несколько десятков лет тому назад. Но вначале ее удавалось получать только в ничтожных количествах, и понадобились усилия очень многих фабричных коллегий, чтобы найти и развить способы ее производства в больших размерах. Затем понадобилось усовершенствовать технику добывания и разложения радирующих материй, чтобы иметь подходящий двигатель для этеронефов. Это также требовало массы усилий. Далее, много трудностей вытекало

из самых условий межпланетной среды, с ее страшным холодом и жгучими солнечными лучами, не смягченными воздушной оболочкой. Вычисление пути оказалось тоже делом нелегким и подверженным таким погрешностям, которых не предвидели раньше. Словом, прежние экспедиции на Землю оканчивались гибелью всех участников, пока Мэнни не организовал первую успешную экспедицию. А теперь, пользуясь его методами, мы проникли недавно и на Венеру.

— Но если так, то Мэнни — настоящий великий человек, — сказал я.

— Да, если вам нравится так называть человека, который действительно много и хорошо работал.

— Я хотел сказать не это: работать много и хорошо могут и вполне обыкновенные люди, люди-исполнители. Мэнни же, очевидно, совсем иное: он гений, человек-творец, создающий новое и ведущий вперед человечество.

— Это все неясно и, кажется, неверно. Творец — каждый работник, но в каждом работнике творит человечество и природа. Разве в руках Мэнни не находился весь опыт предыдущих поколений и современных ему исследователей, и разве не исходил из этого опыта каждый шаг его работы? И разве не природа предоставила ему все элементы и все зародыши его комбинаций? И разве не из самой борьбы человечества с природой возникли все живые стимулы этих комбинаций? Человек — личность, но дело его безлично. Рано или поздно он умирает с его радостями и страданиями, — а оно остается в беспредельно растущей жизни. В этом нет разницы между работниками; неодинакова только величина того, что они пережили, и того, что остается в жизни.

— Но ведь, например, имя такого человека, как Мэнни, не умирает же вместе с ним, а остается в

памяти человечества, тогда как бесчисленные имена других исчезают бесследно.

— Имя каждого сохраняется до тех пор, пока живы те, кто жил с ним и знает его. Но человечеству не нужен мертвый символ личности, когда ее уже нет. Наша наука и наше искусство безлично хранят то, что сделано общей работой. Балласт имен прошлого бесполезен для памяти человечества.

— Вы, пожалуй, и правы; но чувство нашего мира возмущается против этой логики. Для нас имена вождей мысли и дела — живые символы, без которых не может обойтись ни наша наука, ни наше искусство, ни вся наша общественная жизнь. Часто в борьбе сил и в борьбе идей имя на знамени говорит больше, чем отвлеченный лозунг. И имена гениев — не балласт для нашей памяти.

— Это оттого, что единое дело человечества для вас все еще не единое дело; в иллюзиях, порождаемых борьбой между людьми, оно дробится и кажется делом людей, а не человечества. Мне тоже было трудно понять вашу точку зрения, как вам нашу.

— Итак, хорошо это или плохо, но бессмертных нет в нашей компании. Зато смертные здесь, вероятно, все из самых отборных — не так ли? — из тех, которые «много и хорошо работали», как вы выражаетесь?

— Вообще да. Мэнни подбирал товарищей из числа многих тысяч, выразивших желание отправиться с ним.

— А самый крупный после него — это, может быть, Стэрни?

— Да, если уж вам упорно хочется измерять и сравнивать людей, Стэрни — выдающийся ученый, хотя и совершенно в другом роде, чем Мэнни. Он математик, каких очень мало. Он раскрыл целый ряд погрешностей в тех вычислениях, по которым устраивались все прежние

экспедиции на Землю, и показал, что некоторые из этих погрешностей сами по себе уже были достаточны для гибели дела и работников. Он нашел новые методы для таких вычислений, и до сих пор результаты, полученные им, оказались непогрешимыми.

— Я так его себе и представлял на основании слов Мэнни и первых впечатлений. А между тем я сам не понимаю — почему его вид вызывает во мне какое-то тревожное чувство, какое-то неопределенное беспокойство, нечто вроде беспричинной антипатии. Не найдется ли у вас, доктор, какого-нибудь объяснения для этого?

— Видите ли, Стэрни — очень сильный, но холодный, главным образом аналитический ум. Он все разлагает, неумолимо и последовательно, и выводы его часто односторонни, иногда чрезмерно суровы, потому что анализ частей дает ведь не целое, а меньше целого: вы знаете, что везде, где есть жизнь, целое бывает больше суммы своих частей, как живое человеческое тело больше, чем груды его членов. Вследствие этого Стэрни меньше прочих может входить в настроения и мысли других людей. Он вам всегда охотно поможет в том, с чем вы сами к нему обратитесь, но он никогда не угадает за вас, что вам нужно. Этому мешает, конечно, и то, что его внимание почти всегда поглощено его работой, его голова постоянно полна какой-нибудь трудной задачей. В этом он не похож на Мэнни: тот всегда все видит вокруг и не раз умел объяснить даже мне самому, чего мне хочется, что меня беспокоит, чего ищет мой ум или мое чувство.

— Если все это так, то Стэрни, должно быть, к нам, земным людям, полным противоречий и недостатков, относится довольно враждебно?

— Враждебно? Нет, ему это чувство чуждо. Но скептицизма у него, я думаю, больше, чем следует.

Он пробыл во Франции всего полгода и телеграфировал Мэнни: «Здесь искать нечего». Может быть, он был отчасти прав, потому что и Летта, который был вместе с ним, не нашел подходящего человека. Но характеристики, которые он дает виденным людям этой страны, гораздо суровее, чем те, которые дает Летта, и, конечно, гораздо более односторонни, хотя и не заключают в себе ничего неверного.

— А кто такой этот Летта, о котором вы говорите? Я его как-то не запомнил.

— Химик, помощник Мэнни, немолодой человек, старше всех на нашем этеронефе. С ним вы сойдетесь легко, и это будет для вас очень полезно. У него мягкая натура и много понимания чужой души, хотя он и не психолог, как Мэнни. Приходите к нему в лабораторию, он будет рад этому и покажет вам много интересного.

В этот момент я вспомнил, что мы уже далеко улетели от Земли, и мне захотелось посмотреть на нее. Мы отправились вместе в одну из боковых зал с большими окнами.

— Не придется ли нам проехать близко от Луны? — спросил я по дороге.

— Нет, Луна остается далеко в стороне, и это жаль. Мне тоже хотелось посмотреть на Луну поближе. С Земли она казалась мне такой странной. Большая, холодная, медленная, загадочно-спокойная, она совсем не то, что наши две маленькие луны, которые так быстро бегают по небу и так быстро меняют свое личико, точно живые, капризные дети. Правда, ваша Луна зато гораздо ярче, и свет ее такой приятный. Ярче и ваше Солнце; вот в чем вы гораздо счастливее нас. Ваш мир вдвое светлее: оттого и не нужны вам такие глаза, как наши, с большими зрачками для собирания слабых лучей нашего дня и нашей ночи.

Мы сели у окна. Земля сияла вдали, как гигантский серп, на котором можно было различить только очертания запада Америки, северо-востока Азии, тусклое пятно, обозначавшее часть Великого океана, и белое пятно Северного Ледовитого. Весь Атлантический океан и Старый Свет лежали во мраке; за расплывчатым краем серпа их можно было только угадывать, и именно потому, что невидимая часть Земли закрывала звезды на обширном пространстве черного неба. Наша косвенная траектория и вращение Земли вокруг оси привели к такой перемене картины.

Я смотрел, и мне было грустно, что я не вижу родной страны, где столько жизни, борьбы и страданий, где вчера еще я стоял в рядах товарищей, а теперь на мое место должен стать другой. И сомнение поднялось в моей душе.

— Там, внизу, льется кровь, — сказал я, — а здесь вчерашний работник в роли спокойного созерцателя...

— Кровь льется там ради лучшего будущего, — отвечал Нэтти, — но и для самой борьбы надо знать лучшее будущее. И ради этого знания — вы здесь.

С невольным порывом я сжал его маленькую, почти детскую руку.

VIII. Сближение

Земля все более удалялась и, точно худея от разлуки, превращалась в луновидный серп, сопровождаемый теперь совсем маленьким серпом настоящей Луны. Параллельно с этим все мы, обитатели этеронефа, становились какими-то фантастическими акробатами, способными летать без крыльев и удобно располагаться в любом направлении пространства, головой к полу, или к потолку, или к стене — почти безразлично. По-

немногу я сходиллся со своими новыми товарищами и начинал чувствовать себя с ними свободнее.

Уже на другой день после нашего отплытия (мы сохранили этот счет времени, хотя для нас, конечно, уже не существовало настоящих дней и ночей) я по собственной инициативе переоделся в марсианский костюм, чтобы меньше выделяться между всеми. Правда, костюм этот и сам по себе нравился мне: простой, удобный, без всяких бесполезных, условных частей вроде галстука или манжет, он оставлял наибольшую возможную свободу для движений. Отдельные части костюма так соединялись маленькими застёжками, что весь костюм превращался в одно целое, и в то же время легко было, в случае надобности, отстегнуть и снять, например, один рукав, или оба, или всю блузу. И манеры моих спутников были похожи на их костюм: простота, отсутствие всего лишнего и условного. Они никогда не здоровались, не прощались, не благодарили, не затягивали разговора из вежливости, если прямая цепь его была исчерпана; и в то же время они с большим терпением давали всегда всякие разъяснения, тщательно приспособляясь к уровню понимания собеседника и входя в его психологию, как бы мало она ни подходила к их собственной.

Разумеется, я с первых же дней принялся за изучение их родного языка, и все они с величайшей готовностью исполняли роль моих наставников, а больше всех Нэтти. Язык этот очень оригинален, и, несмотря на большую простоту его грамматики и правил образования слов, в нем есть особенности, с которыми мне нелегко было справиться. Его правила вообще не имеют исключений, в нем нет таких разграничений, как мужской, женский или средний род, но рядом с этим все названия предметов и свойств изменяются по временам. Это никак не укладывалось в моей голове.

— Скажите, какой смысл в этих формах? — спрашивал я Нэтти.

— Неужели вы не понимаете? А между тем в ваших языках, называя предмет, вы старательно обозначаете, считаете ли вы его мужчиной или женщиной, что, в сущности, очень неважно, а по отношению к неживым предметам даже довольно странно. Насколько важнее различие между теми предметами, которые существуют, и теми, которых уже нет, или теми, которые еще должны возникнуть. У вас «дом» — «мужчина», а «лодка» — «женщина», у французов это наоборот, — и дело от того нисколько не меняется. Но когда вы говорите о доме, который уже сгорел или который еще собираетесь выстроить, вы употребляете слово в той же форме, в какой говорите о доме, в котором живете. Разве есть в природе большее различие, чем между человеком, который живет, и человеком, который умер, — между тем, что есть, и тем, чего нет? Вам нужны целые слова и фразы для обозначения этого различия, — не лучше ли выражать его прибавлением одной буквы в самом слове?

Во всяком случае, Нэтти был доволен моей памятью, а его метод обучения был превосходен, и дело подвигалось вперед очень быстро. Это помогало мне сближаться с марсианами, — я начинал все с большей уверенностью путешествовать по всему этеронефу, заходя в комнаты и в лаборатории моих спутников и расспрашивая их обо всем, что меня занимало.

Молодой астроном Энно, помощник Стэрни, живой и веселый, тоже почти мальчик по возрасту, показывал мне массу интересных вещей, явно увлекаясь не столько измерениями и формулами, в которых он был, однако, настоящим мастером, сколько красотой наблюдаемого. У меня было хорошо на душе с юным астрономом-поэтом; а законное стремление ориентироваться в нашем

положении среди природы давало мне постоянный повод проводить понемногу времени у Энно и его телескопов.

Один раз Энно показал мне при самом сильном увеличении крошечную планету Эрот, часть орбиты которой проходит между путями Земли и Марса, а остальная часть лежит дальше Марса, переходя в район астероидов. И хотя в это время Эрот находился от нас на расстоянии 150 миллионов километров, но фотография его маленького диска представляла в поле зрения микроскопа целую географическую карту, подобную картам Луны. Конечно, это безжизненная планета, такая же, как Луна.

В другой раз Энно фотографировал рой метеоритов, проходивший всего в нескольких миллионах километров от нас. Изображение представляло, разумеется, только неопределенную туманность. При этом случае Энно рассказал мне, что в одной из прежних экспедиций на Землю этеронеф погиб как раз в то время, когда прорезывал другой подобный рой. Астрономы, следившие за этеронефом в самые большие телескопы, увидели, как погас его электрический свет и этеронеф навеки исчез в пространстве.

— Вероятно, этеронеф столкнулся с несколькими из этих маленьких телец, а при громадной разности скоростей они должны были насквозь пронизать все его стенки. Тогда воздух ушел из него в пространство, и холод междупланетной среды оледенил уже мертвые тела путешественников. И теперь этеронеф летит, продолжая свой путь по кометной орбите; он удаляется от Солнца навсегда, и неизвестно, где конец этого страшного корабля, населенного трупами.

При этих словах Энно холод эфирных пустынь как будто проник и в мое сердце. Я живо представил себе наш крошечный светлый островок среди бесконечного

мертвого океана. Без всякой опоры в головокружительно быстром движении, и черная пустота повсюду вокруг... Энно угадал мое настроение.

— Мэнни — надежный кормчий, — сказал он, — и Стэрни не делает ошибок... А смерть... вы ее, вероятно, видели близко в своей жизни... ведь она — только смерть, не более.

Очень скоро наступил час, когда мне пришлось вспомнить эти слова в борьбе с мучительной душевной болью.

Химик Летта привлекал меня к себе не только особенной мягкостью и чуткостью натуры, о которой говорил мне Нэтти, но также и своими громадными знаниями в наиболее интересном для меня научном вопросе — о строении материи. Один Мэнни был еще компетентнее его в этой области, но я старался как можно меньше обращаться к Мэнни, понимая, что его время слишком драгоценно и для интересов науки, и для интересов экспедиции, чтобы я имел право отвлекать его для себя. А добродушный старик Летта с таким неистощимым терпением относился к моему невежеству, с такой предупредительностью и даже видимым удовольствием разъяснял мне самую азбуку предмета, что с ним я нисколько не чувствовал себя стесненным.

Летта стал читать мне целый курс по теории строения материи, причем иллюстрировал его рядом опытов разложения элементов и их синтеза. Многие из относящихся сюда опытов он должен был, однако, пропускать, ограничиваясь словесным их описанием, — именно те, в которых явления имеют особенно бурный характер и протекают в форме взрыва или могут принять такую форму.

Как-то раз во время лекции в лабораторию зашел Мэнни. Летта заканчивал описание очень интересного

эксперимента и собирался приступить к его выполнению.

— Будьте осторожны, — сказал ему Мэнни, — я помню, что этот опыт однажды кончился у меня нехорошо; достаточно ничтожнейшей посторонней примеси к веществу, которое вы разлагаете, и тогда самый слабый электрический разряд может вызвать взрыв во время нагревания.

Летта хотел уже отказаться от выполнения опыта, но Мэнни, неизменно внимательный и любезный по отношению ко мне, сам предложил помочь ему тщательной проверкой всех условий опыта; и реакция прошла превосходно.

На следующий день предстояли новые опыты с тем же веществом. Мне казалось, что на этот раз Летта взял его не из той банки, что накануне. Когда он поставил уже реторту на электрическую баню, мне пришлось в голову сказать ему об этом. Обеспокоенный, он тотчас пошел к шкафу с реактивами, оставив баню и реторту на столике у стены, которая была вместе с тем наружной стенкой этеронефа. Я пошел вместе с ним.

Вдруг раздался оглушительный треск, и нас обоих с большой силой ударило о дверцы шкафа. Затем последовал оглушительный свист и вой и металлическое дребезжание. Я почувствовал, что непреодолимая сила, подобная урагану, увлекает меня назад, к наружной стене. Я успел машинально схватиться за крепкую ремennую ручку, приделанную к шкафу, и повис горизонтально, удерживаемый в этом положении могучим потоком воздуха. Летта сделал то же самое.

— Держитесь крепче! — крикнул он мне, и я едва расслышал его голос среди шума бури. Резкий холод пронизал мое тело.

Летта быстро осмотрелся вокруг. Лицо его было страшно своей бледностью, но выражение растерянности вдруг сменилось на нем выражением ясной мысли и твердой решимости. Он сказал только два слова, — я не мог их расслышать, но угадал, что это было прощание навеки, — и его руки разжались.

Глухой звук удара, и вой урагана прекратился. Я почувствовал, что можно выпустить ручку, и оглянулся. От столика не было и следа, а у стены, плотно прижавшись к ней спиной, неподвижно стоял Летта. Глаза его были широко раскрыты, и все лицо его как будто застыло. Одним прыжком я очутился у двери и отворил ее. Порыв теплого ветра отбросил меня назад. Через секунду в комнату вошел Мэнни. Он быстро подошел к Летта.

Еще через несколько секунд комната была полна народу. Нэтти оттолкнул всех с пути и бросился к Летта. Все остальные окружили нас в тревожном молчании.

— Летта умер, — раздался голос Мэнни. — Взрыв во время химического опыта пробил стенку этеронефа, и Летта своим телом закрыл брешь. Давление воздуха разорвало его легкие и парализовало сердце. Смерть была мгновенная. Летта спас нашего гостя — иначе гибель обоих была неизбежна.

У Нэтти вырвалось глухое рыдание.

IX. Прошлое

Несколько дней после катастрофы Нэтти не выходил из своей комнаты, а в глазах Стэрни я стал подмечать иногда прямо недоброжелательное выражение. Бесспорно, из-за меня погиб выдающийся ученый и математический ум. Стэрни не мог не делать сравнения между величиной ценности той жизни, которая была утрачена, и той, которая была спасена.

Мэнни оставался неизменно ровным и спокойным и даже удвоил свое внимание и заботливость обо мне; так же вели себя и Энно, и все остальные.

Я стал усиленно продолжать изучение языка марсиан и при первом удобном случае обратился к Мэнни с просьбой дать мне какую-нибудь книгу по истории их человечества. Мэнни нашел мою мысль очень удачной и принес мне руководство, в котором популярно излагалась для детей-марсиан всемирная история.

Я начал, с помощью Нэтти, читать и переводить книжку. Меня поражало искусство, с каким неизвестный автор оживлял и конкретизировал иллюстрациями самые общие, самые отвлеченные на первый взгляд понятия и схемы. Это искусство позволяло ему вести изложение по такой геометрически стройной системе, в такой логически выдержанной последовательности, как не решился бы писать для детей ни один из наших земных популяризаторов.

Первая глава имела философский характер и была посвящена идее Вселенной как единого целого, все заключающего в себе и все определяющего собой. Эта глава живо напомнила мне произведения того рабочего-мыслителя, который в простой и наивной форме первый изложил основы пролетарской философии природы.

В следующей главе изложение возвращалось к тому необозримо отдаленному времени, когда во Вселенной не сложилось еще никаких знакомых нам форм, когда хаос и неопределенность царили в безграничном пространстве. Автор рассказывал, как обособлялись в этой среде первые бесформенные скопления неуловимо-тонкой, химически не определившейся материи; скопления эти послужили зародышами гигантских звездных миров, какими являются звездные туманности, и в числе

их наш Млечный Путь с 20 миллионами солнц, среди которых наше Солнце — одно из самых маленьких.

Далее шла речь о том, как материя, концентрируясь и переходя к более устойчивым соединениям, принимала форму химических элементов, а рядом с этим первичные, бесформенные скопления распадались и среди них выделялись газообразные солнечно-планетные туманности, каких сейчас еще при помощи телескопа можно найти многие тысячи. История развития этих туманностей, кристаллизации из них солнц и планет излагалась одинаково с нашей канто-лапласовской теорией происхождения миров, но с большей определенностью и большими подробностями.

— Скажите, Мэнни, — спросил я, — неужели вы считаете правильным давать детям с самого начала эти беспредельно общие и почти столь же отвлеченные идеи, эти бледные мировые картины, столь далекие от их ближайшей конкретной обстановки? Не значит ли это населять детский мозг почти пустыми, почти только словесными образами?

— Дело в том, что у нас никогда не начинают обучения с книг, — отвечал Мэнни. — Ребенок черпает свои сведения из живого наблюдения природы и живого общения с другими людьми. Раньше, чем он возьмется за такую книгу, он уже совершил множество поездок, видел разнообразные картины природы, знает множество пород растений и животных, знаком с употреблением телескопа, микроскопа, фотографии, фонографа, слышал от старших детей, от воспитателей и других взрослых друзей много рассказов о прошлом и отдаленном. Книга, подобная этой, должна только связать воедино и упрочить его знания, заполняя мимоходом случайные пробелы и намечая дальнейший путь изучения. Понятно, что при этом идея целого

прежде всего и постоянно должна выступать с полной отчетливостью, должна проводиться от начала и до конца, чтобы никогда не теряться в частностях. Цельного человека надо создавать уже в ребенке.

Все это было для меня очень непривычно, но я не стал подробнее расспрашивать Мэнни: мне все равно предстояло непосредственно познакомиться с марсианскими детьми и системой их воспитания. Я возвратился к своей книжке.

Предметом следующих глав являлась геологическая история Марса. Ее изложение, хотя и очень сжатое, было полно сопоставлений с историей Земли и Венеры. При значительном параллелизме всех трех основное различие заключалось в том, что Марс оказывался вдвое старше Земли и почти вчетверо старше Венеры. Были установлены и цифры возраста планет, я их хорошо помню, но не стану приводить здесь, чтобы не раздражать земных ученых, для которых они оказались бы довольно неожиданными.

Далее шла история жизни с самого ее начала. Давалось описание тех первичных соединений, сложных циановых производных, которые, не будучи еще настоящей живой материей, обладали многими ее свойствами, и описание тех геологических условий, при которых эти соединения химически создавались. Выяснялись причины, в силу которых такие вещества сохранялись и накапливались среди других, более устойчивых, но менее гибких соединений. Прослеживалось шаг за шагом усложнение и дифференциация этих химических зародышей всякой жизни, вплоть до образования настоящих живых клеток, с которых начинается «царство протистов».

Картина дальнейшего развития жизни сводилась к лестнице прогресса живых существ или, вернее, к их общему генеалогическому дереву: от протистов

до высших растений, с одной стороны, до человека, с другой стороны, — вместе с различными боковыми ответвлениями. При сравнении с «земной» линией развития оказывалось, что на пути от первичной клетки до человека ряд первых звеньев цепи почти одинаков и так же незначительны различия в последних звеньях, а в средних различий гораздо больше. Это представлялось мне чрезвычайно странным.

— Этот вопрос, — сказал мне Нэтти, — насколько я знаю, еще не исследован специально. Ведь еще двадцать лет тому назад мы не знали, как устроены высшие животные на Земле, и мы сами были очень удивлены, найдя такое сходство с нашим типом. Очевидно, число возможных высших типов, выражающих наибольшую полноту жизни, не так велико; и на планетах, настолько сходных, как наши, в пределах весьма однородных условий природа могла достигнуть этого максимума жизни только одним способом.

— И притом, — заметил Мэнни, — высший тип, который завладеет своей планетой, есть тот, который наиболее целостно выражает всю сумму ее условий, тогда как промежуточные стадии, способные захватить только часть своей среды, выражают эти условия так же частично и односторонне. Поэтому при громадном сходстве общей суммы условий высшие типы должны совпадать в наибольшей мере, а промежуточные в силу самой своей односторонности представляют больше простора для различий.

Я вспомнил, как мне, еще во время моих университетских занятий, та же мысль об ограниченном числе возможных высших типов пришла в голову по совершенно другому поводу: у спрутов, морских головоногих моллюсков, высших организмов целой ветви развития, глаза необычайно сходны с глазами нашей ветви —

позвоночных; а между тем происхождение и развитие глаз головоногих совершенно иное, настолько иное, что даже соответственные слои тканей зрительного аппарата расположены у них в обратном нашему порядку...

Так или иначе, факт был налицо: на другой планете жили люди, похожие на нас, и мне оставалось усердно продолжать свое ознакомление с их жизнью и историей.

Что касается доисторических времен и вообще начальных фаз жизни человечества на Марсе, то и здесь сходство с земным миром было огромное. Те же формы родового быта, то же обособленное существование отдельных общин, то же развитие связи между ними посредством обмена. Но дальше начиналось расхождение, хотя и не в основном направлении развития, а скорее в его стиле и характере.

Ход истории на Марсе был как-то мягче и проще, чем на Земле. Были, конечно, войны племен и народов, была и борьба классов, но войны играли сравнительно небольшую роль в исторической жизни и сравнительно рано совсем прекратились, а классовая борьба гораздо меньше и реже проявлялась в виде столкновений грубой силы. Это, правда, не указывалось прямо в книге, которую я читал, но это было очевидно для меня из всего изложения.

Рабства марсиане вовсе не знали, в их феодализме было очень мало военщины, а их капитализм очень рано освободился от национально-государственного дробления и не создал ничего подобного нашим современным армиям.

Объяснения всему этому я должен был искать сам: марсиане, даже и сам Мэнни, еще только начинали изучать историю земного человечества и не успели произвести сравнительного исследования своего и нашего прошлого.

Я вспомнил один из прежних разговоров с Мэнни. Собираясь изучать язык, на котором говорили между собою мои спутники, я поинтересовался узнать, был ли это наиболее распространенный из всех, какие существуют на Марсе. Мэнни объяснил, что это единственный литературный и разговорный язык всех марсиан.

— Когда-то и у нас, — прибавил Мэнни, — люди из различных стран не понимали друг друга, но уже давно, за несколько сот лет до социалистического переворота, все различные диалекты сблизились и слились в одном всеобщем языке. Это произошло свободно и стихийно, — никто не старался и никто не думал об этом. Долго сохранялись еще некоторые местные особенности, так что были как бы отдельные наречия, но достаточно понятные для всех. Развитие литературы покончило и с ними.

— Я только одним могу объяснить себе это, — сказал я. — Очевидно, на вашей планете сношения между людьми с самого начала были гораздо шире, легче и теснее, чем у нас.

— Именно так, — отвечал Мэнни. — На Марсе нет ни ваших громадных океанов, ни ваших непроходимых горных хребтов. Наши моря невелики и нигде не производят полного разрыва суши на самостоятельные континенты; наши горы невысоки, кроме немногих отдельных вершин. Вся поверхность нашей планеты вчетверо менее обширна, чем поверхность Земли, а между тем сила тяжести у нас в два с половиной раза меньше, и благодаря легкости тела мы можем довольно быстро передвигаться даже без искусственных средств сообщения: мы бегаем сами не хуже и устаем при этом не больше, чем вы, когда ездите верхом на лошадях. Природа поставила между нашими племенами гораздо меньше стен и перегородок, чем у вас.

Такова и была, значит, первоначальная и основная причина, помешавшая резкому расовому и национальному разъединению марсианского человечества, а вместе с тем и полному развитию войн, милитаризма и вообще системы массового убийства. Вероятно, капитализм силою своих противоречий все-таки дошел бы до создания всех этих отличий высокой культуры, но и развитие капитализма шло там своеобразно, выдвигая новые условия для политического объединения всех племен и народов Марса. Именно в земледелии мелкое крестьянство было весьма рано вытеснено крупным капиталистическим хозяйством, и скоро после этого произошла национализация всей земли.

Причина заключалась в непрерывно возраставшем высыхании почвы, с которым мелкие земледельцы не в силах были бороться. Кора планеты глубоко поглощала воду и не возвращала ее обратно. Это было продолжение того стихийного процесса, благодаря которому существовавшие некогда на Марсе океаны обмелели и превратились в сравнительно небольшие замкнутые моря. Такой процесс поглощения идет и на нашей Земле, но здесь он пока еще не зашел далеко; на Марсе, который вдвое старше Земли, положение уже тысячу лет тому назад успело стать серьезным, так как с уменьшением морей, естественно, шло рядом уменьшение облаков, дождей, а значит, и обмеление рек и высыхание ручьев. Искусственное орошение стало необходимым в большинстве местностей. Что могли сделать независимые мелкие земледельцы?

В одних случаях они прямо разорвались, и их земли переходили к окрестным крупным землевладельцам, располагающим достаточными капиталами для устройства орошения. В других случаях крестьяне образовывали большие ассоциации, соединяя свои средства для

этого общего дела. Но рано или поздно таким ассоциациям приходилось испытывать недостаток в денежных средствах, вначале, казалось бы, лишь временный; а раз только заключались первые займы у крупных капиталистов, дела ассоциаций начинали идти под гору все быстрее: немалые проценты по займам увеличивали издержки ведения дела, наступала необходимость в новых займах и т. п. Ассоциации подпадали под экономическую власть своих кредиторов, и те их в конце концов разоряли, захватывая себе сразу участки целых сотен и тысяч крестьян.

Так возделанная земля перешла к нескольким тысячам крупных земельных капиталистов, но внутри материков оставались еще огромные пустыни, где вода не была, да и не могла быть проведена средствами отдельных капиталистов.

Когда государственная власть, к тому времени уже вполне демократическая, принуждена была заняться этим делом, чтобы отвлечь возрастающий излишек пролетариата и помочь остаткам вымирающего крестьянства, то и у самой этой власти не оказалось таких средств, какие были необходимы для проведения гигантских каналов. Синдикаты капиталистов хотели взять дело в свои руки, но против этого восстал весь народ, понимая, что тогда эти синдикаты вполне укрепостят себе и государство. После долгой борьбы и отчаянного сопротивления земельных капиталистов был введен большой прогрессивный налог на доход от земли. Средства, добытые от этого налога, послужили фондом для гигантских работ по проведению каналов. Сила лендлордов была подорвана, и вскоре совершилась национализация земли. При этом исчезли и последние остатки мелкого крестьянства, потому что государство в собственных интересах сдавало зем-

ли только крупным капиталистам, и земледельческая предприятия стали еще более обширными, чем прежде. Таким образом, знаменитые каналы явились и могучими двигателями экономического развития, и прочной опорой политического единства целого человечества.

Когда я прочитал все это, то не мог удержаться, чтобы не выразить Мэнни своего изумления, что руками людей могли быть созданы такие гигантские водные пути, видимые даже с Земли в наши плохие телескопы.

— Тут вы отчасти ошибаетесь, — заметил Мэнни. — Эти каналы, действительно, громадны, но все же не по несколько десятков километров ширины, — только при таких размерах могли бы, собственно, их разглядеть ваши астрономы. То, что они видят, это широкие полосы лесов, разведенных нами вдоль каналов, чтобы поддерживать равномерную влажность воздуха и тем самым не допускать слишком быстрого испарения воды. Кажется, некоторые из ваших ученых угадали это.

Эпоха прорытия каналов была временем большого процентами во всех областях производства и глубочайшего затишья в классовой борьбе. Спрос на рабочую силу был громадный, и безработица исчезла. Но когда Великие Работы закончились, а вслед за ними закончилась и шедшая рядом капиталистическая колонизация прежних пустынь, то вскоре разразился промышленный кризис, и «социальный мир» был нарушен. Дело пошло к социальной революции. И опять ход событий был довольно мирным: главным оружием рабочих были стачки, до восстаний дело доходило лишь в редких случаях и в немногих местностях, почти исключительно в земледельческих районах. Шаг за шагом хозяева отступали перед неизбежным; и даже тогда, когда государственная власть оказалась в руках рабочей партии,

со стороны побежденных не последовало попытки отстоять свое дело насилием.

Выкупа, в точном смысле этого слова, при социализации орудий труда применено не было. Но капиталисты были сначала оставлены на пенсиях. Многие из них играли затем крупную роль в организации общественных предприятий. Нелегко было преодолеть трудности распределения рабочих сил согласно призванию самих работников. Около столетия существовал обязательный для всех, кроме пенсионеров-капиталистов, рабочий день, сначала около 6 часов, потом все меньше. Но прогресс техники и точный учет свободного труда помогли избавиться от этих последних остатков старой системы.

Вся картина ровной, не залитой, как у нас, сплошь огнем и кровью, эволюции общества вызывала во мне невольное чувство зависти. Я заговорил об этом с Нэтти, когда мы дочитывали книгу.

— Не знаю, — задумчиво сказал юноша, — но мне кажется, что вы не правы. Противоречия острее на Земле, это верно; и ее природа расточает удары и смерть гораздо щедрее нашей. Но, может быть, это именно потому, что богатства земной природы изначально несравненно больше, и Солнце гораздо больше дает ей своей живой силы. Посмотрите, на сколько миллионов лет старше наша планета, а ее человечество возникло лишь на несколько десятков тысяч лет раньше вашего и теперь идет впереди его по развитию едва ли на две-три сотни лет. Мне оба человечества представляются как два брата. У старшего натура спокойная и уравновешенная, у младшего — бурная и порывистая. Младший брат хуже тратит свои силы и делает больше ошибок: его детство было болезненное и беспокойное, а теперь, в переходном возрасте к юности, бывают часто мучительные судорожные припадки. Но не выйдет

ли из него художник-творец более крупный и сильный, чем его старший брат, не сумеет ли он тогда лучше и богаче украсить нашу великую природу? Не знаю, но мне кажется, что это будет так...

Х. Прибытие

Управляемый ясной головой Мэнни этеронеф без новых приключений продолжил свой путь к далекой цели. Мне удалось уже сносно приспособиться к условиям невесомого существования, а также и справиться с главными трудностями языка марсиан, когда Мэнни объявил нам всем, что мы прошли половину пути и достигли наивысшего предела скорости, которая отныне будет уменьшаться.

В точно указанный Мэнни момент этеронеф быстро и плавно перевернулся. Земля, которая давно уже из большого светлого серпа успела сделаться маленьким, а из маленького серпа — яркой зеленоватой звездой вблизи солнечного диска, теперь из нижней части черного шара небосвода перешла в верхнее полушарие, а красная звезда Марса, ярко сиявшая над нашими головами, оказалась внизу.

Прошли еще десятки и сотни часов, и звезда Марса превратилась в ясный маленький диск, и скоро стали заметны две маленькие звездочки его спутников — Деймос и Фобос, невинные крошечные планетки, ничем не заслужившие этих грозных имен, означающих по-гречески «ужас» и «страх». Серьезные марсиане ожились и все чаще приходили в обсерваторию Энно — посмотреть на родные страны. Смотрел и я, но плохо понимал то, что видел, несмотря на терпеливые объяснения Энно. Там было действительно много для меня странного.

Красные пятна оказывались лесами и лугами, а совсем темные — полями, готовыми к жатве. Города представлялись в виде синеватых пятен, и только воды и снега имели понятный для меня оттенок. Веселый Энно иногда заставлял меня угадывать, что я вижу в поле аппарата, и мои наивные ошибки сильно смешили его и Нэтти; я же за это платил им шутками, в свою очередь называя их планету царством ученых слов и перепутанных красок.

Размеры красного диска все более возрастали — скоро он уже во много раз превосходил заметно уменьшившийся кружок Солнца и был похож на астрономическую карту без надписей. Сила тяжести тоже заметно начала прибавляться, что было для меня удивительно приятно. Деймос и Фобос из светлых точек превратились в крошечные, но ясно очерченные кружки. Еще 15–20 часов, и вот уже Марс, как плоскошарие, разворачивается под нами, и простым глазом я вижу больше, чем дают все астрономические карты наших ученых. Диск Деймоса скользит по этой круглой карте, а Фобос нам не виден, — он теперь по ту сторону планеты.

Все радуются вокруг меня — я один не могу преодолеть тревожного, тоскливого ожидания. Ближе и ближе... Никто не в силах чем бы то ни было заниматься, — все смотрят вниз, где разворачивается другой мир, для них родной, для меня полный тайны и загадок. Одного Мэнни нет с нами — он стоит у машины: последние часы пути самые опасные, надо проверять расстояние и регулировать скорость.

Что же я, невольный Колумб этого мира, не чувствую ни радости, ни гордости, ни даже того успокоения, которое должен принести вид твердого берега после долгого пути по океану Неосвязаемого?

Будущие события уже бросают тень на настоящее...

Остается всего два часа. Скоро мы вступим в пределы атмосферы. Сердце начинает мучительно биться; я не могу больше смотреть и ухожу в свою комнату. Нэтти уходит за мною.

Он начинает со мной разговор — не о настоящем, а о прошлом, о далекой Земле, там вверху.

— Вы должны еще туда вернуться, когда выполните задачу, — говорит он, и его слова звучат для меня как нежное напоминание о мужестве.

Мы разговариваем об этой задаче, о ее необходимости и ее трудностях. Время незаметно для меня проходит.

Нэтти смотрит на хронометр.

— Мы приехали, пойдем к ним! — говорит он.

Этеронеф остановился, сдвигаются широкие металлические пластинки, свежий воздух врывается внутрь. Чистое зеленовато-синее небо над нами, толпы народа вокруг.

Мэнни и Стэрни выходят первыми, они несут на руках прозрачный гроб, где лежит оледенелое тело погибшего товарища — Летта.

За ним выходят другие. Я и Нэтти выходим последними и вместе, рука об руку, идем через многотысячную толпу людей, похожих на него...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. У Мэнни

На первое время я поселился у Мэнни, в фабричном городке, центр и основу которого составляет большая химическая лаборатория, расположенная глубоко под землю. Надземная часть городка разбросана среди парка на протяжении десятка квадратных километров:

это несколько сот жилищ работников лаборатории, большой Дом собраний. Потребительский склад — нечто вроде универсальной лавки и Станция сообщений, которая связывает химический городок со всем остальным миром. Мэнни был там руководителем всех работ и жил вблизи от общественных зданий, рядом с главным спуском в лабораторию.

Первое, что меня поразило в природе Марса и с чем всего труднее было освоиться, — это красный цвет растений. Их красящее вещество, по составу весьма близкое к хлорофиллу земных растений, выполняет совершенно аналогичную ему роль в жизненной экономике природы: создает ткани растений за счет углекислоты воздуха и энергии солнечных лучей.

Заботливый Нэтти предлагал мне носить предохранительные очки, чтобы избавиться от непривычного раздражения глаз. Я отказался.

— Это цвет нашего социалистического знамени, — сказал я. — Должен же я освоиться с вашей социалистической природой.

— Если так, то надо признать, что и в земной флоре есть социализм, но в скрытом виде, — заметил Мэнни. — Листья земных растений имеют и красный оттенок, — он только замаскирован гораздо более сильным зеленым. Достаточно надеть очки из стекол, вполне поглощающих зеленые лучи и пропускающих красные, чтобы ваши леса и поля стали красными, как у нас.

Я не могу тратить время и место на то, чтобы описывать своеобразные формы растений и животных на Марсе, или его атмосферу, чистую и прозрачную, сравнительно разреженную, но богатую кислородом, или его небо, глубокое и темное, зеленоватого цвета, с похудевшим солнцем и крошечными лунами, с двумя яр-

кими вечерними или утренними звездами — Венерой и Землей. Все это — странное и чуждое тогда, прекрасное и дорогое мне теперь, в окраске воспоминаний, — не так тесно связано с задачами моего повествования. Люди и их отношения — вот что всего важнее для меня; и во всей той сказочной обстановке именно они были всего фантастичнее, всего загадочнее.

Мэнни жил в небольшом двухэтажном домике, по архитектуре не отличавшемся от остальных. Самая оригинальная черта этой архитектуры заключалась в прозрачной крыше из нескольких громадных пластинок голубого стекла. Прямо под этой крышей помещались спальня и комната для бесед с друзьями. Марсиане проводят часы отдыха непременно среди голубого освещения, ради его успокаивающего действия, и не находят неприятным тот мрачный для нашего глаза оттенок, который это освещение придает человеческому лицу.

Все рабочие комнаты — кабинет, домашняя лаборатория, комната сообщений — находились в нижнем этаже, большие окна которого свободно пропускали волны беспокойного красного света, отброшенного яркой листвой деревьев парка. Этот свет, который во мне первое время вызывал тревожное и рассеянное настроение, для марсиан является привычным возбуждением, полезным при работе.

В кабинете Мэнни было много книг и различные приборы для письма, от простых карандашей до печатающего фонографа. Последний аппарат представляет из себя сложный механизм, в котором запись фонографа при отчетливом произнесении слов тотчас передается рычагам пишущей машины таким способом, что получается точный перевод этой записи на обыкновенный алфавит. При этом фонограмма сохраняется

в целости, так что ею можно пользоваться одинаково с печатным переводом, смотря по тому, что кажется удобнее.

Над письменным столом Мэнни висел портрет марсианина среднего возраста. Черты лица его сильно напоминали Мэнни, но отличались выражением суровой энергии и холодной решительности, почти грозным выражением, чуждым Мэнни, на лице которого всегда была только спокойная и твердая воля. Мэнни рассказал мне историю этого человека.

То был предок Мэнни, великий инженер. Он жил задолго до социальной революции, в эпоху прорыва Великих каналов; эти грандиозные работы были организованы по его плану и велись под его руководством. Его первый помощник, завидуя его славе и могуществу, повел интригу против него. Один из главных каналов, над которым работало несколько сот тысяч человек, начинался в болотистой, нездоровой местности. Многие тысячи работников умирали там от болезней, и среди остальных разгоралось недовольство. В то самое время как главный инженер вел переговоры с центральным правительством Марса о пенсиях семьям погибших на работе и тех, кто от болезней потерял способность к труду, старший помощник тайно вел агитацию против него среди недовольных: он подстрекал их устроить стачку, с требованием перенесения работ из этой местности в другую, что было невозможно по существу дела, так как разрушало весь план Великих работ, и отставки главного инженера, что было, конечно, вполне осуществимо. Когда тот узнал все это, он пригласил старшего помощника для объяснений и убил его на месте. На суде инженер отказался от всякой защиты, а только заявил, что он считает свой образ действий справедливым и необхо-

димым. Его приговорили к многолетнему заключению в тюрьме.

Но вскоре оказалось, что никто из его преемников не в силах вести гигантскую организацию работ; начались недоразумения, хищения, беспорядки, весь механизм дела пришел в расстройство, расходы возросли на сотни миллионов, а среди рабочих острое недовольство грозило перейти в восстание. Центральное правительство поспешило обратиться к прежнему инженеру; ему было предложено полное помилование и восстановление в должности. Он решительно отказался от помилования, но согласился руководить работами из тюрьмы.

Назначенные им ревизоры быстро выяснили положение дела на местах, при этом были разогнаны и отданы под суд тысячи инженеров и подрядчиков. Заработная плата была повышена, организация доставки рабочим пищи, одежды, орудий труда, планы работ были пересмотрены заново и исправлены. Скоро порядок был вполне восстановлен, и громадный механизм стал работать быстро и точно, как послушное орудие в руках настоящего мастера.

А мастер не только руководил всем делом, но и разрабатывал план его продолжения на будущие годы, и одновременно он готовил себе заместителя в лице одного энергичного и талантливого инженера, выдвинувшегося из рабочей среды. К тому дню, когда истекал срок тюремного заключения, все было подготовлено настолько, что великий мастер нашел возможным передать дело в другие руки без опасения за его судьбу; и в тот самый момент, когда в тюрьму явился первый министр центрального правительства, чтобы освободить заключенного, главный инженер закончил с собой.

Когда Мэнни рассказывал мне все это, его лицо как-то странно изменилось: у него появилось то же выражение непреклонной суровости, и он стал совершенно похож на своего предка. А я почувствовал, до какой степени ему близок и понятен этот человек, умерший за сотни лет до его рождения.

Комната сообщений была центральной комнатой нижнего этажа. В ней находились телефоны и соответствующие им оптические аппараты, передающие на какое угодно расстояние изображение того, что перед ними происходит. Одни из приборов соединяли жилище Мэнни со Станцией сообщений, а через нее — со всеми другими домами города и со всеми городами планеты. Другие служили связью с подземной лабораторией, которую управлял Мэнни. Эти последние действовали непрерывно: на нескольких тонко-решетчатых пластинках видны были уменьшенные изображения освещенных зал, где находились большие металлические машины и стеклянные аппараты, а перед ними — десятки и сотни работающих людей. Я обратился к Мэнни с просьбой взять меня с собой в эту лабораторию.

— Это неудобно, — отвечал он. — Там ведутся работы над материей в ее неустойчивых состояниях; и как ни мала, при наших предосторожностях, опасность взрыва или отравления невидимыми лучами, но эта опасность всегда существует. Вы не должны ей подвергаться, потому что вы теперь у нас один и заменить вас было бы нечем.

В домашней лаборатории Мэнни находились всегда только те приборы и материалы, которые относились к его исследованиям, выполняемым в данное время.

В коридоре нижнего этажа у потолка была подвешена воздушная гондола, на которую во всякое время можно было сесть и отправиться куда угодно.

— Где живет Нэтти? — спросил я у Мэнни.

— В большом городе, в двух часах воздушного пути отсюда. Там находится машинный завод с несколькими десятками тысяч работников, и у Нэтти больше материала для его медицинских исследований. Здесь же у нас есть другой доктор.

— А машинный завод мне не воспрещается осмотреть при случае?

— Конечно нет: там не угрожают никакие особенные опасности. Если хотите, мы завтра же отправимся туда вместе.

Так мы и решили.

II. На заводе

Около 500 километров в два часа — скорость самого быстрого соколиного полета, не достигнутая до сих пор даже нашими электрическими дорогами... Внизу разворачивались в быстрой смене незнакомые, странные ландшафты; еще быстрее проносились иногда мимо нас незнакомые странные птицы. Лучи солнца вспыхивали синим светом на крышах домов и обычным желтоватым светом на огромных куполах каких-то незнакомых мне зданий. Реки и каналы мелькали стальными лентами; мои глаза отдыхали на них, потому что они были такие же, как на Земле. Вот вдаль стал виден огромный город, раскинутый вокруг маленького озера и перерезанный каналом. Гондола замедлила ход и плавно опустилась около небольшого красивого домика — домика Нэтти.

Нэтти был дома и радостно нас встретил. Он сел в нашу гондолу, и мы отправились дальше: завод был еще в нескольких километрах, на той стороне озера.

Пять громадных зданий, расположенных крестообразно, все одинакового устройства: чистый стеклянный

свод, лежащий на нескольких десятках темных колонн, образующих точный круг или мало растянутый эллипс; такие же стеклянные пластинки, поочередно прозрачные и матовые, между колоннами в виде стен. Мы остановились у центрального, самого большого корпуса, перед воротами, занимавшими целый промежуток от колонны до колонны, метров десять ширины и двенадцать вышины. Потолок первого этажа горизонтально перерезывал посредине пространство ворот; несколько пар рельсов входили в ворота и терялись внутри корпуса.

Мы подплыли к верхней половине ворот и, оглушенные шумом машин, сразу попали во второй этаж. Впрочем, это не был особый этаж в точном смысле слова, а скорее сеть воздушных мостиков, оплетавшая со всех сторон гигантские машины незнакомого мне устройства. На несколько метров над нею находилась другая подобная сеть, еще выше третья, четвертая, пятая; все они были образованы из стеклянного паркета, охваченного брусками железных решеток, все были связаны множеством подъемников и лестниц, и каждая следующая сеть была меньше предыдущей.

Ни дыма, ни копоти, ни запаха, ни мелкой пыли. Среди чистого, свежего воздуха машины, залитые светом, неярким, но проникающим всюду, работали стройно и размеренно. Они резали, пилили, строгали, сверлили громадные куски железа, алюминия, никеля, меди. Рычаги, похожие на исполинские стальные руки, двигались ровно и плавно; большие платформы ходили вперед и назад со стихийной точностью; колеса и передаточные ремни казались неподвижными. Не грубая сила огня и пара, а тонкая, но еще более могучая сила электричества была душой этого грозного механизма.

Самый шум машин, когда ухо к нему несколько привыкло, начинал казаться почти мелодичным, кроме

тех моментов, когда падает главный молот в несколько тысяч тонн и все содрогается в громовом ударе.

Сотни работников уверенно ходили между машинами, и ни шаги их, ни голоса не были слышны среди моря звуков. В выражении их лиц не было напряженной озабоченности, только спокойное внимание; они казались любознательными учеными наблюдателями, которые, собственно, ни при чем во всем происходящем; им просто интересно видеть, как громадные куски металла, на рельсовых платформах всплывающие под прозрачный купол, попадают в железные объятия темных чудовищ, как эти чудовища затем разгрызают их своими крепкими челюстями, мнут своими тяжелыми, твердыми лапами, строгают и сверлят своими блестящими, острыми когтями и как, наконец, остатки этой жестокой игры увозятся с другой стороны корпуса легкими вагонами электрической дороги в виде стройных и изящных машинных частей с загадочным назначением. Казалось вполне естественным, что остальные чудовища не трогают маленьких большеглазых созерцателей, доверчиво гуляющих между ними: это было просто пренебрежение к слабости, признание добычи слишком ничтожною, недостойною грозной силы гигантов. Были неуловимы и невидимы со стороны нити, которые связывали нежный мозг людей с несокрушимыми органами механизма.

Когда мы наконец вышли из корпуса, водивший нас техник спросил, желаем ли мы осматривать другие корпуса и вспомогательные строения сейчас же или намерены сделать перерыв для отдыха. Я высказался за перерыв.

— Я видел машины и работников, — сказал я, — но самой организации труда совершенно себе не представляю. Вот об этом мне хотелось бы расспросить вас.

Вместо ответа техник повел нас к маленькому кубической формы строению, находившемуся между центральным и одним из угловых корпусов. Таких строений было еще три, и все они были аналогично расположены. Их черные стены были покрыты рядами блестящих белых знаков: это были просто таблицы статистики труда. Я уже владел языком марсиан настолько, что мог разбирать их. На одной, отмеченной номером первым, значилось:

«Машинное производство имеет излишек в 968 757 рабочих часов ежедневно, из них 11 325 часов труда опытных специалистов».

«На этом заводе излишек 753 часа, из них 29 часов труда опытных специалистов».

«Нет недостатка работников в производствах: земледельческом, горном, земляных работ, химическом...» и т. д. (было перечислено в алфавитном порядке множество различных отраслей труда).

На таблице номер второй было написано:

«Производство одежды имеет недостаток в 392 685 рабочих часов ежедневно, из них 21 380 часов труда опытных механиков для специальных машин и 7852 часа труда специалистов-организаторов».

«Производство обуви нуждается в 79 360 часах; из них...» и т. д.

«Институт подсчетов — в 3078 часах»... и т. д.

Такого же содержания были и таблицы номеров 3-го и 4-го. В списке отраслей труда были и такие, как воспитание детей младшего возраста, воспитание детей среднего возраста, медицина городов, медицина сельских округов и проч.

— Почему излишек труда точно указан только в машинном производстве, а недостаток повсюду отмечен с такими подробностями? — спросил я.

— Это очень понятно, — отвечал Мэнни, — посредством таблиц надо повлиять на распределение труда: для этого необходимо, чтобы каждый мог видеть, где рабочей силы не хватает и в какой именно мере. Тогда, при одинаковой или приблизительно равной склонности к двум занятиям, человек выберет то из них, где недостаток сильнее. А об излишке труда знать точные данные достаточно только там, где этот излишек имеется, чтобы каждый работник такой отрасли мог сознательно принять в расчет и степень излишка, и степень своей склонности к перемене занятия.

В то время как мы таким образом разговаривали, я вдруг заметил, что некоторые цифры таблицы исчезли, а затем на их месте появились новые. Я спросил, что это значит.

— Цифры меняются каждый час, — объяснил Мэнни, — в течение часа несколько тысяч человек успели заявить о своем желании перейти с одних работ на другие. Центральный статистический механизм все время отмечает это, и каждый час электрическая передача разносит его сообщения повсюду.

— Но каким образом центральная статистика устанавливает свои цифры излишка и недочета?

— Институт подсчетов имеет везде свои агентуры, которые следят за движением продуктов в складах, за производительностью всех предприятий и изменением числа работников в них. Этим путем точно выясняется, сколько и чего следует произвести на определенный срок и сколько рабочих часов для этого требуется. Затем институту остается подсчитать по каждой отрасли труда разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть, и сообщать об этом повсюду. Поток добровольцев тогда восстановит равновесие.

— А потребление продуктов ничем не ограничено?

— Решительно ничем: каждый берет то, что ему нужно, и столько, сколько хочет.

— И при этом не требуется ничего похожего на деньги, никаких свидетельств о количестве выполненного труда или обязательств его выполнить, или вообще чего-нибудь в этом роде?

— Ничего подобного. В свободном труде у нас и без этого никогда не бывает недостатка: труд — естественная потребность каждого развитого социального человека, и всякие виды замаскированного или явного принуждения к труду совершенно для нас излишни.

— Но если потребление ничем не ограничено, то не возможны ли в нем резкие колебания, которые могут опрокинуть все статистические расчеты?

— Конечно нет. Отдельный человек, может быть, станет есть то или иное кушанье в двойном, в тройном против обычного количества или захочет переменить десять костюмов в десять дней, но общество в три тысячи миллионов человек не подвержено таким колебаниям. При таких больших числах отклонения в ту и другую сторону уравниваются, и средние величины изменяются очень медленно, в строгой непрерывности.

— Таким образом, ваша статистика работает почти автоматически, — простые вычисления, и ничего больше?

— Ну, нет. Трудности тут очень большие. Институт подсчетов должен зорко следить и за новыми изобретениями, и за изменением природных условий производства, чтобы их точно учитывать. Вводится новая машина — она сразу требует перемещения труда как в той области, где применяется, так и в машинном производстве, а иногда и в производстве материалов для той или другой отрасли. Истощается руда, открываются новые минеральные богатства, — опять пе-

ремещение труда в целом ряде разветвлений производства: в горном деле, в постройке рельсовых путей и т. д. Все это надо рассчитать с самого начала если не вполне точно, то с достаточной степенью приближения, а это вовсе не легко, пока не будут получены данные прямого наблюдения.

— При таких трудностях, — заметил я, — очевидно, необходимо иметь постоянно в запасе некоторый излишек труда?

— Именно так — и в этом и заключается главная опора нашей системы. Лет 200 тому назад, когда коллективного труда лишь кое-как хватало для удовлетворения всех потребностей общества, тогда была необходима полная точность в расчетах, и распределение труда не могло совершаться вполне свободно: существовал обязательный рабочий день, и в его пределах приходилось не всегда и не вполне считаться с призванием товарищей. Но каждое изобретение, создавая статистике временные трудности, облегчало главную задачу — переход к неограниченной свободе труда. Сначала рабочий день сокращался, затем, когда во всех областях труда оказался избыток, всякая обязательность была окончательно устранена. Заметьте, как незначительны все цифры, выражающие недостаток труда по производствам: тысячи, десятки, сотни тысяч рабочих часов, не более, — это при миллионах и десятках миллионов часов труда, который уже затрачивается в тех же производствах.

— Однако и недостаток труда все же бывает, — возразил я. — Правда, он, вероятно, покрывается последующим избытком, не так ли?

— И не только последующим избытком. В действительности самое вычисление необходимого труда ведется таким образом, что к основной цифре надбавляется еще некоторое количество. В самых важных для

общества отраслях — в производстве пищи, одежды, зданий, машин — эта надбавка достигает 6 процентов, в менее важных — 1–2 процента. Таким образом, цифры недостатка в этих таблицах выражают, вообще говоря, только относительный, а не абсолютный недочет. Если бы обозначенные здесь десятки и сотни тысяч часов и не были пополнены, это еще не значит, что общество стало бы терпеть недостаток.

— А сколько времени работает ежедневно каждый, например, на этом заводе?

— Большею частью полтора, два, два с половиной часа, — ответил техник, — но бывает меньше и больше. Вот, например, товарищ, который заведует главным молотом, до того увлекается своей работой, что никому не позволяет сменить себя за все рабочее время завода, то есть шесть часов ежедневно.

Я мысленно перевел для себя все эти цифры на земной счет с марсианского, по которому сутки, немного более длинные, чем наши, заключают в себе 10 часов. Оказалось: обычная работа 4, 5, 6 часов; наибольшая продолжительность — 15 часов, т. е. такая, как у нас, на Земле, в наиболее эксплуатируемых предприятиях.

— А разве не вредно товарищу на молоте работать так много? — спросил я.

— Пока еще не вредно, — отвечал Нэтти, — еще с полгода он может позволять себе такую роскошь. Но я, конечно, предупредил его об опасностях, которыми угрожает ему это увлечение. Одна из них — это возможность судорожного психического припадка, который с непреодолимой силой потянет его под молот. В прошлом году подобный случай произошел на этом же заводе с другим механиком, таким же любителем сильных ощущений. Только благодаря счастливой случайности успели остановить молот, и невольное самоубийство

не удалось. Жажда сильных ощущений сама по себе не есть еще болезнь, но она легко подвергается извращениям, как только нервная система хоть немного пошатнулась от переутомления, душевной борьбы или какой-нибудь случайной болезни. Вообще же я, разумеется, не упускаю из виду тех товарищей, которые неумеренно предаются какой бы то ни было однообразной работе.

— А не должен ли был бы этот товарищ, о котором мы говорим, сократить свою работу ввиду того, что в машинном производстве есть избыток труда?

— Конечно нет, — засмеялся Мэнни. — Почему именно он должен за свой счет восстанавливать равновесие? Статистика никого ни к чему не обязывает. Каждый принимает ее во внимание при своих расчетах, но не может руководиться ею одной. Если бы вы пожелали немедленно поступить на этот завод, вам, вероятно, нашлась бы работа, а в центральной статистике цифра излишка увеличилась бы на один-два часа, только и всего. Влияние статистики непрерывно сказывается на массовых перемещениях труда, но каждая личность свободна.

За разговором мы успели достаточно отдохнуть, и все, кроме Мэнни, отправились дальше осматривать завод. А Мэнни уехал домой, — его вызвали в лабораторию.

Вечером я решил остаться у Нэтти: он обещал на следующий день свести меня в «дом детей», где одной из воспитательниц была его мать.

III. «Дом детей»

«Дом детей» занимал целую значительную и притом лучшую часть города с населением в 15–20 тысяч человек. Это население составляли действительно почти только дети с их воспитателями. Такие учреждения

имеются во всех больших городах планеты, а во многих случаях образуют и самостоятельные города; только в маленьких поселениях, таких как «химический городок» Мэнни, их по большей части нет.

Большие двухэтажные дома с обычными голубыми крышами, разбросанные среди садов с ручейками, прудами, площадками для игр и гимнастики, грядками цветов и полезных трав, домиками для ручных животных и птиц... Толпы большеглазых ребятишек неизвестного пола — благодаря одинаковому для девочек и мальчиков костюму... Правда, и среди взрослых марсиан трудно различать мужчин и женщин по костюму, — в основных чертах он одинаков, некоторая разница только в стиле: у мужчин платье более точно передает формы тела, у женщин в большей мере их маскирует. Во всяком случае, та немолодая особа, которая встретила нас при выходе из гондолы перед дверями одного из самых больших домов, была несомненно женщина, ибо Нэтти, обнимая, назвал ее «мамой». В дальнейшем разговоре он, впрочем, часто обозначал ее, как и всякого другого товарища, просто по имени — Нэлла.

Марсианка уже знала о цели нашего приезда и прямо повела нас в свой «дом детей», по всем его отделениям, начиная с отделения самых маленьких, которым она сама заведовала, до отделения старшего детского возраста, граничащего с отрочеством. Маленькие чудовища по пути присоединялись к нам и шли за нами, с интересом наблюдая своими огромными глазами человека с другой планеты, — они хорошо знали, кто я такой; и когда мы обходили последние отделения, нас сопровождала уже целая толпа, хотя большинство ребятишек еще с утра разбежалось по садам.

Всего жило в этом доме около трехсот детей различных возрастов. Я спросил Нэллу, почему в «домах

детей» все возрасты соединяются вместе, а не отделяются каждый в особом доме, что значительно облегчило бы разделение труда между воспитателями и упростило бы всю их работу.

— Потому что тогда не было бы действительного воспитания, — отвечала мне Нэлла. — Чтобы получить воспитание для общества, ребенок должен жить в обществе. Всего больше жизненного опыта и знаний дети усваивают друг у друга. Изолировать один возраст от другого — значило бы создавать для них одностороннюю и узкую жизненную среду, в которой развитие будущего человека должно идти медленно, вяло и однообразно. И для прямой активности различие возрастов дает наибольший простор. Старшие дети — наши лучшие помощники в уходе за маленькими. Нет, мы не только сознательно соединяем все детские возрасты, но и воспитателей в каждом детском доме стараемся подобрать самых различных возрастов и различных практических специальностей.

Однако в этом доме дети распределены по отделениям только для того, чтобы спать, завтракать, обедать, — тут, конечно, нет надобности смешивать различные возрасты. Но для игр и занятий они постоянно группируются так, как это им самим нравится. Даже когда бывают какие-нибудь чтения, беллетристические или научные, для детей одного отделения, в аудиторию всегда набивается масса ребятшек всех других отделений. Дети сами выбирают себе свое общество и сами любят сходитья с детьми других возрастов, а особенно со взрослыми.

— Нэлла, — сказал в это время, выступая из толпы, один малыш. — Эста унесла мою лодочку, которую я сам сделал; возьми лодочку у нее и отдай мне.

— А она где? — спросила Нэлла.

— Она убежала к пруду спускать лодочку на воду, — объяснил ребенок.

— Ну, у меня сейчас нет времени идти туда, пусть кто-нибудь из старших детей идет с тобой и убедит Эсту не обижать тебя. А всего лучше, иди туда один и помогай ей спускать лодочку; нет ничего удивительного, что лодочка ей понравилась, если сделана хорошо.

Ребенок ушел, а Нэлла обратилась к остальным:

— А вы, детки, хорошо бы сделали, если бы оставили нас одних. Иностранцу едва ли приятно, что на него таращится сотня детских глаз. Представь себе, Эльви, что на тебя внимательно смотрит целая толпа таких иностранцев. Что бы ты тогда сделал?

— Я бы убежал, — храбро заявил ближайший из толпы, которого она назвала. И все дети в ту же минуту со смехом разбежались. Мы вышли в сад.

— Да, вот посмотрите, какова сила прошлого, — с улыбкой сказала воспитательница. — Казалось бы, коммунизм у нас полный, отказывать детям почти никогда ни в чем не приходится, — откуда взяться чувству личной собственности? А ребенок приходит и заявляет: «моя» лодочка, «я сам» сделал. И это очень часто: иногда дело доходит и до драки. Ничего не поделаешь, — общий закон жизни: развитие организма сокращенно повторяет развитие вида, развитие личности таким же образом повторяет развитие общества. Самоопределение ребенка среднего и старшего возраста в большинстве случаев имеет такой смутно-индивидуалистический характер. Приближение половой зрелости сначала еще усиливает этот оттенок. Только в юношеском возрасте социальная среда настоящего окончательно побеждает остатки прошлого.

— А вы знакомите детей с этим прошлым? — спросил я.

— Конечно знакомим; и они очень любят разговоры и рассказы о старых временах. Сначала для них это сказки, красивые, немножко страшные сказки о другом мире, далеком и странном, но пробуждающем своими картинами борьбы и насилия неясные отзвуки в атаквистической глубине детских инстинктов. Только впоследствии, преодолевая живые остатки прошлого в своей собственной душе, ребенок научается яснее воспринимать связь времен, и картины-сказки становятся для него действительностью истории, преобразуются в живые звенья живой непрерывности.

Мы шли по аллеям обширного сада. Временами нам попадались группы детей, занятых то играми, то рытьем канавок, то работой с какими-нибудь ремесленными инструментами, то постройкой беседок, то просто оживленным разговором. Все они с интересом оборачивались на меня, но никто не шел за нами: по-видимому, все были предупреждены. Большинство встречавшихся групп было смешанного возраста; во многих было по одному, по двое взрослых.

— В вашем доме довольно много воспитателей, — заметил я.

— Да, особенно если в числе их считать всех детей старшего возраста, как это по справедливости следует. Но воспитателей-специалистов у нас здесь всего трое; остальные взрослые, которых вы видите, это большей частью матери и отцы, временно поселяющиеся у нас около своих детей, или молодые люди, желающие изучить дело воспитания.

— Что же, все желающие родители могут здесь поселиться, чтобы жить со своими детьми?

— Да, разумеется, и некоторые из матерей живут здесь по несколько лет. Но большинство их приезжает время от времени, на неделю, на две, на месяц. Отцы

живут здесь реже. В нашем доме всего 60 отдельных комнат для родителей и для тех детей, которые ищут уединения, и я не помню случая, чтобы этих комнат не хватало.

— Значит, и дети иногда отказываются жить в общих помещениях?

— Да, дети старшего возраста нередко предпочитают жить отдельно. В этом сказывается отчасти тот неопределенный индивидуализм, о котором я вам говорила, отчасти же, особенно у детей, склонных углубляться в научные занятия, просто стремление отстранить все, что развлекает и рассеивает внимание. Ведь и из числа взрослых у нас любят жить совершенно отдельно главным образом те, кто всего больше занимается научными исследованиями или художественным творчеством.

В этот момент впереди себя на небольшой полянке мы заметили ребенка, на мой взгляд, лет шести или семи, который с палкой в руках гонялся за каким-то животным. Мы ускорили шаги; ребенок не обращал на нас внимания. В тот момент, как мы подошли, он настиг свою добычу, — это оказалось нечто вроде большой лягушки, — и сильно ударил ее палкой. Животное медленно поползло по траве с перешибленной лапой.

— Зачем ты это сделал, Альдо? — спокойно спросила Нэлла.

— Я никак не мог ее поймать, она все убегала, — объяснил мальчик.

— А ты знаешь, что ты сделал? Ты причинил лягушке боль и переломил ей лапку. Дай сюда палку, я тебе объясню это.

Мальчик подал тросточку Нэлле, и она быстрым движением сильно ударила его по руке. Мальчик вскрикнул.

— Тебе больно, Альдо? — все так же спокойно спросила воспитательница.

— Очень больно, злая Нэлла! — отвечал он.

— А лягушку ты ударил сильнее этого. Я только ушибла тебе руку, а ты ей сломал лапку. Ей не только гораздо больнее, чем тебе, но она теперь не может бегать и прыгать, ей нельзя будет находить пищу, и она умрет с голоду, или ее загрызут злые животные, от которых она не может убежать. Что ты об этом думаешь, Альдо?

Ребенок стоял молча со слезами боли на глазах, придерживая ушибленную руку другой рукой. Но он задумался. Через минуту он сказал:

— Надо починить ей лапку.

— Вот это верно, — сказал Нэтти. — Дай, я научу тебя, как это сделать.

Они тотчас поймали раненое животное, которое успело отползти только на несколько шагов. Нэтти вынул свой платок и разорвал его на полоски, а Альдо, по его указанию, принес ему несколько тонких щепочек. Затем они оба, с серьезностью истинных детей, занятых очень важным делом, принялись устраивать плотную укрепляющую повязку на сломанную лапку лягушки.

Вскоре я и Нэтти собрались уходить домой.

— Да, вот что, — вспомнила Нэлла. — Сегодня вечером вы могли бы застать у нас вашего старого друга Энно. Он будет читать детям старшего возраста о планете Венера.

— Значит, он живет в этом же городе? — спросил я.

— Нет, обсерватория, в которой он работает, лежит в трех часах пути отсюда. Но он очень любит детей и не забывает меня, свою старую воспитательницу. Поэтому он часто приезжает сюда и каждый раз рассказывает детям что-нибудь интересное.

Вечером, в назначенный час мы, разумеется, опять явились в «дом детей», в большую аудиторию, где собрались уже все дети, кроме совсем маленьких,

и несколько десятков взрослых. Энно радостно меня встретил.

— Я выбрал тему как будто для вас, — шутливо говорил он. — Вас огорчает отсталость вашей планеты и злые нравы вашего человечества. Я буду рассказывать о такой планете, где высшие представители жизни пока только динозавры и летучие ящеры, а их обычаи хуже, чем у вашей буржуазии. Ваш каменный уголь там не горит в огне капитализма, а еще только растет в виде гигантских лесов. Поедем когда-нибудь туда вместе охотиться на ихтиозавров? Это тамошние Ротшильды и Рокфеллеры, правда, много умереннее ваших земных, но зато гораздо менее культурные. Там царство самого первоначального накопления, забытого в «Капитале» вашего Маркса... Ну, Нэлла уже хмурится на мою легкомысленную болтовню. Сейчас начинаю.

Он увлекательно описывал далекую планету с ее глубокими бурными океанами и горами громадной высоты, с ее жгучим солнцем и густыми белыми облаками, с ее страшными ураганами и грозами, с ее безобразными чудовищами и величественными исполинскими растениями. Все это он иллюстрировал живыми фотографиями на экране, занимавшем целую стену залы. Голос Энно один был слышен во мраке; глубокое внимание царило в зале. Когда он, описывая приключения первых путешественников в этом мире, рассказал, как один из них ручной гранатой убил исполинскую ящерицу, произошла странная маленькая сцена, не замеченная большинством публики. Альдо, все время державшийся около Нэллы, вдруг тихо заплакал.

— Что с тобой? — наклонившись к нему, спросила Нэлла.

— Мне жаль чудовище. Ему было очень больно, и оно совсем умерло, — тихо отвечал мальчик.

Нэллa обняла ребенка и стала что-то ему объяснять вполголоса, но он не скоро еще успокоился.

А Энно между тем рассказывал о неисчислимых естественных богатствах прекрасной планеты, о ее гигантских водопадах в сотни миллионов лошадиных сил, о благородных металлах, найденных прямо на поверхности ее гор, о богатейших залежах радия на глубине нескольких сот метров, о запасах энергии на сотни тысяч лет. Я еще не настолько владел языком, чтобы чувствовать красоту изложения, но самые картины приковывали мое внимание так же всецело, как и внимание детей. Когда Энно кончил и зала осветилась, мне стало даже немного грустно, как детям бывает жаль, когда окончена красивая сказка.

По окончании лекции начались вопросы и возражения со стороны слушателей. Вопросы были разнообразны, как сами слушатели; они касались то подробностей в картинах природы, то способов борьбы с этой природой. Был и такой вопрос: через сколько времени на Венере должны были бы из ее собственной природы появиться люди и какое должно у них быть устройство тела?

Возражения, большей частью наивные, но иногда и довольно остроумные, направлялись главным образом против того вывода Энно, что в настоящую эпоху Венера — планета очень неудобная для людей, и едва ли скоро удастся использовать сколько-нибудь значительно ее великие богатства. Юные оптимисты энергично восставали против этого положения, выражавшего взгляды большинства исследователей. Энно указывал, что жгучее солнце и влажный воздух с массой бактерий создают для людей опасность многих болезней, что испытали на себе все путешественники, побывавшие на Венере; что ураганы и грозы затрудняют

работу и угрожают жизни людей, и многое другое. Дети находили, что перед подобными препятствиями странно отступать, когда надо овладевать такой прекрасной планетой. Для борьбы с бактериями и болезнями надо как можно скорее послать туда тысячу врачей, для борьбы с ураганами и грозами — сотни тысяч строителей, которые проведут, где надо, высокие стены и поставят громоотводы. «Пусть девять десятых погибнет, — говорил один пылкий мальчик лет двенадцати, — тут есть из-за чего умереть, лишь бы была одержана победа!» И по его горящим глазам было видно, что сам он, конечно, не отступил бы перед тем, чтобы оказаться в числе этих девяти десятых.

Энно мягко и спокойно разрушал карточные домики своих противников, но было видно, что в глубине души он сочувствует им и что в его горячей юной фантазии скрываются такие же решительные планы, разумеется, более обдуманные, но, может быть, не менее самоотверженные. Он сам еще не был на Венере, и по его увлечению было ясно, что ее красота и ее опасности сильно притягивают его.

Когда беседа закончилась, Энно отправился со мною и Нэтти. Он решил пробыть еще день в этом городе и предложил мне завтра вместе пойти в музей искусства. Нэтти был занят — его вызывали в другой город на большое совещание врачей.

IV. Музей искусства

— Вот уж никак не предполагал, чтобы у вас существовали особые музеи художественных произведений, — сказал я Энно по дороге в музей. — Я думал, что скульптурные и картинные галереи — особенность именно капитализма с его показной роскошью

и стремлением грубо нагромождать богатства. В социалистическом же обществе, я предполагал, искусство рассеивается повсюду рядом с жизнью, которую оно украшает.

— В этом вы и не ошибались, — отвечал Энно. — Большая часть произведений искусства предназначена у нас всегда для общественных зданий, — тех, в которых мы обсуждаем наши общие дела, тех, в которых учимся и исследуем, в которых отдыхаем... Гораздо меньше мы украшаем наши фабрики и заводы: эстетика могучих машин и их стройного движения приятна нам в ее чистом виде, и очень мало таких произведений искусства, которые вполне гармонировали бы с нею, нисколько не рассеивая и не ослабляя ее впечатлений. Всего меньше мы украшаем наши дома, в которых большей частью живем очень мало. А наши музеи искусства — это научно-эстетические учреждения, это школы для изучения того, как развиваются искусства или, вернее, как развивается человечество в его художественной деятельности.

Музей находился на маленьком острове озера, который узким мостом соединялся с берегом. Самое здание, удлинненным четырехугольником окружавшее сад с высокими фонтанами и множеством синих, белых, черных, зеленых цветов, было изящно разукрашено снаружи и полно света внутри.

Там действительно не было такого сумбурного скопления статуй и картин, как в больших музеях Земли. Передо мной в нескольких сотнях образов прошла цепь развития пластических искусств, от первобытных грубых произведений доисторической эпохи до технически идеальных произведений последнего века. И от начала до конца повсюду чувствовалась печать той живой внутренней цельности, которую люди называют

«гением». Очевидно, это были лучшие произведения всех эпох.

Чтобы вполне ясно понимать красоту другого мира, надо глубоко знать его жизнь, а чтобы дать другим понятие об этой красоте, необходимо быть самому к ней органически причастным... Вот почему для меня невозможно описать то, что я там видел; я могу дать только намеки, только отрывочные указания на то, что меня всего более поразило.

Основной мотив марсианской, как и нашей, скульптуры — это прекрасное человеческое тело. Различия физического сложения марсиан от сложения земных людей в общем невелики; если не считать резкой разницы в величине глаз и отчасти, значит, в устройстве черепа, то различия эти не превосходят тех, какие существуют между земными расами. Я не сумел бы точно объяснить их, — для этого я слишком плохо знаю анатомию; но мой глаз легко привыкал к ним и воспринимал их почти сразу не как безобразие, а как оригинальность.

Я заметил, что мужское и женское сложение сходны в большей мере, чем у большинства земных племен: сравнительно широкие плечи женщин, не так резко благодаря некоторой полноте выступающая мускулатура мужчин и их менее узкий таз сглаживают разницу. Это, впрочем, относится главным образом к последней эпохе — к эпохе свободного человеческого развития: в статуях капиталистического периода половые различия выражены сильнее. Очевидно, домашнее рабство женщины и лихорадочная борьба за существование мужчины искажают их тело в двух несходных направлениях.

Ни на минуту не исчезало во мне то ясное, то смутное сознание, что передо мною образы чужого мира;

оно придавало всем впечатлениям какую-то странную, полупризрачную окраску. И даже прекрасное женское тело этих статуй и картин вызывало во мне непонятное чувство, как будто совсем непохожее на знакомое мне любовно-эстетическое влечение, а похожее скорее на те неясные предчувствия, которые волновали меня когда-то давно, на границе детства и юности.

Статуи ранних эпох были одноцветные, как у нас, позднейшие — естественных цветов. Это меня не удивило. Я всегда думал, что отклонение от действительности не может быть необходимым элементом искусства, что оно даже антихудожественно, когда уменьшает богатство восприятия, как одноцветность скульптуры, что оно в этом случае не помогает, а мешает художественной идеализации, концентрирующей жизнь.

В статуях и картинах древних эпох, как в нашей античной скульптуре, преобладали образы безмятежной гармонии, свободной от всякого напряжения. В средние, переходные эпохи выступает иной характер: порыв, страсть, волнующее стремление, иногда смягченное до степени блуждания мечты, эротической или религиозной, иногда резко прорывающееся в предельном напряжении неуравновешенных сил души и тела. В социалистическую эпоху основной характер опять меняется: это — гармоничное движение, спокойно-уверенное проявление силы, действие, чуждое болезненности усилия, стремление, свободное от волнения, живая активность, проникнутая сознанием своего стройного единства и своей непобедимой разумности.

Если идеальная женская красота древнего искусства выражала беспредельную возможность любви, а идеальная красота средних веков и времен Возрождения — неутолимую жажду любви, мистическую или чувственную, то здесь, в идеальной красоте другого, идущего

вперед нас мира воплощалась сама любовь, в ее спокойном и гордом самосознании, сама любовь — ясная, светлая, всепобеждающая...

Для позднейших художественных произведений, как и для древних, характерна чрезвычайная простота и единство мотива. Изображаются очень сложные человеческие существа с богатым и стройным жизненным содержанием, и при этом выбираются такие моменты их жизни, когда вся она сосредоточивается в одном каком-нибудь чувстве, стремлении... Любимые темы новейших художников — экстаз творческой мысли, экстаз любви, экстаз наслаждения природой, спокойствие добровольной смерти, — сюжеты, глубоко очерчивающие сущность великого племени, которое умеет жить со всей полнотой и напряженностью, умирать сознательно и с достоинством.

Отдел живописи и скульптуры составлял одну половину музея, другая была посвящена всецело архитектуре. Под архитектурой марсиане понимают не только эстетику зданий и больших инженерных сооружений, но также и эстетику мебели, орудий, машин, вообще эстетику всего материально-полезного. Какую громадную роль играет в их жизни это искусство, о том можно было судить по особенной полноте и тщательности составления этой коллекции. От первобытных пещерных жилищ, с их грубо украшенной утварью, до роскошных общественных домов из стекла и алюминия, с их внутренней обстановкой, исполненной лучшими художниками, до гигантских заводов, с их грозно-красивыми машинами, до величайших каналов, с их гранитными набережными и воздушными мостами, — тут были представлены все типические формы в виде картин, чертежей, моделей и особенно стереограмм в больших стереоскопах, где все воспроизводилось с полной

иллюзией тождества. Особое место занимала эстетика садов, полей и парков; и как ни была непривычна для меня природа планеты, но даже мне часто была понятна красота тех сочетаний цветов и форм, которые создавались из этой природы коллективным гением племени с большими глазами.

В произведениях прежних эпох очень часто, как и у нас, изящество достигалось за счет удобства, украшения вредили прочности, искусство совершало насилие над прямым полезным назначением предметов. Ничего подобного мой глаз не улавливал в произведениях новейшей эпохи — ни в ее мебели, ни в ее орудиях, ни в ее сооружениях. Я спросил Энно, допускает ли их современная архитектура уклонение от практического совершенства предметов ради их красоты.

— Никогда, — отвечал Энно, — это была бы фальшивая красота, искусственность, а не искусство.

В досоциалистические времена марсиане ставили памятники своим великим людям; теперь они ставят памятники только великим событиям, таким как первая попытка достигнуть Земли, закончившаяся гибелью исследователей, таким как уничтожение смертельной эпидемической болезни, таким как открытие разложения и синтеза всех химических элементов. Ряд памятников был представлен в стереограммах того же отдела, где находились гробницы и храмы (у марсиан раньше существовали и религии). Одним из последних памятников великим людям был памятник тому инженеру, о котором рассказывал мне Мэнни. Художник сумел ясно представить силу души человека, победоносно руководившего армией труда в борьбе с природой и гордо отвергнувшего трусливый суд нравственности над его поступками. Когда я в невольной задумчивости остановился перед панорамой памятника, Энно тихо

произнес несколько стихов, выражавших сущность душевной трагедии героя.

— Чьи это стихи? — спросил я.

— Мои, — ответил Энно, — я написал их для Мэнни.

Я не мог вполне судить о внутренней красоте стихов на чуждом еще для меня языке, но несомненно, что их мысль была ясна, ритм очень стройный, рифма звучная и богатая. Это дало новое направление моим мыслям.

— Значит, у вас в поэзии еще процветают строгий ритм и рифма?

— Конечно, — с оттенком удивления сказал Энно. — Разве это кажется вам некрасивым?

— Нет, вовсе не то, — объяснил я, — но у нас распространено мнение, что эта форма была порождена вкусами господствующих классов нашего общества, как выражение их прихотливости и пристрастия к условностям, сковывающим свободу художественной речи. Из этого делают вывод, что поэзия будущего, поэзия эпохи социализма должна отвергнуть и забыть эти стеснительные законы.

— Это совершенно несправедливо, — горячо возразил Энно. — Правильно-ритмическое кажется нам красивым вовсе не из пристрастия к условному, а потому, что оно глубоко гармонирует с ритмической правильностью процессов нашей жизни и сознания. А рифма, завершающая ряд многообразий в одинаковых конечных аккордах, разве она не находится в таком же глубоком родстве с той жизненной связью людей, которая их внутреннее многообразие увеличивает единством наслаждения в искусстве? Без ритма вообще нет художественной формы. Где нет ритма звуков, там должен быть, и притом тем строже, ритм идей... А если рифма, действительно, феодального происхождения, то ведь это можно сказать и о многих других хороших и красивых вещах.

— Но ведь рифма в самом деле стесняет и затрудняет выражение поэтической идеи?

— Так что же из этого? Ведь это стеснение вытекает из цели, которую свободно ставит себе художник. Оно не только затрудняет, но и совершенствует выражение поэтической идеи, и только ради этого оно и существует. Чем сложнее цель, тем труднее путь к ней и, следовательно, тем больше стеснений на этом пути. Если вы хотите построить красивое здание, сколько правил техники и гармонии будут определять и, значит, «стеснять» вашу работу! Вы свободны в выборе целей, — это и есть единственная человеческая свобода. Но раз вы желаете цели, тем самым вы желаете и средств, которыми она достигается.

Мы сошли в сад отдохнуть от массы впечатлений. Был уже вечер, ясный и мягкий весенний вечер. Цветы начинали свертывать свои чашечки и листья, чтобы закрыть их на ночь: эта общая особенность растений Марса, порожденная его холодными ночами. Я возобновил начатый разговор.

— Скажите, какие роды беллетристики у вас теперь преобладают?

— Драма, особенно трагедия, и поэзия картин природы, — ответил Энно.

— В чем же содержание вашей трагедии? Где материал для нее в вашем счастливом мирном существовании?

— Счастливое? мирное? откуда вы это взяли? У нас царствует мир между людьми, это правда, но нет мира со стихийностью природы и не может его быть. А это такой враг, в самом поражении которого всегда есть новая угроза. За последний период нашей истории мы в десятки раз увеличили эксплуатацию нашей планеты, наша численность возрастает, и еще несравненно

быстрее растут наши потребности. Опасность истощения природных сил и средств уже не раз вставала перед нами то в одной, то в другой области труда. До сих пор нам удавалось преодолеть ее, не прибегая к ненавистному сокращению жизни — в себе и в потомстве, но именно теперь эта борьба принимает особенно серьезный характер.

— Я никак не думал, что при вашем техническом и научном могуществе возможны такие опасности. Вы говорите, что это уже случилось в вашей истории?

— Еще семьдесят лет тому назад, когда иссякли запасы каменного угля, а переход на водяную и электрическую энергии был далеко еще не завершен, нам, чтобы выполнить громадную перестройку машин, пришлось истребить значительную долю дорогих нам лесов нашей планеты, что на десятки лет обезобразило ее и ухудшило климат. Потом, когда мы уже оправились от этого кризиса, лет двадцать тому назад, оказалось, что приходят к концу железные руды. Началось спешное изучение твердых сплавов алюминия, и громадная доля технических сил, которыми мы располагали, была направлена на электрическое добывание алюминия из почвы. Теперь, по вычислениям статистиков, нам угрожает через тридцать лет недостаток пищи, если до того времени не будет выполнен синтез белковых веществ из элементов.

— А другие планеты? — возразил я. — Разве там вы не можете найти, чем пополнить недостаток?

— Где? Венера, по-видимому, еще недоступна. Земля? Она имеет свое человечество, и вообще до сих пор не выяснено, насколько удастся нам использовать ее силы. На переезд туда нужна каждый раз громадная затрата энергии, а запасы радирующей материи, необходимой для этого, по словам Мэнни, который недавно рассказал мне о своих последних исследованиях, очень

невелики на нашей планете. Нет, трудности повсюду значительны, и чем теснее наше человечество смыкает свои ряды для завоевания природы, тем теснее смыкаются и стихии для мести за победы.

— Но всегда же достаточно, например, сократить размножение, чтобы поправить дело?

— Сократить размножение? Да ведь это и есть победа стихий. Это — отказ от безграничного роста жизни, это — неизбежная ее остановка на одной из ближайших ступеней. Мы побеждаем, пока нападаем. Когда же мы откажемся от роста нашей армии, это будет значить, что мы уже осаждены стихиями со всех сторон. Тогда станет ослабевать вера в нашу коллективную силу, в нашу великую общую жизнь. А вместе с этой верой будет теряться и смысл жизни каждого из нас, потому что в каждом из нас, маленьких клеток великого организма, живет целое, и каждый живет этим целым. Нет! Сократить размножение — это последнее, на что бы мы решились, а когда это случится помимо нашей воли, то оно будет началом конца.

— Ну хорошо, я понимаю, что трагедия целого для вас всегда существует, по крайней мере как угрожающая возможность. Но пока победа остается еще за человечеством, личность достаточно защищена от этой трагедии коллективностью, даже когда наступает прямая опасность, гигантские усилия и страдания напряженной борьбы так ровно распределяются между бесчисленными личностями, что не могут серьезно нарушить их спокойного счастья. А для счастья у вас, кажется, есть все, что надо.

— Спокойное счастье! Да разве может личность не чувствовать сильно и глубоко потрясений жизни целого, в котором ее начало и конец? И разве не возникает глубоких противоречий жизни из самой ограниченности

отдельного существа по сравнению с его целым, из самого бессилия вполне слиться с этим целым, вполне растворить в нем свое сознание и охватить его своим сознанием? Вам непонятны эти противоречия? Это потому, что они затемнены в вашем мире другими, более близкими и грубыми. Борьба классов, групп, личностей отнимает у вас идею целого, а с ней и то счастье, и те страдания, которые она приносит. Я видел ваш мир, я не мог бы вынести десятой доли того безумия, среди которого живут ваши братья. Но именно поэтому я не взялся бы решить, кто из нас ближе к спокойному счастью: чем жизнь стройнее и гармоничнее, тем мучительнее в ней неизбежные диссонансы.

— Но скажите, Энно, разве вы, например, не счастливый человек? Молодость, наука, поэзия и, наверно, любовь... Что могли вы испытать такого тяжелого, чтобы говорить настолько горячо о трагедии жизни?

— Это очень удачно, — засмеялся Энно, и странно звучал его смех. — Вы не знаете, что веселый Энно один раз уже решил было умереть. И если бы Мэнни всего на один день опоздал написать ему шесть слов, расстроивших все расчеты: «Не хотите ли ехать на Землю?» — то у вас не было бы вашего веселого спутника. Но сейчас я не сумел бы объяснить вам всего этого. Вы сами увидите потом, что если есть у нас счастье, то только не то мирное и спокойное счастье, о котором вы говорили.

Я не решился идти дальше в вопросах. Мы встали и вернулись в музей. Но я не мог больше систематически осматривать коллекции: мое внимание было рассеяно, мысли ускользали. Я остановился в отделе скульптуры перед одной из новейших статуй, изображавшей прекрасного мальчика. Черты его лица напоминали Нэтти, но всего больше меня поразило то искусство, с которым художник сумел в несложившемся теле,

в незаконченных чертах, в тревожных, пытливо вглядывающихся глазах ребенка воплотить зарождающуюся гениальность. Я долго неподвижно стоял перед статуей, и все остальное успело исчезнуть из моего сознания, когда голос Энно заставил меня очнуться.

— Это вы, — сказал он, указывая на мальчика, — это ваш мир. Это будет чудесный мир, но он еще в детстве; и посмотрите, какие смутные грезы, какие тревожные образы волнуют его сознание... Он в полусне, но он проснется, я чувствую это, я глубоко верю в это!

К радостному чувству, которое вызвали во мне эти слова, примешивалось странное сожаление:

«Зачем не Нэтти сказал это!»

V. В лечебнице

Я возвратился домой очень утомленный, а после двух бессонных ночей и целого дня полной неспособности к работе я решил опять отправиться к Нэтти, так как мне не хотелось обращаться к незнакомому врачу химического городка. Нэтти с утра работал в лечебнице; там я и нашел его за приемом приходящих больных.

Когда Нэтти увидал меня в приемной, он тотчас подошел ко мне, внимательно посмотрел на мое лицо, взял за руку и отвел в отдаленную маленькую комнату, где с мягким голубым светом смешивался легкий, приятный запах незнакомых мне духов и тишина ничем не нарушалась. Там он удобно усадил меня в глубокое кресло и сказал:

— Ни о чем не думайте, ни о чем не заботьтесь. На сегодня я беру все это на себя. Отдохните, я потом приду.

Он ушел, а я ни о чем не думал, ни о чем не беспокоился, так как он взял на себя все мысли и заботы.

Это было очень приятно, и через несколько минут я заснул. Когда я очнулся, Нэтти опять стоял передо мной и с улыбкой смотрел на меня.

— Вам теперь лучше? — спросил он.

— Я совершенно здоров, а вы — гениальный врач, — отвечал я. — Идите к своим больным и не беспокойтесь обо мне.

— Моя работа на сегодня уже кончена. Если хотите, я покажу вам нашу лечебницу, — предложил Нэтти.

Мне это было очень интересно, и мы отправились в обход по всему обширному красивому зданию.

Среди больных преобладали хирургические и нервные. Большая часть хирургических были жертвы несчастных случаев с машинами.

— Неужели у вас на заводах и фабриках недостаточно ограждений? — спросил я у Нэтти.

— Абсолютных ограждений, при которых несчастные случаи были бы невозможны, почти не существует. Но здесь собраны эти больные из района с населением больше двух миллионов человек, — на такой район несколько десятков пострадавших не так много. Чаще всего — это новички, еще не освоившиеся с устройством машин, на которых работают: у нас ведь все любят переходить из одной области производства в другую. Специалисты, ученые и художники особенно легко становятся жертвами своей рассеянности: внимание им часто изменяет, они задумываются или забываются в созерцании.

— А нервные больные — это, конечно, главным образом от переутомления?

— Да, таких немало. Но не меньше и болезней, вызванных волнениями и кризисами половой жизни, а также другими душевными потрясениями, например смертью близких людей.

— А здесь есть душевнобольные с затемненным или спутанным сознанием?

— Нет, таких здесь нет, для них есть отдельные лечебницы. Там нужны особые приспособления для тех случаев, когда больной может причинить вред себе или другим.

— В этих случаях и у вас прибегают к насилию над больными?

— Настолько, насколько это безусловно необходимо, разумеется.

— Вот уже второй раз я встречаюсь с насилием в вашем мире. Первый раз это было в «доме детей». Скажите: вам, значит, не удастся вполне устранить эти элементы из вашей жизни, вы принуждены их сознательно допускать?

— Да, как мы допускаем болезнь и смерть или, пожалуй, как горькое лекарство. Какое же разумное существо откажется от насилия, например, для самозащиты?

— Знаете, для меня это значительно уменьшает пропасть между нашими мирами.

— Но ведь их главное различие — вовсе не в том заключается, что у вас много насилия и принуждения, а у нас мало. Главное различие в том, что у вас то и другое облекается в законы, внешние и внутренние, в нормы права и нравственности, которые господствуют над людьми и постоянно тяготеют над ними. У нас же насилие существует либо как проявление болезни, либо как разумный поступок разумного существа. В том и другом случае ни из него, ни для него не создается никаких общественных законов и норм, никаких личных или безличных повелений.

— Но установлены же у вас правила, по которым вы ограничиваете свободу ваших душевнобольных или ваших детей?

— Да, чисто научные правила ухода за больными и педагогики. Но, конечно, и в этих технических правилах вовсе не предусматриваются ни все случаи необходимости насилия, ни все способы его применения, ни его степень, — все это зависит от совокупности действительных условий.

— Но если так, то здесь возможен настоящий произвол со стороны воспитателей или тех, кто ухаживает за больными?

— Что означает это слово — «произвол»? Если оно означает ненужное, излишнее насилие, то оно возможно только со стороны больного человека, который сам подлежит лечению. А разумный и сознательный человек, конечно, не способен на это.

Мы миновали комнаты больных, операционные, комнаты лекарств, квартиры ухаживающих за больными и, поднявшись в верхний этаж, прошли в большую красивую залу, через прозрачные стены которой открывался вид на озеро, лес и отдаленные горы. Комнату украшали высокохудожественные статуи и картины, мебель была роскошна и изящна.

— Это — комната умирающих, — сказал Нетти.

— Вы приносите сюда всех умирающих? — спросил я.

— Да, или они сами сюда приходят, — отвечал Нетти.

— Но разве ваши умирающие могут еще сами ходить? — удивился я.

— Те, которые физически здоровы, конечно могут. Я понял, что речь шла о самоубийцах.

— Вы предоставляете самоубийцам эту комнату для выполнения их дела?

— Да, и все средства спокойной, безболезненной смерти.

— И при этом — никаких препятствий?

— Если сознание пациента ясно и его решение твердо, то какие же могут быть препятствия? Врач, конечно, сначала предлагает больному посоветоваться с ним. Некоторые соглашаются на это, другие — нет...

— И самоубийства очень часты между вами?

— Да, особенно среди стариков. Когда чувство жизни слабеет и притупляется, тогда многие предпочитают не ждать естественного конца.

— Но вам приходится сталкиваться и с самоубийством молодых людей, полных сил и здоровья?

— Да, бывает и это, но это нечасто. На моей памяти в этой лечебнице было два таких случая; в третьем случае попытку удалось остановить.

— Кто же были эти несчастные, и что привело их к гибели?

— Первый был мой учитель, знаменитый врач, который внес в науку много нового. У него была чрезмерно развита способность чувствовать страдания других людей. Это направило его ум и энергию в сторону медицины, но это и погубило его. Он не вынес. Свое душевное состояние он скрывал от всех так хорошо, что крушение произошло совершенно неожиданно. Это случилось после тяжелой эпидемии, возникшей при работах по осушению одного морского залива вследствие разложения нескольких сот миллионов килограммов погибшей при этом рыбы. Болезнь была мучительна, как ваша холера, но еще гораздо опаснее и в девяти случаях из десяти оканчивалась смертью. Благодаря этой слабой возможности выздоровления врачи даже не могли исполнять просьб своих больных о скорой и легкой смерти: ведь нельзя считать вполне сознательным человека, захваченного острой лихорадочной болезнью. Мой учитель безумно работал во время эпидемии, и его

исследования помогли довольно скоро покончить с нею. Но когда это было сделано, он отказался жить.

— Сколько лет ему было тогда?

— По нашему счету — около пятидесяти. У нас это еще совсем молодой возраст.

— А другой случай?

— Это была женщина, у которой умерли муж и ребенок одновременно.

— И наконец, третий случай?

— Его мог бы рассказать вам только сам товарищ, его переживший.

— Это правда, — сказал я. — Но объясните мне другое: почему у вас, марсиан, так долго сохраняется молодость? Особенность ли это вашей расы, или результат лучших условий жизни, или еще что-нибудь?

— Раса тут ни при чем: лет 200 тому назад мы были вдвое менее долговечны. Лучшие условия жизни? Да, в значительной мере это. Но не только это. Главную роль тут играет применяемое нами обновление жизни.

— Это что же такое?

— Вещь, в сущности, очень простая, но вам она, вероятно, покажется странной. А между тем в вашей науке уже имеются все данные для этого метода. Вы знаете, что природа, чтобы повысить жизнеспособность клеток или организмов, постоянно дополняет одну особь другою. Для этой цели одноклеточные существа, когда их жизнеспособность понизится в однообразной обстановке, сливаются по два в одно, и только этим путем возвращается в полной мере способность их к размножению — «бессмертие» их протоплазмы. Такой же смысл имеет и половое скрещивание высших растений и животных: здесь также соединяются жизненные элементы двух различных существ, чтобы получился более совершенный зародыш третьего. Нако-

нец, вы знаете уже и применение кровяных сывороток для передачи от одного существа другому элементов жизнеспособности, так сказать, по частям — в виде, например, повышенного сопротивления той или другой болезни. Мы же идем дальше и устраиваем обмен крови между двумя человеческими существами, из которых каждое может передавать другому массу условий повышения жизни. Это просто одновременное переливание крови от одного человека другому и обратно путем двойного соединения соответственными приборами их кровеносных сосудов. При соблюдении всех предосторожностей это совершенно безопасно; кровь одного человека продолжает жить в организме другого, смешавшись там с его кровью и внося глубокое обновление во все его ткани.

— И таким образом можно возвращать молодость старикам, вливая в их жилы юношескую кровь?

— Отчасти да, но не вполне, разумеется, потому что кровь — не все в организме, и она, в свою очередь, им перерабатывается. Поэтому, например, молодой человек не стареет от крови пожилого: то, что в ней есть слабого, старческого, быстро преодолевается молодым организмом, но в то же время из нее усваивается многое такое, чего не хватает этому организму; энергия и гибкость его жизненных отправления также возрастают.

— Но если это так просто, то почему же наша земная медицина до сих пор не пользуется этим средством? Ведь она знает и переливание крови уже несколько сот лет, если не ошибаюсь.

— Не знаю, может быть, есть какие-нибудь особые органические условия, которые у вас лишают это средство его значения. А может быть, это просто результат господствующей у вас психологии индивидуализма,

которая так глубоко отграничивает у вас одного человека от другого, что мысль об их жизненном слиянии для ваших ученых почти недоступна. Кроме того, у вас распространена такая масса болезней, отравляющих кровь, болезней, о которых сами больные часто не знают, а иногда и просто скрывают. Практикуемое в вашей медицине — теперь очень редко — переливание крови имеет какой-то филантропический характер: тот, у кого ее много, дает другому, у которого в ней есть острая нужда, вследствие, например, большого кровотечения из раны. У нас бывает, конечно, и это, но постоянно применяется другое — то, что соответствует всему нашему строю: товарищеский обмен жизни не только в идейном, но и в физиологическом существовании...

VI. Работа и призраки

Впечатления первых дней, бурным потоком нахлынувшие на мое сознание, дали мне понятие о громадных размерах той работы, которая мне предстояла. Надо было прежде всего *постигнуть* этот мир, неизмеримо богатый и своеобразный в своей жизненной стройности. Надо было затем войти в него не в качестве интересного музейного экземпляра, а в качестве человека среди людей, работника среди работников. Только тогда могла быть выполнена моя миссия, только тогда я мог послужить началом действительной взаимной связи двух миров, между которыми я, социалист, находился на границе как бесконечно малый момент настоящего — между прошлым и будущим.

Когда я уезжал из лечебницы, Нэтти сказал мне: «Не очень спешите!» Мне казалось, что он не прав. Надо было именно спешить, надо было пустить в ход все свои силы, всю свою энергию, потому что ответ-

ственность была страшно велика! Какую колоссальную пользу нашему старому, измученному человечеству, какое гигантское ускорение его развития, его расцвета должно было принести живое, энергичное влияние высшей культуры, могучей и гармоничной! И каждый момент замедления в моей работе мог отдалять это влияние... Нет, ждать, отдыхать было некогда.

И я очень много работал. Я знакомился с наукой и техникой нового мира, я напряженно наблюдал его общественную жизнь, я изучал его литературу. Да, тут было много трудного.

Их научные методы ставили меня в тупик: я механически усваивал их, убеждался на опыте, что применение их легко, просто и непогрешимо, а между тем я не понимал их, не понимал, почему они ведут к цели, где их связь с живыми явлениями, в чем их сущность. Я был точно те старые математики XVII века, неподвижная мысль которых органически не могла усваивать живой динамики бесконечно малых величин.

Общественные собрания марсиан поражали меня своим напряженно-деловым характером. Были ли они посвящены вопросам науки, или вопросам организации работ, или даже вопросам искусства, — доклады и речи были страшно сжаты и кратки, аргументация определена и точна, никто никогда не повторялся и не повторял других. Решения собраний, чаще всего единогласные, выполнялись со сказочной быстротой. Решало собрание ученых одной специальности, что надо организовать такое-то научное учреждение; собрание статистиков труда, что надо устроить такое-то предприятие; собрание жителей города, что надо украсить его таким-то зданием, — немедленно появлялись новые цифры необходимого труда, публикуемые центральным бюро, приезжали по воздуху сотни и тысячи

новых работников, и через несколько дней или недель все было уже сделано, а новые работники исчезали неизвестно куда. Все это производило на меня впечатление как будто своеобразной магии, странной магии, спокойной и холодной, без заклинаний и мистических украшений, но тем более загадочной в своем сверхчеловеческом могуществе.

Литература нового мира, даже чисто художественная, не была также для меня ни отдыхом, ни успокоением. Ее образы были как будто несложны и ясны, но как-то внутренне чужды для меня. Мне хотелось глубже в них проникнуть, сделать их близкими и понятными, но мои усилия приводили к совершенно неожиданному результату: образы становились призрачными и одевались туманом.

Когда я шел в театр, то и здесь меня преследовало все то же чувство непонятного. Сюжеты были просты, игра превосходна, а жизнь оставалась далекой. Речи героев были так сдержанны и мягки, поведение так спокойно и осторожно, их чувства подчеркивались так мало, как будто они не хотели навязывать зрителю никаких настроений, как будто они были сплошные философы да еще, как мне казалось, сильно идеализированные. Только исторические пьесы из далекого прошлого давали мне сколько-нибудь знакомые впечатления, а игра актеров там была настолько же энергична и выражения личных чувств настолько же откровенны, как я привык видеть в наших театрах.

Было одно обстоятельство, которое, несмотря на все, привлекало меня в театр нашего маленького городка с особенной силой. Это именно то, что в нем вовсе не было актеров. Пьесы, которые я там видел, либо передавались оптическими и акустическими передаточными аппаратами из далеких больших городов, либо даже —

и это чаще всего — были воспроизведением игры, которая была давно, иногда так давно, что сами актеры уже умерли. Марсиане, зная способы моментального фотографирования в естественных цветах, применяли их для того, чтобы фотографировать жизнь в движении, как это делается для наших кинематографов. Но они не только соединяли кинематограф с фонографом, как это начинают делать у нас на Земле, — пока еще весьма неудачно, — но они пользовались идеей стереоскопа и превращали изображения кинематографа в рельефные. На экране давалось одновременно два изображения — две половины стереограммы, а перед каждым креслом зрительной залы был прикреплен соответствующий стереоскопический бинокль, который сливал два плоских изображения в одно, но всех трех измерений. Было странно видеть ясно и отчетливо живых людей, которые движутся, действуют, выражают свои мысли и чувства, и сознавать в то же время, что там ничего нет, а есть матовая пластинка и за нею — фонограф и электрический фонарь с часовым механизмом. Это было почти мистически странно и порождало смутное сомнение во всей действительности.

Все это, однако, не облегчало мне выполнения моей задачи — понять чужой мир. Мне, конечно, нужна была помощь со стороны. Но я все реже обращался к Мэнни за указаниями и объяснениями. Мне было неловко обнаруживать свои затруднения во всем их объеме. К тому же внимание Мэнни в это время было страшно занято одним важным исследованием из области добывания «минус-материи». Он работал неутомимо, часто не спал целые ночи, и мне не хотелось мешать ему и отвлекать его; а его увлечение работой было как будто живым примером, который невольно побуждал меня идти дальше в своих усилиях.

Остальные друзья между тем временно исчезли с моего горизонта. Нэтти уехал за несколько тысяч километров руководить устройством и организацией новой гигантской лечебницы в другом полушарии планеты. Энно был занят как помощник Стэрни в его обсерватории измерениями и вычислениями, необходимыми для новых экспедиций на Землю и Венеру, а также для экспедиций на Луну и Меркурий с целью их лучше сфотографировать и привезти образчики их минералов. С другими марсианами я близко не сходиллся, а ограничивался необходимыми расспросами и деловыми разговорами: трудно и странно было сближаться с чуждыми мне и высшими, чем я, существами.

С течением времени мне стало казаться, что работа моя идет, в сущности, недурно. Я все меньше нуждался в отдыхе и даже в сне. То, что я изучал, как-то механически легко и свободно стало укладываться в моей голове, и при этом ощущение было таково, словно голова совершенно пуста и в ней можно поместить еще очень, очень много. Правда, когда я пытался по старой привычке отчетливо формулировать для себя то, что узнавал, это мне большей частью не удавалось; но я находил, что это неважно, что мне не хватает только выражений да каких-нибудь частных и мелочей, а общее понятие у меня имеется, и это главное.

Никакого живого удовольствия мне мои занятия уже не доставляли; ничто не вызывало во мне прежнего непосредственного интереса. «Что же, это вполне понятно, — думал я, — после всего, что я видел и узнал, меня трудно чем-нибудь еще удивить; дело не в том, чтобы это мне было приятно, а в том, чтобы овладеть всем, чем надо».

Только одно было непонятно: все труднее становилось сосредоточивать внимание на одном предмете.

Мысли отвлекались то и дело то в одну, то в другую сторону; яркие воспоминания, часто очень неожиданные и далекие, всплывали в сознании и заставляли забывать окружающее, отнимая драгоценные минуты. Я замечал это, спохватывался и с новой энергией принимался за работу; но проходило короткое время, и снова летучие образы прошлого или фантазии овладевали моим мозгом, и снова приходилось подавлять их резким усилием.

Все чаще меня тревожило какое-то странное, беспокойное чувство, точно было что-то важное и спешное, чего я не исполнил и о чем все забываю и стараюсь вспомнить. Вслед за этим чувством поднимался целый рой знакомых лиц и минувших событий и неудержимым потоком уносил меня все дальше назад, через юность и отрочество к самому раннему детству, теряясь затем в каких-то смутных и неясных ощущениях. После этого моя рассеянность становилась особенно сильной и упорной.

Подчиняясь внутреннему сопротивлению, которое не давало мне долго сосредоточиваться на чем-нибудь одном, я начинал все чаще и быстрее переходить от предмета к предмету и для этого нарочно собирал в своей комнате целые груды книг, раскрытых заранее на нужном месте, таблиц, карт, стенограмм, фонограмм и т. д. Таким путем я надеялся устранить потерю времени, но рассеянность все незаметнее подкрадывалась ко мне, и я ловил себя на том, что уже долго смотрю в одну точку, ничего не понимая и ничего не делая.

Зато когда я ложился в постель и смотрел сквозь стеклянную крышу на темное небо, тогда мысль начинала самовольно работать с удивительной живостью и энергией. Целые страницы цифр и формул выступали перед моим внутренним зрением с такой ясностью,

что я мог перечитывать их строчка за строчкой. Но эти образы скоро уходили, уступая место другим; и тогда мое сознание превращалось в какую-то панораму удивительно ярких и отчетливых картин, не имевших уже ничего общего с моими занятиями и заботами: земные ландшафты, театральные сцены, картины детских сказок спокойно, точно в зеркале, отражались в моей душе и исчезали и сменялись, не вызывая никакого волнения, а только легкое чувство интереса или любопытства, не лишенное очень слабого приятного оттенка. Эти отражения сначала проходили внутри моего сознания, не смешиваясь с окружающей обстановкой, потом они ее вытесняли, и я погружался в сон, полный живых и сложных сновидений, очень легко прерывавшийся и не дававший мне главного, к чему я стремился, — чувства отдыха.

Шум в ушах уже довольно давно меня беспокоил, а теперь он становился все постояннее и сильнее, так что иногда мешал мне слушать фонограммы, а по ночам уносил остатки сна. Время от времени из него выделялись человеческие голоса, знакомые и незнакомые; часто мне казалось, что меня окликают по имени, часто казалось, что я слышу разговор, слов которого из-за шума не могу разобрать. Я стал понимать, что уже не совсем здоров, тем более что рассеянность окончательно овладела мною и я не мог даже читать больше нескольких строчек подряд.

«Это, конечно, просто переутомление, — думал я. — Мне надо только больше отдыхать; я, пожалуй, слишком много работал. Но не надо, чтобы Мэнни заметил, что со мной происходит: это слишком похоже на банкротство с первых же шагов моего дела».

И когда Мэнни заходил ко мне в комнату — это бывало тогда, правда, нечасто, — я притворялся, что

усердно занимаюсь. А он замечал мне, что я работаю слишком много и рискую переутомиться.

— Особенно сегодня у вас нездоровый вид, — говорил он. — Посмотрите в зеркало, как блестят ваши глаза и как вы бледны. Вам надо отдохнуть, вы этим выиграете в дальнейшем.

И я сам очень хотел бы этого, но мне не удавалось. Правда, я почти ничего не делал, но меня утомляло уже всякое, самое маленькое усилие; а бурный поток живых образов, воспоминаний и фантазий не прекращался ни днем, ни ночью. Окружающее как-то бледнело и терялось за ними и приобретало призрачный оттенок.

Наконец я должен был сдаться. Я видел, что вялость и апатия все сильнее овладевают моей волей и я все меньше могу бороться со своим состоянием. Раз утром, когда я встал с постели, у меня все сразу потемнело в глазах. Но это быстро прошло, и я подошел к окну, чтобы посмотреть на деревья парка. Вдруг я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я обернулся — передо мной стояла Анна Николаевна. Лицо ее было бледно и грустно, взгляд полон упрека. Меня это огорчило, и я, совершенно не думая о странности ее появления, сделал шаг по направлению к ней и хотел сказать что-то. Но она исчезла, как будто растаяла в воздухе.

С этого момента началась оргия призраков. Многого я, конечно, не помню, и, кажется, сознание часто спутывалось у меня наяву, как во сне. Приходили и уходили или просто появлялись и исчезали самые различные люди, с какими я встречался в своей жизни, и даже совершенно незнакомые мне. Но между ними не было марсиан, это были все земные люди, большей частью те, которых я давно не видал, — старые школьные товарищи, молодой брат, который умер еще в детстве. Как-то раз через окно я увидел на скамейке

знакомого шпиона, который со злобной насмешкой смотрел на меня своими хищными, бегающими глазами. Призраки не разговаривали со мной, а ночью, когда было тихо, слуховые галлюцинации продолжались и усиливались, превращаясь в целые связные, но нелепо-бессодержательные разговоры большею частью между неизвестными мне лицами: то пассажир торговался с извозчиком, то приказчик уговаривал покупателя взять у него материю, то шумела университетская аудитория, а субинспектор убеждал успокоиться, потому что сейчас придет господин профессор. Зрительные галлюцинации были, по крайней мере, интересны, да и мешали мне гораздо меньше и реже.

После появления Анны Николаевны я, разумеется, сказал все Мэнни. Он тотчас уложил меня в постель, позвал ближайшего врача и телефонировал Нэтти за шесть тысяч километров. Врач сказал, что он не решается что-нибудь предпринять, потому что недостаточно знает организацию земного человека, но что, во всяком случае, главное для меня — спокойствие и отдых, и тогда неопасно подождать несколько дней, пока приедет Нэтти.

Нэтти явился на третий день, передав все свое дело другому. Увидав, в каком я состоянии, он с грустным упреком взглянул на Мэнни.

VII. Нэтти

Несмотря на лечение такого врача, как Нэтти, болезнь продолжалась еще несколько недель. Я лежал в постели, спокойный и апатичный, одинаково равнодушно наблюдая действительность и призраки; даже постоянное присутствие Нэтти доставляло мне лишь очень слабое, едва заметное удовольствие.

Мне странно вспоминать о своем тогдашнем отношении к галлюцинациям: хотя десятки раз мне приходилось убеждаться в их нереальности, но каждый раз, как они появлялись, я как будто забывал все это; даже если мое сознание не затемнялось и не спутывалось, я принимал их за действительные лица и вещи. Понимание их призрачности выступало только после их исчезновения или перед самым исчезновением.

Главные усилия Нэтти в его лечении были направлены на то, чтобы заставить меня спать и отдыхать. Никаких лекарств для этого, однако, и он применять не решался, боясь, что все они могут оказаться ядами для земного организма. Несколько дней ему не удавалось усыпить меня его обычными способами: галлюцинаторные образы врывались в процесс внушения и разрушали его действие. Наконец ему удалось это, и, когда я проснулся после двух-трех часов сна, он сказал:

— Теперь ваше выздоровление несомненно, хотя болезнь еще довольно долго будет идти своим путем.

И она в самом деле шла своим путем. Галлюцинации становились реже, но они не были менее живыми и яркими; они даже стали несколько сложнее, — иногда призрачные гости вступали в разговор со мною.

Но из этих разговоров только один имел смысл и значение для меня. Это было в конце болезни.

Проснувшись утром, я увидел около себя по обыкновению Нэтти, а за его креслом стоял мой старший товарищ по революции, пожилой человек и очень злой насмешник, агитатор Ибрагим. Он как будто ожидал чего-то. Когда Нэтти вышел в другую комнату приготовить ванну, Ибрагим грубо и решительно сказал мне:

— Ты дурак! Чего ты зеваешь? Разве ты не видишь, кто твой доктор?

Я как-то мало удивился намеку, заключававшемуся в этих словах, а их циничный тон не возмутил меня — он был мне знаком и очень обычен для Ибрагима. Но я вспомнил железное пожатие маленькой руки Нэтти и не поверил Ибрагиму.

— Тем хуже для тебя! — сказал он с презрительной усмешкой и в ту же минуту исчез.

В комнату вошел Нэтти. При виде его я почувствовал странную неловкость. Он пристально посмотрел на меня.

— Это хорошо, — сказал он. — Ваше выздоровление идет быстро.

Весь день после этого он был как-то особенно молчалив и задумчив. На другой день, убедившись, что я чувствую себя хорошо и галлюцинации не повторяются, он уехал по своим делам до самой ночи, заменив себя другим врачом. После этого в течение целого ряда дней он являлся лишь по вечерам, чтобы усыпить меня на ночь. Тогда только мне стало ясно, насколько для меня важно и приятно его присутствие. Вместе с волнами здоровья, которые как будто вливались в мой организм из всей окружающей природы, стали все чаще приходить размышления о намеке Ибрагима. Я колебался и всячески убеждал себя, что это нелепость, порожденная болезнью: из-за чего бы Нэтти и прочим друзьям обманывать меня относительно этого? Тем не менее смутное сомнение оставалось, и оно мне было приятно.

Иногда я допрашивал Нэтти, какими делами он сейчас занят. Он объяснял мне, что идет ряд собраний, связанных с устройством новых экспедиций на другие планеты, и он там нужен как эксперт. Мэнни руководил этими собраниями; но ни Нэтти, ни он не собирались скоро ехать, что меня очень радовало.

— А вы сами не думаете ехать домой? — спросил меня Нэтти, и в его тоне я подметил беспокойство.

— Но ведь я еще ничего не успел сделать, — отвечал я.

Лицо Нэтти просияло.

— Вы ошибаетесь, вы сделали многое... даже и этим ответом, — сказал он.

Я чувствовал в этом намек на что-то такое, чего я не знаю, но что касается меня.

— А не могу ли я отправиться с вами на одно из этих совещаний? — спросил я.

— Ни в каком случае! — решительно заявил Нэтти. — Кроме безусловного отдыха, который вам нужен, вам надо еще целые месяцы избегать всего, что имеет тесную связь с началом вашей болезни.

Я не спорил. Мне было так приятно отдыхать; а мой долг перед человечеством ушел куда-то далеко. Меня беспокоили только, и все сильнее, странные мысли о Нэтти.

Раз вечером я стоял у окна и смотрел на темневшую внизу таинственную красную «зелень» парка, и она казалась мне прекрасной, и не было в ней ничего чуждого моему сердцу. Раздался легкий стук в дверь; я сразу почувствовал, что это Нэтти. Он вошел своей быстрой, легкой походкой и, улыбаясь, протянул мне руку — старое, земное приветствие, которое нравилось ему. Я радостно сжал его руку с такой энергией, что и его сильным пальцам пришлось плохо.

— Ну, я вижу, моя роль врача окончена, — смеясь, сказал он. — Тем не менее я должен еще вас порасспросить, чтобы твердо установить это.

Он расспрашивал меня, я бестолково отвечал ему в непонятном смущении и читал скрытый смех в глубине его больших-больших глаз. Наконец я не выдержал:

— Объясните мне, откуда у меня такое сильное влечение к вам? Почему я так необыкновенно рад вас видеть?

— Всего скорее, я думаю, оттого, что я лечил вас, и вы бессознательно переносите на меня радость выздоровления. А может быть... и еще одно... это то, что я... женщина...

Молния блеснула перед моими глазами, и все потемнело вокруг, и сердце словно перестало биться... Через секунду я как безумный сжимал Нэтти в своих объятиях и целовал ее руки, ее лицо, ее большие, глубокие глаза, зеленовато-синие, как небо ее планеты.

Великодушно и просто Нэтти уступала моим необузданным порывам... Когда я очнулся от своего радостного безумия и вновь целовал ее руки с невольными слезами благодарности на глазах, — то была, конечно, слабость от перенесенной болезни, — Нэтти сказала со своей милой улыбкой:

— Да, мне казалось сейчас, что весь ваш юный мир я чувствую в своих объятиях. Его деспотизм, его эгоизм, его отчаянная жажда счастья — все было в ваших ласках. Ваша любовь сродни убийству... Но... я люблю вас, Лэнни...

Это было счастье.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. Счастье

Эти месяцы... Когда я их вспоминаю, трепет охватывает мое тело, и туман застилает мои глаза, и все вокруг кажется ничтожным. И нет слов, чтобы выразить минувшее счастье.

Новый мир стал мне близок и, казалось, вполне понятен. Прошлые поражения не смущали меня, юность и вера возвратились ко мне и, я думал, никогда не уйдут больше. У меня был надежный и сильный союзник, слабости не было места, будущее принадлежало мне.

К прошлому мысль моя возвращалась редко, а больше всего к тому, что касалось Нэтти и нашей любви.

— Зачем вы скрывали от меня свой пол? — спросил я ее вскоре после того вечера.

— Сначала это произошло само собой, случайно. Но потом я поддерживала ваше заблуждение вполне сознательно и даже умышленно изменила в своем костюме все то, что могло навести вас на истину. Меня напугала трудность и сложность вашей задачи, я боялась усложнить ее еще больше, особенно когда заметила ваше бессознательное влечение ко мне. Я и сама не вполне понимала себя... до вашей болезни.

— Значит, это она решила дело... Как я благодарен моим милым галлюцинациям!

— Да, когда я услышала о вашей болезни, это было как громовой удар. Если бы мне не удалось вполне вылечить вас, я бы, может быть, умерла.

После нескольких секунд молчания она прибавила:

— А знаете, в числе ваших друзей есть еще одна женщина, о которой вы этого не подозревали, и она также очень любит вас... конечно, не так, как я...

— Энно! — сейчас же догадался я.

— Ну конечно. И она также обманывала вас нарочно по моему совету.

— Ах, сколько обмана и коварства в вашем мире! — воскликнул я с шутливым пафосом. — Только, пожалуйста, пусть Мэнни остается мужчиной, потому что если бы мне случилось полюбить его, это было бы ужасно.

— Да, это страшно, — задумчиво подтвердила Нэтти, и я не понял ее странной серьезности.

Дни проходили за днями, и я радостно овладевал прекрасным новым миром.

II. Разлука

И все-таки этот день наступил, день, о котором я не могу вспомнить без проклятья, день, когда между мной и Нэтти встала черная тень ненавистной и неизбежной... разлуки. Со спокойным и ясным, как всегда, выражением лица Нэтти сказала мне, что она должна отправиться на днях вместе с гигантской экспедицией, снаряжаемой на Венеру под руководством Мэнни. Видя, как я ошеломлен этим известием, она прибавила:

— Это будет недолго; в случае успеха, в котором я не сомневаюсь, часть экспедиции вернется очень скоро, и я в том числе.

Затем она стала объяснять мне, в чем дело. На Марсе запасы радиоматерии, необходимой как двигатель междупланетного сообщения и как орудие разложения и синтеза всех элементов, приходили к концу: она только тратилась, и не было средств для ее возобновления. На Венере, молодой планете, которая существовала почти вчетверо меньше, чем Марс, было по несомненным признакам установлено присутствие у самой поверхности колоссальных залежей радиирующих веществ, не успевших самостоятельно разложиться. На одном острове, расположенном среди главного океана Венеры и носившем у марсиан имя Острова Горячих Бурь, находилась самая богатая руда радиоматерии; и там решено было начать немедленно ее разработку. Но прежде всего для этого было необходимо построй-

кой очень высоких и прочных стен оградить работающих от губительного действия влажного горячего ветра, который своей жестокостью далеко превосходит бури наших песчаных пустынь. Поэтому и потребовалась экспедиция из десяти этеронефов и полутора-двух тысяч человек, из них всего одна двадцатая для химических, а почти все остальные для строительных работ. Были привлечены лучшие научные силы, в том числе и наиболее опытные врачи: опасности здоровью угрожали и со стороны климата, и со стороны убийственных лучей и эманаций радирующего вещества. Нэтти, по ее словам, не могла уклониться от участия в экспедиции; но предполагалось, что если работы пойдут хорошо, то уже через три месяца один этеронеф отправится обратно с известиями и с запасом добытого вещества. С этим этеронефом должна была вернуться и Нэтти, значит, через 10–11 месяцев после отъезда.

Я не мог понять, почему Нэтти необходимо ехать. Она говорила мне, что предприятие слишком серьезное, чтобы от него можно было отказаться; что оно имеет большое значение и для моей задачи, так как его успех впервые даст возможность частых и широких сношений с Землею; что всякая ошибка в постановке медицинской помощи с самого начала может привести к крушению всего дела. Все это было убедительно, — я уже узнал, что Нэтти считается лучшим врачом для всех тех случаев, которые выходят из рамок старого медицинского опыта, — и все-таки мне казалось, что это не все. Я чувствовал, что тут есть что-то недоговоренное.

В одном я не сомневался — в самой Нэтти и в ее любви. Если она говорила, что ехать необходимо, значит, это было необходимо; если она не говорила почему, значит, мне не следовало ее допрашивать.

Я видел страх и боль в ее прекрасных глазах, когда она думала, что я не смотрю на нее.

— Энно будет для тебя хорошим и милым другом, — сказала она с грустной улыбкой, — и Нэллу ты не забывай, она любит тебя за меня, у нее много опыта и ума, ее поддержка в трудные минуты драгоценна. А обо мне думай только одно: что я вернусь как можно скорее.

— Я верю в тебя, Нэтти, — сказал я, — и потому верю в себя, в человека, которого ты полюбила.

— Ты прав, Лэнни. И я убеждена, что из-под всякого гнета судьбы, из всякого крушения ты выйдешь верным себе, сильнее и чище, чем прежде.

Будущее бросало свою тень на наши прощальные ласки, и они смешались со слезами Нэтти.

III. Фабрика одежды

За те короткие месяцы я успел с помощью Нэтти в значительной мере подготовить выполнение своего главного плана — стать полезным работником марсианского общества. Я сознательно отклонял все предложения читать лекции о Земле и ее людях: было бы неразумно сделать это своей специальностью, так как это значило бы искусственно останавливать свое знание на образах своего прошлого, которое и без того не могло от меня уйти, вместо того будущего, которое надо было завоевывать. Я решил поступить просто на фабрику и выбрал на первый раз, после обстоятельного сравнения и обсуждения, фабрику одежды.

Я выбрал, конечно, почти самое легкое. Но для меня и здесь потребовалась немалая и серьезная предварительная работа, пришлось изучить выработанные наукою принципы устройства фабрик вообще, ознако-

миться специально с устройством той фабрики, где мне предстояло работать, с ее архитектурой, с ее организацией труда, выяснить себе в основных чертах также устройство всех применяемых на ней машин, а той машины, с которой я специально должен был иметь дело, — конечно, во всех подробностях. При этом оказалось необходимо предварительно усвоить некоторые отделы общей и прикладной механики и технологии и даже математического анализа. Главные трудности тут возникали для меня не из содержания того, что приходилось изучать, а из формы. Учебники и руководства не были рассчитаны на человека низшей культуры. Я вспоминал, как в детстве мучил меня случайно попавшийся под руку французский учебник математики. У меня было серьезное влечение к этому предмету и, по-видимому, недюжинные способности к нему; трудные для большинства начинающих идеи «предела» и «производной» достались мне как-то незаметно, точно я всегда был знаком с ними. Но у меня не было той логической дисциплины и практики научного мышления, которую предполагал в читателе-ученике французский профессор, очень ясный и точный в выражениях, но очень скупой на объяснения. Он постоянно пропускал те логические мостики, которые могли сами собой подразумеваться для человека более высокой научной культуры, но не для юного азиата. И я не раз целыми часами думал над каким-нибудь магическим превращением, следующим за словами: «откуда, принимая во внимание предыдущие уравнения, мы выводим...» Так было со мной и теперь, только еще сильнее, когда я читал марсианские научные книги; иллюзия, которая владела мной в начале моей болезни, когда мне все казалось легко и понятно, исчезла без следа. Но терпеливая помощь Нэтти постоянно была со мною и сглаживала трудный путь.

Вскоре после отъезда Нэтти я решился и вступил на фабрику. Это было гигантское и очень сложное предприятие, совершенно не подходящее к нашему обычному представлению о фабрике одежды. Там совмещалось пряденье, тканье, кройка, шитье, окраска одежды, а материалом работы служил не лен, не хлопок и вообще не волокна растений, и не шерсть, и не шелк, а нечто совсем иное.

В прежние времена марсиане приготавливали ткани для одежды приблизительно таким же способом, как это делается у нас: культивировали волокнистые растения, стригли шерсть с подходящих животных и сдирали с них кожу, разводили особые породы пауков, из паутины которых получалось вещество, подобное шелку, и т. д. Толчок к изменению техники дан был необходимостью увеличивать все более и более производство хлеба. Волокнистые растения стали вытесняться волокнистыми минералами вроде горного льна. Затем химики направили свои усилия на исследование паутинных тканей и на синтез новых веществ с аналогичными свойствами. Когда это удалось им, то за короткое время во всей этой отрасли промышленности произошла полная революция, и теперь ткани старого типа хранятся только в исторических музеях.

Наша фабрика была истинным воплощением этой революции. Несколько раз в месяц с ближайших химических заводов по рельсовым путям доставлялся «материал» для пряжи в виде полужидкого прозрачного вещества в больших цистернах. Из этих цистерн материал при помощи особых аппаратов, устраняющих доступ воздуха, переливался в огромный, высоко подвешенный металлический резервуар, плоское дно которого имело сотни тысяч тончайших микроскопических отверстий. Через отверстия вязкая жидкость продавливалась под боль-

шим давлением тончайшими струйками, которые под действием воздуха затвердевали уже в нескольких сантиметрах и превращались в прочные паутинные волокна. Десятки тысяч механических веретен подхватывали эти волокна, скручивали их десятками в нити различной толщины и плотности и тянули их дальше, передавая готовую «пряжу» в следующее ткацкое отделение. Там на ткацких станках нити переплетались в различные ткани, от самых нежных, как кисея и батист, до самых плотных, как сукно и войлок, которые бесконечными широкими лентами тянулись еще дальше, в мастерскую кройки. Здесь их подхватывали новые машины, тщательно складывали во много слоев и вырезали из них тысячами заранее намеченные и размеренные по чертежам разнообразные выкройки отдельных частей костюма.

В швейной мастерской скроенные куски сшивались в готовое платье, но без всяких иголок, ниток и швейных машин. Ровно сложенные края кусков размягчались посредством особого химического растворителя, приходя в прежнее полужидкое состояние, и когда растворяющее вещество, очень летучее, через минуту испарялось, то куски материи оказывались прочно спаянными, лучше, чем это могло быть сделано каким бы то ни было швом. Одновременно с этим впаивались везде, где требовалось, и застежки, так что получались готовые части костюма — несколько тысяч образцов, различных по форме и размеру.

На каждый возраст имелось несколько сотен образцов, из которых на всякого желающего почти всегда можно было выбрать вполне подходящий, тем более что одежда у марсиан обыкновенно очень свободная. Если подходящего найти не удавалось, например вследствие не вполне нормального сложения, то немедленно снимали особую мерку, устанавливали машину для кройки

по новым чертежам и «шили» специально на данное лицо, что требовало какого-нибудь часа времени.

Что касается цвета костюма, то большинство марсиан удовлетворяется обычными оттенками, темными и мягкими, в каких готовится самая материя. Если же требуется иной цвет, кроме того, какой оказался налицо, то костюм отправляют в красильное отделение, где в несколько минут при помощи электрохимических приемов он приобретает желательную окраску, идеально ровную и идеально прочную.

Из таких же тканей, только гораздо более плотных и прочных, и приблизительно такими же способами готовится обувь и теплая зимняя одежда. Наша фабрика этим не занималась, но другие, еще более крупные, производили сразу решительно все, что нужно, чтобы одеть человека с головы до ног.

Я работал поочередно во всех отделениях фабрики и вначале очень увлекался своей работой. Особенно интересно было заниматься в отделении кройки, где мне приходилось применять на деле новые для меня способы математического анализа. Задача состояла в том, чтобы из данного куска материи с наименьшей потерей материала выкраивать все части костюма. Задача, конечно, очень прозаичная, но и очень серьезная; потому что даже минимальная ошибка, повторенная много миллионов раз, давала громадную потерю. И достигать успешного решения мне удавалось «не хуже» других.

Работать «не хуже» других — к этому я стремился всеми силами и в общем не без успеха. Но я не мог не заметить, что мне это стоит гораздо больших усилий, чем остальным работникам. После обычных 4–6 (по земному счету) часов труда я бывал сильно утомлен, и мне нужен был немедленный отдых, тогда как прочие отправлялись по музеям, библиотекам, лаборато-

рям или на другие фабрики наблюдать производство, а иногда даже там еще работать...

Я надеялся, что придет привычка к новым видам труда и сравниет меня со всеми работниками. Но этого не было. Я все более убеждался, что у меня не хватает *культуры внимания*. Физических движений требовалось очень мало, и по их быстроте и ловкости я не уступал, даже превосходил многих. Но требовалось такое непрерывное и напряженное внимание при наблюдении за машинами и материалом, которое было очень тяжело для моего мозга: очевидно, только в ряде нескольких поколений могла развиться эта способность до той степени, какая здесь являлась обычной и средней.

Когда — обыкновенно к концу моей дневной работы — в ней начинало уже сказываться утомление и внимание мне начинало изменять, я делал ошибку или замедлял на секунду выполнение какого-нибудь акта работы, тогда неминуемо и безошибочно рука кого-нибудь из соседей поправляла дело.

Меня не только удивляла, но порой прямо возмущала их странная способность, ни на йоту не отрываясь от своего дела, замечать все происходящее вокруг. Их заботливость не столько трогала меня, сколько вызывала во мне досаду и раздражение; у меня являлось такое чувство, как будто все они постоянно следят за моими действиями... Это беспокойное настроение увеличивало еще более мою рассеянность и портило мою работу.

Теперь, спустя долгое время, когда я тщательно и уже беспристрастно вспоминаю все обстоятельства, я нахожу, что все это воспринималось неверно. Совершенно с такой же заботливостью и совершенно таким же образом — может быть, только менее часто — мои товарищи на фабрике помогали и друг другу. Я не был

предметом какого-нибудь исключительного надзора и контроля, как мне тогда казалось. Я сам — человек индивидуалистического мира — невольно и бессознательно выделял себя из остальных и болезненно воспринимал их доброту и товарищеские услуги, за которые, как это казалось мне, человеку товарного мира, мне нечем было заплатить.

IV. Энно

Миновала и долгая осень; зима, малоснежная, но холодная, воцарилась в нашей области — в средних широтах северного полушария. Маленькое солнце совсем не грело и светило меньше прежнего. Природа сбросила яркие краски, стала бледной и суровой. Холод заползал в сердце, сомнения росли в душе, и нравственное одиночество пришельца из другого мира становилось все более мучительным.

Я отправился к Энно, с которой давно уже не виделся. Она встретила меня как близкого и родного человека, — точно яркий луч недалекого прошлого прорезал холод зимы и сумрак заботы. Потом я заметил, что она и сама была бледна и как будто утомлена или измучена чем-то; была какая-то скрытая печаль в ее манерах и разговоре. Нам было о чем говорить между собою, и несколько часов прошли для меня незаметно и хорошо, как не бывало с самого отъезда Нэтти.

Когда я встал, чтобы отправиться домой, нам обоим стало грустно.

— Если ваша работа не приковывает вас здесь, то поедem со мною, — сказал я.

Энно сразу согласилась, взяла с собой работу — она в это время занималась не наблюдением на обсерватории, а проверкой огромного запаса вычислений, —

и мы поехали в химический городок, где я жил один в квартире Мэнни. По утрам я каждый день путешествовал на свою фабрику, находившуюся в сотне километров, т. е. в получасе пути оттуда, а долгие зимние вечера мы с Энно стали теперь проводить вместе в научных занятиях, разговорах и иногда прогулках по окрестностям.

Энно рассказала мне свою историю. Она любила Мэнни и была раньше его женой. Ей страстно хотелось иметь от него ребенка, но проходил год за годом, а ребенка не было. Тогда она обратилась к Нэтти за советом. Нэтти самым внимательным образом выяснила все обстоятельства и пришла к категорическому выводу, что детей никогда не будет. Мэнни слишком поздно сложился из мальчика в мужчину и слишком рано стал жить самой напряженной жизнью ученого и мыслителя. Активность его мозга своим чрезмерным развитием подорвала и подавила жизненность элементов размножения с самого начала; и это было непоправимо.

Приговор Нэтти был страшным ударом для Энно, у которой любовь к гениальному человеку и глубокий материнский инстинкт слились в одном страстном стремлении, оказавшемся вдруг безнадежным.

Но это было не все; исследование привело Нэтти еще к другому результату. Оказалось, что для гигантской умственной работы Мэнни, для полноты развития его гениальных способностей было нужно как можно больше физической сдержанности, как можно меньше любовных ласк. Энно не могла не последовать этому совету и быстро убедилась, насколько он был справедлив и разумен. Мэнни оживился, стал работать энергичнее, чем когда-либо, новые планы с необыкновенной быстротой зарождались в его голове и выполнялись

особенно успешно, и, по-видимому, он несколько не чувствовал лишения. Тогда Энно, для которой ее любовь была дороже жизни, но гений любимого человека дороже любви, сделала все выводы из того, что узнала.

Она разошлась с Мэнни; это вначале его огорчило, но потом он быстро примирился с фактом. Истинная причина разрыва осталась для него, может быть, даже неизвестной: Энно и Нэтти сохраняли ее в тайне; хотя, конечно, нельзя было знать наверное, не угадал ли проницательный ум Мэнни скрытую подкладку событий. А для Энно жизнь оказалась настолько опустошенной, подавленное чувство создавало такие страдания, что спустя короткое время молодая женщина решила умереть.

Чтобы помешать самоубийству, Нэтти, к содействию которой обратилась Энно, под разными предлогами затянула на день его выполнение, а сама известила Мэнни. Тот в это время организовывал экспедицию на Землю и тотчас прислал Энно приглашение принять участие в этом важном и опасном предприятии. Уклониться было трудно. Энно приняла предложение. Масса новых впечатлений помогла ей справиться с душевною болью; и ко времени возвращения на Марс она успела уже овладеть собою настолько, что могла принять на себя вид веселого мальчика-поэта, которого я знал на этеронефе.

В новую экспедицию Энно не поехала потому, что боялась вновь слишком привыкнуть к присутствию Мэнни. Но тревога за его судьбу не покидала ее, пока она оставалась в одиночестве: она слишком хорошо знала опасности предприятия. В долгие зимние вечера наши мысли и разговоры постоянно возвращались к одной и той же точке вселенной: туда, где под лучами огромного солнца, под дыханием палящего ветра са-

мые близкие для нас обоих существа с лихорадочной энергией вели свою титанически смелую работу. Нас глубоко сближало это единство мысли и настроения. Энно была для меня более чем сестрою.

Как-то само собою, без порыва и без борьбы, наше сближение привело нас к любовным отношениям. Неизменно кроткая и добрая Энно не уклонялась от этой близости, хотя и не стремилась к ней сама. Она только решила не иметь от меня детей... Был оттенок мягкой грусти в ее ласках — ласках нежной дружбы, которая все позволяет...

А зима по-прежнему простирала над нами свои холодные, бледные крылья — долгая марсианская зима без оттепелей, бурь и метелей, спокойная и неподвижная, как смерть. И у нас обоих не было желания лететь на юг, где в это время грело солнце и полная жизни природа развертывала свою яркую одежду. Энно не хотелось той природы, слишком мало гармонизировавшей с ее настроением; я же избегал новых людей и новой обстановки, потому что знакомиться и привыкать к ним требовало нового, лишнего труда и утомления, а я и без того слишком медленно шел к своей цели. Призрачно-странной была наша дружба-любовь в царстве зимы, заботы, ожидания...

V. У Нэллы

Энно еще в ранней юности была самой близкой подругой Нэтти и много рассказывала мне о ней. В одном из наших разговоров мой слух поразило такое сочетание имен Нэтти и Стэрни, которое показалось мне странным. Когда я задал прямой вопрос, Энно сначала задумалась и как будто даже смутилась и затем ответила:

— Нэтти была раньше женой Стэрни. Если она этого вам не сказала, значит, и мне не следовало говорить. Я сделала, очевидно, ошибку, и дальше вы меня не расспрашивайте об этом.

Я был как-то странно потрясен тем, что услышал... Как будто не было ничего нового... Я никогда не предполагал, что я первый муж Нэтти. Было бы нелепостью думать, что женщина, полная жизни и здоровья, красивая телом и душой, дитя свободной высококультурной расы, могла без любви прожить до нашей встречи. Чем же вызвано было мое непонятно-ошеломленное состояние? Я не мог рассуждать об этом, я чувствовал только одно, что мне надо знать все, знать точно и ясно. Но допрашивать Энно, очевидно, было невозможно. Я вспомнил о Нэлле.

Нэтти, уезжая, говорила: «Не забывай о Нэлле, иди к ней в трудную минуту!» И я не раз уже думал о том, как бы повидаться с ней; но мешала отчасти работа, отчасти какой-то смутный страх перед сотнями любопытных детских глазок, которые ее окружали. Но теперь всякая нерешительность исчезла, и я в тот же день был в «доме детей», в Большом Городе Машин.

Нэлла тотчас бросила работу, которой была занята, и, попросив другую воспитательницу заменить себя, провела меня в свою комнату, где дети не могли мешать нам.

Я решил не говорить ей сразу о цели моего посещения, тем более что мне самому эта цель не казалась ни особенно разумной, ни особенно благородной. Было как нельзя более естественно, что я завел разговор о самом близком для нас обоих человеке; а затем оставалось ожидать подходящего момента для моего вопроса. Нэлла много и с увлечением рассказывала мне о Нэтти, об ее детстве и юности.

Первые годы своей жизни Нэтти провела при матери, как в большинстве случаев и бывает у марсиан. Затем, когда надо было отдать Нэтти в «дом детей», чтобы не лишать ее воспитательного влияния детского общества, Нэлла не могла уже с нею расстаться и сначала временно поселилась в этом же доме, а потом навсегда осталась там воспитательницей. Это подходило и к ее научной специальности: она занималась главным образом психологией.

Нэтти была живым, энергичным, порывистым ребенком, с большой жадой знаний и деятельности. Особенно интересовал и привлекал ее таинственный астрономический мир за пределами планеты. Земля, которой тогда еще не удавалось достигнуть, и ее невидимые люди были любимой мечтой Нэтти, любимым сюжетом ее разговоров с другими детьми и с воспитателями.

Когда был опубликован отчет о первой удачной экспедиции Мэнни на Землю, девочка чуть не сошла с ума от радости и восхищения. Доклад Мэнни она запомнила от слова до слова и поэтому замучила Нэллу и воспитателей требованиями объяснять ей каждый непонятный термин этого доклада. Она влюбилась в Мэнни заочно и написала ему восторженное письмо; в этом письме она, между прочим, умоляла его привезти с Земли ребенка, которого некому воспитывать; она бралась воспитать его самым лучшим образом. Она увешала всю свою комнату земными видами и портретами земных людей и стала изучать словари земных языков, как только они появились в печати. Она негодовала на насилие, которое Мэнни и его спутники применили к первому встреченному ими земному человеку: они взяли его в плен, чтобы он помог им познакомиться с земными языками; и в то же время

она горячо сожалела, что, уезжая обратно, они отпустили его на свободу, а не привезли с собой на Марс. Она твердо решила когда-нибудь поехать на Землю и в ответ на шутку матери, что там она выйдет замуж за земного человека, подумавши, заявила: «Очень может быть!»

Всего этого сама Нэтти никогда не рассказывала мне; в своих разговорах она вообще избегала касаться прошлого. И конечно, никто, даже она сама, не мог бы рассказать этого лучше Нэллы. Как ярко сияла материнская любовь в описаниях Нэллы! Минутами я совсем забывался и как живую видел перед собою чудную девочку с горящими большими глазами и с загадочным влечением к далекому, далекому миру... Но это быстро проходило: возвращалось сознание окружающего и воспоминание о цели разговора, и вновь становилось холодно на душе.

Наконец, когда разговор перешел к более поздним годам жизни Нэтти, я решился спросить с возможно спокойным и непринужденным видом, как возникли отношения Нэтти и Стэрни. Нэлла задумалась на минуту.

— А, вот что! — сказала она. — Так вы явились ко мне из-за этого... Почему же вы не сказали мне этого прямо?

Непривычная строгость звучала в ее голосе. Я молчал.

— Разумеется, я могу рассказать вам это, — продолжала она. — Это очень несложная история. Стэрни был один из учителей Нэтти, он читал молодежи лекции по математике и астрономии. Когда он вернулся из своей первой поездки на Землю — то была, кажется, вторая экспедиция Мэнни, — он выступил с целым рядом докладов об этой планете и ее обитателях. При этом Нэтти была его постоянной слу-

шательницей. Особенно сблизило их то терпение и внимание, с которым он относился к ее бесконечным расспросам. Сближение привело к браку. Тут было своего рода полярное тяготение двух очень несходных, во многом противоположных натур. Впоследствии то же самое несходство, проявляясь более постоянно и во всей полноте в их совместной жизни, привело к охлаждению и к разрыву. Вот и все.

— Скажите, когда совершился этот разрыв?

— Окончательно — после смерти Летта. Собственно, уже сближение Нэтти и Летта было началом этого разрыва. Нэтти становилось не по себе от аналитически холодного ума Стэрни; он слишком систематично и упорно разрушал все воздушные замки, все фантазии ума и чувства, которыми она так много и так сильно жила. Она невольно стала искать человека, который относился бы ко всему этому иначе. А у старого Летта было на редкость отзывчивое сердце и много полудетского энтузиазма. Нэтти нашла в нем такого товарища, какого ей было надо: он не только умел терпеливо относиться к порывам ее воображения, но нередко и сам увлекался вместе с нею. У него она отдыхала душой от суровой, все замораживающей критики Стэрни. Он, как и она, любил Землю мечтой и фантазией, верил в будущий союз двух миров, который принесет с собою великий расцвет и великую поэзию жизни. И когда она узнала, что человек с таким сокровищем чувства в душе никогда не знал женской любви и ласки, она не могла с этим примириться. Так возникла ее вторая связь.

— Одну минуту, — перебил я. — Правильно ли я вас понял? Вы говорите, что она была женой Летта?

— Да. Вам это непонятно?

— Нет, я понимаю вас. Я только не знал этого.

В эту минуту нас прервали. С кем-то из детей случился нервный припадок, и Нэллу экстренно вызвали к нему. На несколько минут я остался один. Голова у меня слегка кружилась, я чувствовал себя так странно, что никакими словами нельзя было описать моего состояния. В чем дело? Не было ничего особенного. Нэтти была свободным человеком и вела себя как свободный человек. Летта был ее мужем? Я всегда уважал его и чувствовал бы к нему горячую симпатию, даже если бы он не пожертвовал за меня своею жизнью. Нэтти была женою двух своих товарищей одновременно? Но я всегда считал то, что единобрачие в нашей среде вытекает только из наших экономических условий, ограничивающих и опутывающих человека на каждом шагу; здесь же этих условий не было, а были иные, не создающие никаких стеснений для личного чувства и личных связей. Откуда же мое тревожное недоумение, и непонятная боль, от которой мне хочется не то вскрикнуть, не то засмеяться? Или я не умею *чувствовать* так, как *думаю*? Кажется, да. А мои отношения с Энно? Где же моя логика? И что же такое я сам? Какое нелепое состояние! Ах, да, еще вот что... Почему Нэтти не говорила мне всего этого? И сколько еще тайн и обманов вокруг меня? И сколько их ожидать в будущем? Опять неправда! Тайна — да, это верно. Но обмана тут не было. А разве в этом случае тайна не обман?..

Эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, когда дверь отворилась и в комнату опять вошла Нэлла. Она, очевидно, прочитала на моем лице, насколько мне было тяжело, потому что в ее тоне, когда она ко мне обратилась, уже не было прежней сухости и суровости.

— Конечно, — сказала она, — нелегко привыкать к совершенно чуждым жизненным отношениям и к обычаям другого мира, с которым не имеешь кровной

связи. Вы преодолели уже много препятствий, справитесь и с этим. Нэтти в вас верит, и я думаю, что она права. А разве ваша вера в нее поколебалась?

— Отчего она скрывала все это от меня? Где тут ее вера? Я не могу ее понять.

— Почему она так поступила, я этого не знаю. Но я знаю, что она должна была иметь для этого серьезные и хорошие, а не мелкие мотивы. Может быть, их объяснит вам это письмо. Она мне оставила его для вас на случай именно такого разговора, какой сейчас был между нами.

Письмо было написано на моем родном языке, который так хорошо изучила моя Нэтти. Вот что я там прочитал:

«Мой Лэнни! Я ни разу не говорила с тобой о моих прежних личных связях, но это было не потому, что я хотела скрывать от тебя что бы то ни было из моей жизни. Я глубоко доверяю твоей ясной голове и твоему благородному сердцу; я не сомневаюсь, что, как бы ни были чужды и непривычны для тебя некоторые из наших жизненных отношений, ты в конце концов всегда сумеешь верно понять и справедливо оценить их.

Но я боялась одного... После болезни ты быстро накапливал силы для работы, но то душевное равновесие, от которого зависит самообладание в словах и поступках во всякую минуту и при всяком впечатлении, еще не вполне к тебе вернулось. Если бы под влиянием момента и стихийных сил прошлого, всегда таящихся в глубине человеческой души, ты хоть на секунду обнаружил ко мне, как женщине, то нехорошее, возникшее из насилия и рабства отношение, которое господствует в старом мире, ты никогда не простил бы себе этого. Да, дорогой мой, я знаю, ты строг, часто

даже жесток к самому себе, — ты вынес эту черту из вашей суровой школы вечной борьбы земного мира, и одна секунда дурного, болезненного порыва навсегда осталась бы для тебя темным пятном на нашей любви.

Мой Лэнни, я хочу и могу тебя успокоить. Пусть спит и никогда не просыпается в душе твоей злое чувство, которое с любовью к человеку связывает беспокойство за живую собственность. У меня не будет других личных связей. Я могу легко и уверенно обещать тебе это, потому что перед моей любовью к тебе, перед страстным желанием помочь тебе в твоей великой жизненной задаче все остальное становится так мелко и ничтожно. Я люблю тебя не только как жена, я люблю тебя как мать, которая ведет своего ребенка в новую и чуждую ему жизнь, полную усилий и опасностей. Эта любовь сильнее и глубже всякой другой, какая может быть у человека к человеку. И потому в моем обещании нет жертвы.

До свиданья, мое дорогое, любимое дитя.

Твоя Нэтти».

Когда я дочитал письмо, Нэлла вопросительно посмотрела на меня.

— Вы были правы, — сказал я и поцеловал ее руку.

VI. В поисках

От этого эпизода у меня осталось в душе чувство глубокого унижения. Еще болезненнее, чем прежде, я стал воспринимать превосходство надо мной окружающих и на фабрике и во всех других сношениях с марсианами. Несомненно, я даже преувеличивал это превосходство и свою слабость. В доброжелательстве и заботливости их обо мне я начинал видеть оттенок

полупрезрительной снисходительности, в их осторожной сдержанности — скрытое отвращение к низшему существу. Точность восприятия и верность оценки все более нарушались в этом направлении.

Во всех других отношениях мысль оставалась ясной, и теперь она особенно сильно работала над заполнением пробелов, связанных с отъездом Нэтти. Больше, чем прежде, я был убежден, что для участия Нэтти в этой экспедиции существовали еще неизвестные мне мотивы, более сильные и более важные, чем те, которые приводились для меня. Новое доказательство любви Нэтти и того громадного значения, которое она придавала моей миссии в деле сближения двух миров, было новым подтверждением того, что без исключительных причин она не решилась бы покинуть меня надолго среди глубин и мелей и подводных камней океана чуждой мне жизни, лучше и яснее меня самого понимая своим умом, какие опасности тут угрожали. Было что-то, чего я не знал, но был убежден, что оно имело ко мне какое-то серьезное отношение; и надо было выяснить это что-то во что бы то ни стало.

Я решил добраться до истины путем систематического исследования. Припоминая некоторые случайные и невольные намеки Нэтти, беспокойное выражение, которое я очень задолго улавливал на ее лице, когда при мне заходила речь о колониальных экспедициях, я пришел к заключению, что Нэтти решилась на эту разлуку не тогда, когда об этом мне сказала, а очень давно, не позже первых дней нашего брака. Значит, и причины надо искать около этого времени. Но где их искать?

Они могли быть связаны либо с личными делами Нэтти, либо с происхождением, характером, значением самой этой экспедиции. Первое после письма Нэтти

представлялось наименее вероятным. Следовательно, прежде всего надо было направить розыски по второму направлению и начать с того, чтобы вполне выяснить историю происхождения экспедиции.

Само собой разумеется, что экспедиция была решена «колониальной группой» — так называлось собрание работников, активно участвующих в организации междупланетных путешествий, вместе с представителями от центральной статистики и от тех заводов, которые делают этеронефы и вообще доставляют необходимые средства для этих путешествий. Я знал, что последний съезд этой «колониальной группы» был как раз во время моей болезни. Мэнни и Нэтти участвовали там. Так как я тогда уже выздоравливал и мне было скучно без Нэтти, то я хотел быть тоже на этом съезде, но Нэтти сказала, что это опасно для моего здоровья. Не зависела ли «опасность» от чего-нибудь такого, чего мне не следовало знать? Очевидно, требовалось достать точные протоколы съезда и прочитать все, что могло относиться к данному вопросу.

Но тут встретились затруднения. В колониальной библиотеке мне дали только собрание решений съезда. В решениях была превосходно намечена, почти до мелочей, вся организация грандиозного предприятия на Венере, но не было ничего такого, что специально меня теперь интересовало. Это никоим образом для меня не исчерпывало вопроса. Решения при всей их обстоятельности были изложены без всякой мотивировки, без всяких указаний на все обсуждение, которое им предшествовало. Когда я сказал библиотекарю, что мне нужны самые протоколы, он мне объяснил, что протоколы не опубликованы и что подобных протоколов вообще не велось, как обыкновенно и делается при технически-деловых собраниях.

На первый взгляд это казалось правдоподобным. Марсиане действительно чаще всего публикуют только *решения* своих технических съездов, находя, что всякое разумное и полезное *мнение*, высказанное там, либо найдет себе отражение в принятой резолюции, либо гораздо лучше и обстоятельнее, чем в короткой речи, будет выяснено автором в особой статье, брошюре, книге, если сам автор находит его важным. Марсиане вообще не любят чрезмерно размножать литературу, и ничего подобного нашим многотомным «трудам комиссий» у них найти нельзя: все сжимается до наименьшего возможного объема. Но в данном случае я не поверил библиотекарю. Слишком крупные и важные вещи решались на съезде, чтобы можно было так отнестись к их обсуждению, как к обычным дебатам по какому-нибудь обычному техническому вопросу.

Я, однако, постарался скрыть свое недоверие и, чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, покорно углубился в изучение того, что мне дали, в действительности же тем временем обдумывал план дальнейших действий. Было очевидно, что в книжной библиотеке я не получу того, что мне надо: протоколов либо в самом деле не было, либо предупрежденный моим вопросом библиотекарь искусно спрятал их от меня. Оставалось другое — фонографическое отделение библиотеки.

Там протоколы могли найтись даже в том случае, если не были изданы в печати. Фонограф часто заменяет у марсиан стенографию, и в их архивах хранятся многие неизданные фонограммы различных общественных собраний.

Я выбрал момент, когда книжный библиотекарь был сильно поглощен работой, и незаметно для него прошел в фонографический отдел. Там я спросил у дежурного товарища большой каталог фонограмм. Он

дал мне его. По каталогу я быстро нашел номера фонограмм интересующего меня съезда и, делая вид, что не хочу беспокоить доставанием их дежурного товарища, отправился сам разыскивать их. Это мне также легко удалось.

Всех фонограмм было пятнадцать, по числу заседаний съезда. При каждой, как обыкновенно у марсиан делается, было приложено писаное оглавление. Я быстро пересмотрел их.

Первые пять заседаний оказались посвященными всецело докладам об экспедициях, устроенных после предыдущего съезда, и новых усовершенствованиях в технике этеронефов.

В заголовке шестой фонограммы значилось:

«Предложение центральной статистики о переходе к массовой колонизации. Выбор планеты — Земля и Венера. Речи и предложения Стэрни, Нэтти, Мэнни и других. Предварительное решение в пользу Венеры».

Я почувствовал, что это то самое, что искал. Я вставил фонограмму в аппарат. То, что я услышал, навсегда врезалось мне в душу. Вот что там было.

Шестое заседание открыл Мэнни, председатель конгресса. Первым взял слово для доклада представитель Центральной Статистики.

Он посредством ряда точных цифр доказал, что при данном росте населения и прогрессе его потребностей, если марсиане будут ограничиваться эксплуатацией всей планеты, то через тридцать лет начнется недостаток в средствах питания. Помешать этому могло бы открытие технически легкого синтеза белков из неорганической материи, но никоим образом нельзя ручаться, что за тридцать лет этого удастся достигнуть. Поэтому совершенно необходимо, чтобы колониальная группа от простых научных экскурсий на другие пла-

неты перешла к делу организации настоящего массового переселения туда марсиан. Налицо имеются две доступные для марсиан планеты с громадными естественными богатствами. Надо немедленно же решить, какую из них сделать для начала центром колонизации, и затем приступить к выработке плана.

Мэнни спрашивает, есть ли желающие возразить по существу против предложения Центральной Статистики или против его мотивировки. Желающих не оказывается.

Тогда Мэнни ставит на обсуждение вопрос о том, какую планету выбрать в первую очередь в деле массовой колонизации.

Слово берет Стэрни.

VII. Стэрни

— Первый вопрос, поставленный нам представителем Центральной Статистики, — так начал Стэрни своим обычным, математически-деловым тоном, — вопрос о выборе планеты для колонизации, на мой взгляд, не нуждается в решении, потому что решен давно, решен самой действительностью. Выбирать не из чего. Из двух доступных нам теперь планет только одна вообще пригодна для массовой колонизации. Это Земля. О Венере существует большая литература, с которой все вы, конечно, знакомы. Вывод из всех собранных в ней данных возможен только один: овладеть Венерой мы *теперь* не можем. Ее жгучее солнце истомит и обессилит наших колонистов, ее страшные грозы и бури разрушат наши постройки, разметут в пространстве наши аэропланы и разобьют их об исполинские горы. С ее чудовищами мы могли бы еще справиться, хотя и ценою немалых жертв; но ее бактериальный

мир, страшно богатый формами, известен нам лишь в ничтожной степени, — а сколько новых болезней для нас скрывает он в себе? Ее вулканические силы еще находятся в беспокойном брожении; сколько неожиданных землетрясений, извержений лавы, океанических наводнений они нам обещают? Разумные существа не должны предпринимать невозможного. Попытка колонизовать Венеру дала бы нам бесчисленные, но и бесполезные жертвы, не жертвы науки и общего счастья, а жертвы безумия и мечты. Этот вопрос, мне кажется, ясен, и уже один доклад последней экспедиции на Венеру вряд ли в ком-нибудь мог оставить какие бы то ни было сомнения.

Таким образом, если дело идет вообще о массовом переселении, то, конечно, только о переселении на Землю. Тут препятствия со стороны природы ничтожны, ее богатства неисчислимы, — они в восемь раз превосходят то, что дает наша планета. Самое дело колонизации хорошо подготовлено уже существующей на Земле, хотя и невысокой культурой. Все это, разумеется, известно и Центральной Статистике. Если она предлагает нам вопрос о выборе, а мы находим нужным его обсуждать, то исключительно по той причине, что Земля представляет нам одно очень серьезное препятствие. Это ее человечество.

Люди Земли владеют ею, и ни в каком случае они ее добровольно не уступят, не уступят сколько-нибудь значительной доли ее поверхности. Это вытекает из всего характера их культуры. Ее основа есть собственность, огражденная организованным населением. Хотя даже самые цивилизованные племена Земли эксплуатируют на деле только ничтожную часть доступных им сил природы, но стремление к захвату новых территорий у них никогда не ослабевает. Систематиче-

ское ограбление земель и имущества менее культурных племен носит у них название колониальной политики и рассматривается как одна из главных задач их государственной жизни. Можно себе представить, как отнесутся они к естественному и разумному предложению с нашей стороны — уступить нам часть их материков, взамен чего мы научили бы их и помогли бы им несравненно лучше пользоваться остальной частью... Для них колонизация — это вопрос только грубой силы и насилия; и хотим мы или не хотим, они *заставят* нас принять по отношению к ним эту точку зрения.

Если бы при этом дело шло только о том, чтобы один раз доказать им перевес нашей силы, это было бы сравнительно просто и потребовало бы не больше жертв, чем любая из их обычных бессмысленных и бесполезных войн. Существующие у них большие стада дрессированных для убийства людей, называемых армиями, послужили бы самым подходящим материалом для такого необходимого насилия. Любой из наших этеронефов мог бы посредством потока губительных лучей, возникающих при ускоренном разложении радия, уничтожить в несколько минут одно-два таких стада, и это было бы скорее полезно, чем вредно даже для их культуры. Но, к сожалению, дело не так просто, а главные трудности только начались бы с этого момента.

В вечной борьбе между племенами Земли у них сложилась психологическая особенность, называемая патриотизмом. Это неопределенное, но сильное и глубокое чувство включает в себе и злобное недоверие ко всем чуждым народам и расам, и стихийную привычку к своей общей жизненной обстановке, особенно к территории, с которой земные племена срастаются, как черепаха со своей оболочкой, и какое-то коллективное самомнение, и часто кажется, простую жажду

истребления, насилия, захватов. Патриотическое душевное состояние чрезвычайно усиливается и обостряется после военных поражений, особенно когда победители отнимают у побежденных часть территории; тогда патриотизм побежденных приобретает характер длительной и жестокой ненависти к победителям, и месть им становится жизненным идеалом всего племени, не только его худших элементов — «высших» или правящих, классов, но и лучших — его трудящихся масс.

И вот если бы мы взяли себе часть земной поверхности посредством необходимого насилия, то несомненно, что это повело бы к объединению всего земного человечества в одном чувстве земного патриотизма, в беспощадной расовой ненависти и злобе против наших колонистов; истребление пришельцев каким бы то ни было способом, вплоть до самых предательских, стало бы в глазах людей священным и благородным подвигом, дающим бессмертную славу. Существование наших колонистов сделалось бы совершенно невыносимым. Вы знаете, что разрушение жизни — дело вообще очень легкое, даже для нашей культуры; мы неизмеримо сильнее земных людей в случае открытой борьбы, но при неожиданных нападениях они могут убивать нас так же успешно, как обыкновенно делают это друг с другом. Надо к тому же заметить, что искусство истребления развито у них несравненно выше, чем все другие стороны их своеобразной культуры.

Жить вместе с ними и среди них было бы, конечно, прямо невозможно; это означало бы вечные заговоры и террор с их стороны, постоянное сознание неотвратимой опасности и бесчисленные жертвы для наших товарищей. Пришлось бы выселить их из всех занятых нами областей — выселить сразу десятки, может быть, сотни миллионов. При их общественном строе, не при-

знающем товарищеской взаимной поддержки, при их социальных отношениях, обуславливающих услуги и помощь уплатою денег, наконец, при их неуклюжих и лишенных гибкости способах производства, не допускающих достаточно быстрого расширения производительности и перераспределения продуктов труда, — эти миллионы выселенных нами людей были бы в громадном большинстве обречены на мучительную голодную смерть. А уцелевшее меньшинство образовало бы кадры ожесточенных, фанатичных агитаторов против нас среди всего остального человечества Земли.

Затем пришлось бы все-таки продолжать борьбу. Вся наша земная область должна была бы превратиться в непрерывно охраняемый военный лагерь. Страх дальнейших захватов с нашей стороны и великая расовая ненависть направили бы все силы земных племен на подготовку и организацию войн против нас. Если уже теперь их оружие гораздо совершеннее их орудий труда, то тогда прогресс истребительной техники пойдет у них еще несравненно быстрее. В то же время они будут отыскивать и подстерегать случаи для внезапного открытия войны, и если им это удастся, они несомненно нанесут нам большие возмездные потери, хотя бы дело и окончилось нашей победой. Кроме того, нет ничего невозможного и в том, что они каким-нибудь способом узнают устройство нашего главного оружия. Радирующая материя им уже известна, а метод ускоренного ее разложения может быть либо разведан ими каким-нибудь способом у нас, либо даже самостоятельно открыт их учеными. Но вы знаете, что при таком оружии тот, кто на несколько минут предупреждает противника своим нападением, тот неизбежно его уничтожает; и разрушить высшую жизнь в этом случае так же легко, как самую элементарную.

Каково же было бы существование наших товарищей среди этих опасностей и этого вечного ожидания? Были бы отравлены не только все радости жизни, но и самый тип ее скоро был бы извращен и принижен. В нее мало-помалу проникли бы подозрительность, мстительность, эгоистичная жажда самосохранения и неразрывно связанная с нею жестокость. Эта колония перестала бы быть нашей колонией, превратившись в военную республику среди побежденных, неизменно враждебных племен. Повторяющиеся нападения с их жертвами не только порождали бы чувство мести и злобы, искажающее дорогой нам образ человека, но и объективно вынуждали бы к переходу из самозащиты в беспощадное наступление. И в конце концов после долгих колебаний и бесплодной мучительной растраты сил дело пришло бы неизбежно к той постановке вопроса, какую мы, существа сознательные и предвидящие ход событий, должны принять с самого начала: *колонизация Земли требует полного истребления земного человечества.*

(Среди сотен слушателей проносится ропот ужаса, из которого выделяется громкое негодующее восклицание Нэтти.) Когда тишина восстанавливается, Стэрни спокойно продолжает:

— Надо понять необходимость и твердо смотреть ей в глаза, как бы ни была она сурова. Нам предстоит одно из двух: либо остановка в развитии нашей жизни, либо уничтожение чуждой нам жизни на Земле. Ничего третьего нет перед нами. (Голос Нэтти: Неправда!) Я знаю, что имеет в виду Нэтти, протестуя против моих слов, и разберу сейчас ту третью возможность, которую она предлагает.

Это попытка немедленного социалистического перевоспитания земного человечества, план, к которому все мы еще недавно склонялись и от которого теперь,

по моему мнению, должны неизбежно отказаться. Мы достаточно уже знаем о людях Земли, чтобы понять всю неосуществимость этой идеи.

Уровень культуры передовых народов Земли приблизительно соответствует тому, на котором стояли наши предки в эпоху прорытия Больших каналов. Там также господствует капитализм и существует пролетариат, ведущий борьбу за социализм. Судя по этому, можно было думать, что недалек уже момент переворота, который устранил систему организованного насилия и создаст возможность свободного и быстрого развития человеческой жизни. Но у земного капитализма есть важные особенности, сильно изменяющие все дело.

С одной стороны, земной мир страшно раздроблен политическими и национальными делениями, так что борьба за социализм ведется не как единый цельный процесс в одном обширном обществе, а как целый ряд самостоятельных и своеобразных процессов в отдельных обществах, разъединенных государственной организацией, языком, иногда и расою. С другой стороны, формы социальной борьбы там гораздо грубее и механичнее, чем это было у нас, и несравненно большую роль в них играет прямое материальное насилие, воплощенное в постоянных армиях и вооруженных восстаниях.

Благодаря всему этому получается то, что вопрос о социальной революции становится очень неопределенным: предвидится не одна, а множество социальных революций, в разных странах в различное время, и даже во многом, вероятно, неодинакового характера, а главное — с сомнительным и неустойчивым исходом. Господствующие классы, опираясь на армию и высокую военную технику, в некоторых случаях могут нанести восставшему пролетариату такое истребительное поражение, которое в целых обширных государствах

на десятки лет отбросит назад дело борьбы за социализм; и примеры подобного рода уже бывали в летописях Земли. Затем отдельные передовые страны, в которых социализм восторжествует, будут как острова среди враждебного им капиталистического, а частью даже докапиталистического мира. Борясь за свое собственное господство, высшие классы несоциалистических стран направят все свои усилия, чтобы разрушить эти острова, будут постоянно организовывать на них военные нападения и найдут среди социалистических наций достаточно союзников, готовых на всякое правительство, из числа прежних собственников, крупных и мелких. Результат этих столкновений трудно предугадать. Но даже там, где социализм удержится и выйдет победителем, его характер будет глубоко и надолго искажен многими годами осадного положения, необходимого террора и военщины, с неизбежным последствием — варварским патриотизмом. Это будет далеко не наш социализм.

Задача нашего вмешательства должна была, по нашим прежним планам, заключаться в том, чтобы ускорить и помочь торжеству социализма. Каким способом для нас возможно это сделать? Во-первых, мы можем передать людям Земли нашу технику, нашу науку, наше умение господствовать над силами природы и тем самым настолько сразу поднять их культуру, что отсталые формы экономической и политической жизни окажутся в слишком резком противоречии с нею и падут в силу своей негодности. Во-вторых, мы можем прямо поддержать социалистический пролетариат в его революционной борьбе и помочь ему сломить сопротивление двух классов. Иных способов нет. Но эти два достигают ли своей цели? Мы теперь достаточно знаем, чтобы решительно ответить: нет!

К чему приведет сообщение земным людям наших технических знаний и методов?

Первыми захватят их в свою пользу и увеличат ими свою силу *господствующие* классы всех стран. Это неизбежно, потому что в их руках находятся все материальные средства труда и им служат девяносто девять сотых всех ученых и инженеров, — значит, им будет принадлежать вся *возможность применения* новой техники. И они воспользуются ею ровно настолько, насколько это будет для них выгодно и насколько это будет усиливать их власть над массами. Более того: те новые и могущественные средства истребления и разрушения, которые при этом попадут в их руки, они постараются немедленно пустить в ход для подавления социалистического пролетариата. Они удесятят его преследования и организуют широкую провокацию, чтобы поскорее вызвать его на открытый бой и в этом бою раздавить его сознательные и лучшие силы, идейно его обезглавить, пока он не успел, в свою очередь, овладеть новыми лучшими методами военного насилия. Таким образом, наше вмешательство послужит толчком для реакции сверху и в то же время даст ей оружие невиданной силы. В конечном итоге оно на целые десятки лет замедлит борьбу социализма.

А чего достигли бы мы попытками оказать прямую помощь социалистическому пролетариату против его врагов?

Предположим — это ведь еще не наверное, — что он примет союз с нами. Первые победы будут тогда одержаны легко. Но дальше? Неизбежное развитие среди всех других классов общества самого ожесточенного и бешеного патриотизма, направленного против нас и против социалистов Земли... Пролетариат все еще представляет меньшинство почти во всех, даже наиболее передовых

странах Земли; большинство образуют не успевшие разложиться остатки класса мелких собственников, массы наиболее невежественные и темные. Восстановить всех их до крайней степени против пролетариата будет тогда для крупных собственников и их ближайших прислужников — чиновников и ученых — очень легко, потому что эти массы, по своей сущности консервативные и даже частью реакционные, чрезвычайно болезненно воспринимают всякий быстрый прогресс. Передовой пролетариат, окруженный со всех сторон страшно озлобленными, беспощадными врагами, — к ним примкнут и обширные слои отсталых по развитию пролетариев, — окажется в таком же невыносимом положении, в каком оказались бы наши колонисты среди побежденных земных племен. Будут бесчисленные предательские нападения, погромы, резня, а главное, вся позиция пролетариата среди общества будет как нельзя более неблагоприятна для того, чтобы руководить преобразованием общества. И опять-таки наше вмешательство не приблизит, а замедлит социальный переворот.

Время этого переворота, таким образом, остается неопределенным, и не от нас зависит его ускорить. Во всяком случае, ждать его пришлось бы гораздо дольше, чем это для нас возможно. Уже через 30 лет у нас окажется 15–20 миллионов избыточного населения, а затем каждый год оно будет возрастать еще на 20–25 миллионов. Надо заранее произвести значительную колонизацию; иначе у нас не хватит сил и средств для того, чтобы сразу выполнить ее в необходимых размерах.

Кроме того, более чем сомнительно, чтобы нам удалось мирно столкнуться даже с социалистическими обществами Земли, если бы они неожиданно скоро образовались. Как я уже говорил, это будет во многом не наш социализм.

Века национального дробления, взаимного непонимания, грубой и кровавой борьбы не могли пройти даром, — они надолго оставят глубокие следы в психологии освобожденного земного человечества; и мы не знаем, сколько варварства и узости социалисты Земли принесут с собою в свое новое общество.

Перед нами налицо опыт, который позволяет судить, в какой мере далека от нас психология Земли даже в лучших ее представителях. Из последней экспедиции мы привезли с собою одного земного социалиста, человека, выдающегося в своей среде душевной силой и физическим здоровьем. И что же? Вся наша жизнь оказалась для него такой чуждой, в таком противоречии со всей его организацией, что прошло очень немного времени, и он уже болен глубоким психическим расстройством.

Таков один из лучших, которого выбрал среди многих сам Мэнни. Чего мы можем ожидать от остальных?

Итак, остается все та же дилемма: или приостановка нашего собственного размножения и с нею ослабление всего развития нашей жизни, или колонизация Земли, основанная на истреблении всего ее человечества.

Я говорю об истреблении всего ее человечества, потому что мы не можем даже сделать исключения для его социалистического авангарда. Нет, во-первых, никакой технической возможности среди всеобщего уничтожения выделить этот авангард среди остальных масс, незначительную долю которых он представляет. И, во-вторых, если бы нам удалось сохранить социалистов, они сами начали бы потом с нами ожесточенную, беспощадную войну, жертвуя в ней собою до полного истребления, потому что они никогда не могли бы примириться с убийством сотен миллионов людей, им подобных и с ними связанных многими, часто очень

тесными жизненными связями. В столкновениях двух миров здесь нет компромисса.

Мы должны выбирать. И я говорю: мы можем выбирать только одно.

Высшей жизнью нельзя жертвовать ради низшей. Среди земных людей не найдется и нескольких миллионов, сознательно стремящихся к действительно человеческому типу жизни. Ради этих зародышевых людей мы не можем отказаться от возможности зарождения и развития десятков, может быть, сотен миллионов существ нашего мира — людей в несравненно более полном значении этого слова. И не будет жестокости в наших действиях, потому что мы сумеем выполнить это истребление с гораздо меньшими страданиями для них, чем они сами постоянно причиняют друг другу.

Мировая жизнь едина. И для нее будет не потерей, а приобретением, если на Земле вместо ее еще далекого полуварварского социализма развернется теперь же *наш* социализм, жизнь несравненно более гармоничная в ее непрерывном, беспредельном развитии.

(После речи Стэрни наступает сначала глубокая тишина. Ее прерывает Мэнни, предлагая высказаться тем, кто держится противоположного взгляда. Слово берет Нэтти.)

VIII. Нэтти

— «Мировая жизнь едина» — это сказал Стэрни. И что же он предложил нам?

Уничтожить, навеки истребить целый своеобразный тип этой жизни, тип, которого потом мы никогда уже не можем ни восстановить, ни заменить.

Сотни миллионов лет жила прекрасная планета, жила своей, особенной жизнью, не такой, как другие...

И вот из ее могучих стихий стало организовываться сознание; поднимаясь в жестокой и трудной борьбе с низших ступеней на высшие, оно наконец приняло близкие, родные нам *человеческие* формы. Но эти формы не те, что у нас: в них отразилась и сосредоточилась история иной природы, иной борьбы; под ними скрыта иная стихийность, в них заключаются иные противоречия, иные возможности развития. Настала эпоха, когда впервые может осуществиться соединение двух великих линий жизни. Сколько нового многообразия, какая высшая гармония должна возникнуть из этого сочетания! И нам говорят: мировая жизнь едина, поэтому нам надо не объединять, а... разрушать ее.

Когда Стэрни указывал, насколько человечество Земли, его история, его нравы, его психология непохожи на наши, он опровергал свою идею почти лучше, чем я могу это сделать. Если бы они были совершенно похожи на нас во всем, кроме ступени развития, если бы они были тем, чем были наши предки в эпоху нашего капитализма, тогда со Стэрни можно было бы согласиться: низшей ступенью стоит пожертвовать ради высшей, слабыми ради сильных. Но земные люди не таковы, они не только ниже и слабее нас по культуре — они иные, чем мы, и потому, устраняя их, мы их не заместим в мировом развитии, мы только механически заполним собою ту пустоту, которую создадим в царстве форм жизни.

Не в варварстве, не в жестокости земной культуры заключается ее действительное различие от нашей. Варварство и жестокость — это только преходящие проявления той общей *расточительности* в процессе развития, которою отличается вся жизнь Земли. Там борьба за существование энергичнее и напряженнее, природа непрерывно создает гораздо больше форм,

но гораздо больше их и погибает жертвами развития. И это не может быть иначе, потому что от источника жизни — Солнца — Земля в целом получает лучистой энергии в восемь раз больше, чем наша планета. Оттого там рассеивается и разбрасывается так много жизни, оттого в разнообразии ее форм возникает так много противоречий и так мучительно сложен и полон крушений весь путь их примирения. В царстве растений и животных миллионы видов ожесточенно боролись и быстро вытесняли друг друга, участвуя своей жизнью и своей смертью в выработке новых, более законченных и гармоничных, более синтетических типов. Так было и в царстве человека.

Наша история, если ее сравнить с историей земного человечества, кажется удивительно простой, свободной от блужданий и правильной до схематичности. Спокойно и непрерывно происходило накопление элементов социализма, — исчезали мелкие собственники, поднимался со ступени на ступень пролетариат; все это происходило без колебаний и толчков, на всем протяжении планеты, объединенной в связное политическое целое. Велась борьба, но люди кое-как понимали друг друга; пролетариат не заглядывал далеко вперед, но и буржуазия не была утопична в своей реакционности; различные эпохи и общественные формации не перемешивались до такой степени, как это происходит на Земле, где в высококапиталистической стране возможна иногда феодальная реакция и многочисленное крестьянство, отстающее по своей культуре на целый исторический период, часто служит для высших классов орудием подавления пролетариата. Ровным и гладким путем мы пришли несколько поколений тому назад к такому общественному устройству, которое освобождает и объединяет все силы социального развития.

Не такова была дорога, по которой шли наши земные братья, — тернистая, с множеством поворотов и перерывов. Немногие из нас знают, и никто из нас не в силах себе ясно представить, до какого безумия было доведено искусство мучить людей у самых культурных народов Земли в идейных и политических организациях господства высших классов — в церкви и государстве. И что же в результате? Замедлилось развитие? Нет, мы не имеем основания утверждать этого, потому что первые стадии капитализма, до зарождения пролетарского социалистического сознания, протекли среди путаницы и жестокой борьбы различных формаций не медленнее, а быстрее, чем у нас, — в постепенных и более спокойных переходах. Но самая суровость и беспощадность борьбы породила в борцах такой подъем энергии и страсти, такую силу героизма и мученичества, каких не знала более умеренная и менее трагичная борьба наших предков. И в этом земной тип жизни людей не ниже, а выше нашего, хотя мы, старшие по культуре, стоим на гораздо более высокой ступени.

Земное человечество раздроблено, его отдельные расы и нации глубоко срослись со своими территориями, они говорят на разных языках, и глубокое непонимание друг друга проникает во все их жизненные отношения... Все это верно, и верно то, что общечеловеческое объединение, которое с великими трудностями пробивает себе дорогу через все эти границы, будет достигнуто нашими земными братьями сравнительно гораздо позже, чем нами. Это дробление возникло из обширности земного мира, богатства и разнообразия его природы. Оно ведет к возникновению множества различных точек зрения и оттенков в понимании вселенной. Разве все это ставит Землю и ее людей ниже, а не выше нашего мира в аналогичные эпохи его истории?

Даже механическое различие языков, на которых они говорят, во многом помогало развитию их мышления, освобождая понятие от грубой власти слов, которыми они выражаются. Сравните философию земных людей с философией наших капиталистических предков. Философия Земли не только разнообразнее, но и тоньше, не только исходит из более сложного материала, но в своих лучших школах и анализирует его глубже, вернее, устанавливая связь фактов и понятий. Конечно, всякая философия есть выражение слабости и разрозненности познания, недостаточности научного развития; это попытка дать единую картину бытия, заполняя предположениями пробелы научного опыта; поэтому философия будет устранена на Земле, как устранена уже у нас монизмом науки. Но посмотрите, сколько предложений философии, созданной их передовыми мыслителями и борцами, предупреждают в грубых чертах открытия нашей науки — такова почти вся общественная философия социалистов. Ясно, что племена, превзошедшие наших предков в творчестве философском, могут впоследствии превзойти нас самих в творчестве научном.

И Стэрни хочет измерять это человечество счетом праведников — сознательных социалистов, которых оно сейчас в себе заключает, — хочет судить его по его нынешним противоречиям, а не по тем силам, которыми порождены и в свое время будут разрешены эти противоречия. Он хочет осушить навеки этот бурный, но прекрасный океан жизни!

Твердо и решительно мы должны ему ответить: *никогда!*

Мы должны подготовить свой будущий союз с человечеством Земли. Мы не можем значительно ускорить его переход к свободному строю; но то небольшое, что мы

в силах сделать для этого, мы сделать должны. И если первого посланника Земли в нашей среде мы не сумели уберечь от ненужных страданий болезни, это не делает чести нам, а не им. К счастью, он скоро выздоровеет, и даже если в конце концов его убьет это слишком быстрое сближение с чуждой для него жизнью, он успеет сделать еще многое для будущего союза двух миров.

А наши собственные затруднения и опасности мы должны преодолеть на других путях. Надо направить новые научные силы на химию белковых веществ, надо готовить, насколько возможно, колонизацию Венеры. Если мы не успеем решить этих задач в короткий срок, который нам остался, надо временно сократить размножение. Какой разумный акушер не пожертвует жизнью родившегося младенца, чтобы сохранить жизнь женщины? Мы должны также, если это необходимо, пожертвовать частицей той нашей жизни, которой еще нет, для той, пока еще чужой жизни, которая есть и развивается. Союз миров бесконечно окупит эту жертву.

Единство жизни есть высшая цель, и любовь — высший разум!

(Глубокое молчание. Затем слово берет Мэнни.)

IX. Мэнни

— Я внимательно наблюдал настроение товарищей и вижу, что значительное большинство их на стороне Нэтти. Я очень рад этому, потому что приблизительно такова же и моя точка зрения. Прибавлю только одно практическое соображение, которое мне кажется очень важным. Существует серьезная опасность, что в настоящее время нам даже не хватило бы технических средств, если бы мы сделали попытку массовой колонизации других планет.

Мы можем построить десятки тысяч больших этероневов, и может оказаться, что их нечем будет привести в движение. Той радирующей материи, которая служит необходимым двигателем, нам придется тратить в сотни раз больше, чем до сих пор. А между тем все известные нам месторождения истощаются и новые открываются все реже и реже.

Надо не забывать, что радиоматерия нужна нам постоянно не только для того, чтобы давать этероневам их громадную скорость. Вы знаете, что вся наша техническая химия построена теперь на этих веществах. Их мы затрачиваем при производстве «минус-материи», без которой те же этероневы и наши бесчисленные аэропланы превращаются в негодные тяжелые ящики. Этим необходимым применением активной материи жертвовать не приходится.

Но всего хуже то, что единственная возможная замена колонизации — синтез белков — может оказаться неосуществимой из-за того же недостатка радирующих веществ. Технически легкий и удобный для фабричного производства синтез белков при громадной сложности их состава немыслим на пути старых методов синтеза, методов постепенного усложнения. На том пути, как вы знаете, уже несколько лет тому назад удалось получить искусственные белки, но в ничтожном количестве и с большими затратами энергии и времени, так что вся работа имеет лишь теоретическое значение. Массовое производство белков из неорганического материала возможно только посредством тех быстрых и резких изменений химических составов, какие достигаются у нас действием неустойчивых элементов на обыкновенную устойчивую материю. Чтобы добиться успеха в этом направлении, десяткам тысяч работников придется перейти специально на ис-

следования по синтезу белков и поставить миллионы разнообразнейших новых опытов. Для этого, а затем, в случаях успеха, для массового производства белков опять-таки необходимо будет затрачивать громадные количества активной материи, каких теперь нет в нашем распоряжении.

Таким образом, с какой точки зрения ни посмотреть, мы можем обеспечить себе успешное разрешение занимающего нас вопроса только в том случае, если найдем новые источники радиоэлементов. Но где их искать? Очевидно, на других планетах, то есть либо на Земле, либо на Венере; и для меня несомненно, что первую попытку следует сделать именно на Венере.

Относительно Земли можно *предполагать*, что там есть богатые запасы активных элементов. Относительно Венеры *это вполне установлено*. Земные месторождения нам неизвестны, потому что те, которые найдены земными учеными, к сожалению, ничего не стоят. Месторождения на Венере нами уже открыты с первых шагов нашей экспедиции. На Земле главные залежи расположены, по-видимому, так же, как и у нас, то есть глубоко под поверхностью. На Венере некоторые из них находятся так близко к поверхности, что их радиации были сразу обнаружены фотографическим путем. Если искать радий на Земле, то придется перерывать ее материи так, как мы это сделали на нашей планете; на это могут потребоваться десятки лет, и есть еще риск обмануться в ожиданиях. На Венере остается только добывать то, что уже найдено, и это можно сделать без всяких промедлений.

Поэтому, как бы мы ни решили впоследствии вопрос о массовой колонизации, теперь, чтобы гарантировать возможность этого решения, надо, по моему глубокому убеждению, немедленно произвести маленькую, может

быть, временную колонизацию Венеры, с единственной целью добывания активной материи.

Естественные препятствия, конечно, громадны, но нам вовсе не придется теперь преодолевать их полностью. Мы должны овладеть только маленьким клочком этой планеты. В сущности, дело сводится к большой экспедиции, которая должна будет пробыть там не месяцы, как прежние наши экспедиции, а целые годы, занимаясь добыванием радия. Придется, конечно, одновременно вести энергичную борьбу с природными условиями, ограждая себя от губительного климата, неизвестных болезней и других опасностей. Будут большие жертвы; возможно, что только малая часть экспедиции вернется назад. Но попытку сделать необходимо.

Наиболее подходящим местом для начала является, по многим данным, Остров Горячих Бурь. Я тщательно изучил его природу и составил подробный план организации всего дела. Если вы, товарищи, считаете возможным обсуждать его теперь, я немедленно изложу его вам.

(Никто не высказался против, и Мэнни переходит к изложению своего плана, причем обстоятельно рассматривает все технические детали. По окончании его речи выступают новые ораторы, но все они говорят исключительно по поводу его плана, разбирая частности. Некоторые выражают недоверие к успеху экспедиции, но все соглашаются, что попытаться надо. В заключение принимается резолюция, предложенная Мэнни.)

Х. Убийство

То глубокое ошеломление, в котором я находился, исключало всякую даже попытку собраться с мыслями. Я только чувствовал, как холодная боль железным кольцом сжимала мне сердце, и еще перед моим сознанием

с яростью галлюцинации выступала огромная фигура Стэрни с его неумолимо-спокойным лицом. Все остальное смешивалось и терялось в тяжелом, темном хаосе.

Как автомат, я вышел из библиотеки и сел в свою гондолу. Холодный ветер от быстрого полета заставил меня плотно закутаться в плащ, и это как будто внушило мне новую мысль, которая сразу застыла в сознании и сделалась несомненной: мне надо остаться одному. Когда я приехал домой, я немедленно привел ее в исполнение — все так же механично, как будто действовал не я, а кто-то другой.

Я написал руководящей фабричной коллегии, что на время ухожу от работы. Энно я сказал, что нам надо пока расстаться. Она тревожно-пытливо взглянула на меня и побледнела, но не сказала ни слова. Только потом, в самую минуту отъезда, она спросила, не желаю ли я видеть Нэллу. Я ответил: «Нет» — и поцеловал Энно в последний раз.

Затем я погрузился в мертвое оцепенение. Была холодная боль, и были обрывки мыслей. От речей Нэтти и Мэнни осталось бледное, равнодушное воспоминание, как будто это все было неважно и неинтересно. Раз только промелькнуло соображение: «Да, вот почему уехала Нэтти: от экспедиции зависит все». Резко и отчетливо выступали отдельные выражения и целые фразы Стэрни: «Надо *понять* необходимость... несколько миллионов человеческих зародышей... полное истребление земного человечества... он болен тяжелой душевной болезнью...» Но не было ни связи, ни выводов. Иногда мне представлялось истребление человечества как совершившийся факт, но в смутной, отвлеченной форме. Боль в сердце усиливалась, и зарождалась мысль, что я виновен в этом истреблении. На короткое время пробивалось сознание, что ничего

этого еще нет и, может быть, не будет. Боль, однако, не прекращалась, и мысль опять медленно констатировала: «Все умрут... и Анна Николаевна... и рабочий Ваня... и Нэтти, нет, Нэтти останется, она марсианка... а все умрут, и не будет жестокости, потому что не будет страданий... да, это говорил Стэрни... а все умрут оттого, что я был болен... значит, я виновен...» Обрывки тяжелых мыслей цепенели и застывали и оставались в сознании, холодные, неподвижные. И время как будто остановилось с ними.

Это был бред, мучительный, непрерывный, безысходный. Призраков не было вне меня. Был один черный призрак в моей душе, но он был — *все*. И конца ему быть не могло, потому что время остановилось.

Возникла мысль о самоубийстве и медленно тянулась, но не заполняла сознания. Самоубийство казалось бесполезным и скучным: разве могло оно прекратить эту черную боль, которая была *все*? Не было веры в самоубийство, потому что не было веры в свое существование. Существовала тоска, холод, ненавистное *все*, но мое «я» терялось в этом как что-то незаметное, ничтожное, бесконечно малое. «Меня» не было.

Минутами мое сознание становилось настолько невыносимым, что возникало непреодолимое желание бросаться на все окружающее, живое и мертвое, бить, разрушать, уничтожать без следа. Но я еще сознавал, что это было бессмысленно и по-детски; я стискивал зубы и удерживался.

Мысль о Стэрни постоянно возвращалась и неподвижно останавливалась в сознании. Она была тогда как будто центром всей тоски и боли. Мало-помалу, очень медленно, но непрерывно около этого центра стало формироваться намерение, которое перешло затем в ясное непреклонное решение: «Надо видеть Стэр-

ни». Зачем, по каким мотивам видеть, я не мог бы сказать этого. Было только несомненно, что я это сделаю. И было в то же время мучительно трудно выйти из моей неподвижности, чтобы исполнить решение.

Наконец настал день, когда у меня хватило энергии, чтобы преодолеть это внутреннее сопротивление. Я сел в гондолу и поехал в ту обсерваторию, которой руководил Стэрни. По дороге я пытался обдумать, о чем буду с ним говорить; но холод в сердце и холод вокруг парализовали мысль. Через три часа я доехал.

Войдя в большую залу обсерватории, я сказал одному из работавших там товарищей: «Мне надо видеть Стэрни». Товарищ пошел за Стэрни и, возвратившись через минуту, сообщил, что Стэрни занят проверкой инструментов, через четверть часа будет свободен, а пока мне удобнее подождать в его кабинете.

Меня провели в кабинет, я сел в кресло перед письменным столом и стал ожидать. Кабинет был полон различных приборов и машин, частью уже знакомых мне, частью незнакомых. Направо от моего кресла стоял какой-то маленький инструмент на тяжелом металлическом штативе, оканчивавшемся тремя ножками, на столе лежала раскрытая книга о Земле и ее обитателях. Я машинально начал ее читать, но остановился на первых же фразах и впал в состояние, близкое к прежнему оцепенению. Только в груди вместе с обычной тоскою чувствовалось еще какое-то неопределенное судорожное волнение. Так прошло не знаю сколько времени.

В коридоре слышались тяжелые шаги, и в комнату вошел Стэрни со своим обычным спокойно-деловым видом; он опустился в кресло по другую сторону стола и вопросительно посмотрел на меня. Я молчал. Он подождал с минуту и обратился ко мне с прямым вопросом:

— Чем я могу быть полезен?

Я продолжал молчать и неподвижно смотрел на него, как на неодушевленный предмет. Он чуть заметно пожал плечами и выжидательно расположился в кресле.

— Муж Нэтти... — наконец произнес я с усилием и полусознательно, в сущности, не обращаясь к нему.

— Я был мужем Нэтти, — спокойно поправил он: — Мы разошлись уже давно.

— ...Истребление... не будет... жестокостью... — продолжал я, так же медленно и полусознательно повторяя ту мысль, которая окаменела в моем мозгу.

— А, вы вот о чем, — сказал он спокойно. — Но ведь теперь об этом нет и речи. Предварительное решение, как вы знаете, принято совершенно иное.

— Предварительное решение... — машинально повторил я.

— Что касается моего тогдашнего плана, — прибавил Стэрни, — то хотя я не вполне от него отказался, но должен сказать, что не мог бы теперь защищать его так уверенно.

— Не вполне... — повторил я.

— Ваше выздоровление и участие в нашей общей работе разрушили отчасти мою аргументацию...

— Истребление... отчасти, — перебил я, и, должно быть, вся тоска и мука слишком ясно отразилась в моей бессознательной иронии. Стэрни побледнел и тревожно взглянул на меня. Наступило молчание.

И вдруг холодное кольцо боли с небывалой, невыразимой силой сжало мое сердце. Я откинулся на спинку кресла, чтобы удержаться от безумного крика. Пальцы моей руки судорожно охватили что-то твердое и холодное. Я почувствовал холодное оружие в своей руке, и стихийно-непреодолимая боль стала бешеным отчаянием. Я вскочил с кресла, нанося страшный удар Стэрни. Одна из ножек треножника попала ему в ви-

сок, и он без крика, без стога склонился набок, как инертное тело. Я отбросил свое оружие, оно зазвенело и загремело об машины. Все было кончено.

Я вышел в коридор и сказал первому товарищу, которого я встретил: «Я убил Стэрни». Тот побледнел и быстро прошел в кабинет, но там он, очевидно, сразу убедился, что помощь уже не нужна, и тотчас вернулся ко мне. Он отвел меня в свою комнату и, поручив другому находившемуся там товарищу вызвать по телефону врача, а самому идти к Стэрни, остался вдвоем со мною. Заговорить со мною он не решался. Я сам спросил его:

— Здесь ли Энно?

— Нет, — отвечал он, — она уехала на несколько дней к Нэлле.

Затем снова молчание, пока не явился доктор. Он попытался расспросить меня о происшедшем; я сказал, что мне не хочется разговаривать. Тогда он отвез меня в ближайшую лечебницу душевнобольных.

Там мне предоставили большое удобное помещение и долго не беспокоили меня. Это было все, чего я мог желать.

Положение казалось мне ясным. Я убил Стэрни и тем погубил все. Марсиане видят на деле, чего они могут ожидать от сближения с земными людьми. Они видят, что даже тот, кого они считали наиболее способным войти в их жизнь, не может дать им ничего, кроме насилия и смерти, Стэрни убит — его идея воскресает. Последняя надежда исчезает, земной мир обречен. И я виновен во всем.

Эти идеи быстро возникли в моей голове после убийства и неподвижно воцарились там вместе с воспоминанием о нем. Было сначала некоторое успокоение в их холодной несомненности. А потом тоска и боль стали вновь усиливаться, казалось, до бесконечности.

Сюда присоединилось глубокое отвращение к себе. Я чувствовал себя предателем всего человечества. Мелькала смутная надежда, что марсиане меня убьют, но тотчас являлась мысль, что я для них слишком противен и их презрение помешает им сделать это. Они, правда, скрывали свое отвращение ко мне, но я ясно видел его, несмотря на их усилия.

Сколько времени прошло таким образом, я не знаю. Наконец врач пришел ко мне и сказал, что мне нужна перемена обстановки, что я отправляюсь на Землю. Я думал, что за этим скрывается предстоящая мне смертная казнь, но не имел ничего против. Я только просил, чтобы мое тело выбросили как можно дальше от всех планет: оно могло осквернить их.

Впечатления обратного путешествия очень смутны в моих воспоминаниях. Знакомых лиц около меня не было; я ни с кем не разговаривал. Сознание не было спутано, но я почти не замечал ничего окружающего. Мне было все равно.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1. У Вернера

Не помню, каким образом я очнулся в лечебнице у доктора Вернера, моего старшего товарища. Это была земская больница одной из северных губерний, знакомая мне еще ранее из писем Вернера; она находилась в нескольких верстах от губернского города, была очень скверно устроена и всегда страшно переполнена, с необыкновенно ловким экономом и недостаточным, замученным работою медицинским персоналом. Доктор Вернер вел упорную войну с очень либеральной земской управой из-за эконома, из-за лишних барачков,

которые она строила очень неохотно, из-за церкви, которую она достраивала во что бы то ни стало, из-за жалованья служащих и т. п. Больные благополучно переходили к окончательному слабоумию вместо выздоровления, а также умирали от туберкулеза вследствие недостатка воздуха и питания. Сам Вернер, конечно, давно ушел бы оттуда, если бы его не вынуждали оставаться совершенно особые обстоятельства, связанные с его революционным прошлым.

Но меня все прелести земской лечебницы несколько не коснулись. Вернер был хороший товарищ и не задумался пожертвовать для меня своими удобствами. В своей большой квартире, отведенной ему как старшему врачу, он предоставил мне две комнаты, в третьей рядом с ними поселил молодого фельдшера, в четвертой под видом служителя для ухода за больными — одного скрывавшегося товарища. У меня не было, конечно, прежнего комфорта, и надзор за мною при всей деликатности молодых товарищей был гораздо грубее и заметнее, чем у марсиан, но для меня все это было совершенно безразлично.

Доктор Вернер, как и марсианские врачи, почти не лечил меня, только давал иногда усыпляющие средства, а заботился главным образом о том, чтобы мне было удобно и спокойно. Каждое утро и каждый вечер он заходил ко мне после ванны, которую для меня устраивали заботливые товарищи; но заходил он только на минутку и ограничивался вопросом, не надо ли мне чего-нибудь. Я же за долгие месяцы болезни совершенно отвык разговаривать и отвечал ему только «нет» или не отвечал вовсе. Но его внимание трогало меня, а в то же время я считал, что совершенно не заслуживаю такого отношения и что должен сообщить ему об этом. Наконец мне удалось собраться с силами

настолько, чтобы сказать ему, что я убийца и предатель и что из-за меня погибнет все человечество. Он ничего не возразил на это, только улыбнулся и после того стал заходить ко мне чаще.

Мало-помалу перемена обстановки оказала свое благотворное действие. Боль слабее сжимала сердце, тоска бледнела, мысли становились все более подвижными, их колорит делался светлее. Я стал выходить из комнат, гулял по саду и в роще. Кто-нибудь из товарищей постоянно был поблизости; это было неприятно, но я понимал, что нельзя же убийцу пустить одного гулять на свободе; иногда я даже сам разговаривал с ними, конечно, на безразличные темы.

Была ранняя весна, и возрождение жизни вокруг уже не обостряло моих мучительных воспоминаний; слушая чириканье птичек, я находил даже некоторое грустное успокоение в мысли о том, что они останутся и будут жить, а только люди обречены на гибель. Раз как-то возле рощи меня встретил слабоумный больной, который шел с заступом на работу в поле. Он поспешил отрекомендоваться мне, причем с необыкновенной гордостью — у него была мания величия, — выдавая себя за урядника, — очевидно, высшая власть, которую он знал во время жизни на свободе. В первый раз за всю мою болезнь я невольно засмеялся. Я чувствовал отечество вокруг себя и, как Антей, набирался, правда, очень медленно, новых сил от родной земли.

II. Было — не было?

Когда я стал больше думать об окружающих, мне захотелось узнать, известно ли Вернеру и другим обоим товарищам, что со мной было и что я сделал. Я спросил Вернера, кто привез меня в лечебницу. Он отвечал,

что я приехал с двумя незнакомыми ему молодыми людьми, которые не могли сообщить ему о моей болезни ничего интересного. Они говорили, что случайно встретили меня в столице совершенно больным, знали меня раньше, до революции, и тогда слышали от меня о докторе Вернере, а потому и решились обратиться к нему. Они уехали в тот же день. Вернеру они показались людьми надежными, которым нет основания не верить. Сам же он потерял меня из виду уже несколько лет перед тем и ни от кого не мог добиться никаких известий обо мне...

Я хотел рассказать Вернеру историю совершенно мной убийства, но это представлялось мне страшно трудным вследствие ее сложности и множества таких обстоятельств, которые каждому беспристрастному человеку должны были показаться очень странными. Я объяснил свое затруднение Вернеру и получил от него неожиданный ответ:

— Самое лучшее, если вы вовсе не будете мне теперь ничего рассказывать. Это бесполезно для вашего выздоровления. Спорить с вами я, конечно, не буду, но истории вашей все равно не поверю. Вы больны меланхолией, болезнью, при которой люди совершенно искренно приписывают себе небывалые преступления, и их память, приспособляясь к их бреду, создает ложные воспоминания. Но и вы мне тоже не поверите, пока не выздоровеете; и поэтому лучше отложить ваш рассказ до того времени.

Если бы этот разговор произошел несколькими месяцами раньше, я, несомненно, увидел бы в словах Вернера величайшее недоверие и презрение ко мне. Но теперь, когда моя душа уже искала отдыха и успокоения, я отнесся к делу совершенно иначе. Мне было приятно думать, что мое преступление неизвестно

товарищам и что самый факт его еще может законно подвергаться сомнению. Я стал думать о нем реже и меньше.

Выздоровление пошло быстрее; только изредка возвращались приступы прежней тоски и всегда ненадолго. Вернер был явно доволен мною и почти даже снял с меня медицинский надзор. Как-то раз, вспоминая его мнение о моем «бреде», я попросил его дать мне прочитать типичную историю такой же болезни, как моя, из тех, которые он наблюдал и записывал в лечебнице. С большим колебанием и явной неохотой он, однако, исполнил мою просьбу. Из большой груды историй болезни он на моих глазах выбрал одну и подал ее мне.

Там говорилось о крестьянине отдаленной, глухой деревушки, которого нужда привела на заработки в столицу, на одну из самых больших ее фабрик. Жизнь большого города его, видимо, ошеломила, и, по словам его жены, он долго ходил «словно бы не в себе». Потом это прошло, и он жил и работал как все остальные. Когда разразилась на фабрике стачка, он был заодно с товарищами. Стачка была долгая и упорная; и ему, и жене, и ребенку пришлось сильно голодать. Он вдруг «загрустил», стал упрекать себя за то, что женился и прижил ребенка и что вообще жил «не по-божески».

Затем он начал уже «заговариваться», и его отвезли в больницу, а из больницы отправили в лечебницу той губернии, откуда он был родом. Он утверждал, что нарушил стачку и выдал товарищей, а также «добротного инженера», тайно поддерживающего стачку, который и был повешен правительством. По случайности я был близко знаком со всей историей стачки — я тогда работал в столице; в действительности никакого предательства там не произошло, а «добрый инженер» не

только не был казнен, но даже и не арестован. Болезнь рабочего окончилась выздоровлением.

Эта история придала новый оттенок моим мыслям. Стало возникать сомнение, совершил ли я на самом деле убийство или, быть может, как говорил Вернер, это было «приспособление моей памяти к бреду меланхолии». В то время все мои воспоминания о жизни среди марсиан были странно-смутны и бледны, во многом даже отрывочны и неполны; и хотя картина преступления вспоминалась всего отчетливее, но и она как-то путалась и тускнела перед простыми и ясными впечатлениями настоящего. Временами я отбрасывал малодушные, успокоительные сомнения и ясно сознавал, что все было и ничем это изменить нельзя. Но потом сомнения и софизмы возвращались; они мне помогали отделаться от мысли о прошлом. Люди так охотно верят тому, что для них приятно... И хотя где-то в глубине души оставалось сознание, что это ложь, но я упорно ей предавался, как предаются радостным мечтам.

Теперь я думаю, что без этого обманчивого самовнушения мое выздоровление не было бы ни таким быстрым, ни таким полным.

III. Жизнь Родины

Вернер тщательно устранял от меня всякие впечатления, которые могли бы быть «неполезны» для моего здоровья. Он не позволял мне заходить к нему в самую лечебницу, и из всех душевнобольных, которые там находились, я мог наблюдать только тех неизлечимо-слабоумных и дегенератов, которые ходили на свободе и занимались разными работами в поле, в роще, в саду; а это, правду сказать, было для меня

неинтересно: я очень не люблю всего безнадежного, всего ненужного и обреченного. Мне хотелось видеть острых больных и именно тех, которые могут выздороветь, особенно меланхоликов и веселых маниакальных. Вернер обещал сам показать мне их, когда мое выздоровление достаточно продвинется вперед, но все откладывал и откладывал. Так дело до этого и не дошло.

Еще больше Вернер старался изолировать меня от всей политической жизни моей родины. По-видимому, он полагал, что самое заболевание возникло из тяжелых впечатлений революции; он не подозревал того, что все это время я был оторван от родины и даже не мог знать, что там делалось. Это полное незнание он считал просто забвением, обусловленным моей болезнью, и находил, что оно очень полезно для меня; и он не только сам ничего из этой области мне не рассказывал, но запретил и моим телохранителям; а во всей его квартире не было ни единой газеты, ни единой книжки, журнала последних лет: все это хранилось в его кабинете в лечебнице. Я должен был жить на политически необитаемом острове.

Вначале, когда мне хотелось только спокойствия и тишины, такое положение мне нравилось. Но потом, по мере накопления сил, мне стало делаться все теснее в этой раковине; я начал приставать с расспросами к моим спутникам, а они, верные приказу врача, отказывались мне отвечать. Было досадно и скучно. Я стал искать способов выбраться из моего политического карантина и попытался убедить Вернера, что я уже достаточно здоров, чтобы читать газеты. Но все было бесполезно: Вернер объяснил, что это еще преждевременно и что он сам решит, когда мне можно будет переменить мою умственную диету.

Оставалось прибегнуть к хитрости. Я должен был найти себе подобного сообщника из числа окружающих. Фельдшера склонить на свою сторону было бы очень трудно: он имел слишком высокое представление о своем профессиональном долге. Я направил усилия на другого телохранителя, товарища Владимира. Тут большого сопротивления не встретилось.

Владимир был раньше рабочим. Малообразованный и почти еще мальчик по возрасту, он был рядовым революции, но уже испытанным солдатом. Во время одного знаменитого погрома, где множество товарищей погибло от пуль и в пламени пожара, он пробил себе дорогу сквозь толпу погромщиков, застрелив несколько человек и не получив по какой-то случайности ни одной раны. Затем он долго скитался нелегальным по разным городам и селам, выполняя скромную и опасную роль транспортера оружия и литературы. Наконец почва стала слишком горяча под его ногами, и он вынужден был на время скрыться у Вернера. Все это я, конечно, узнал позже. Но с самого начала я подметил, что юношу очень угнетает недостаток образования и трудность самостоятельных занятий при отсутствии предварительной научной дисциплины. Я начал заниматься с ним; дело пошло хорошо, и очень скоро я навсегда завоевал его сердце. А дальнейшее было уже легко; медицинские соображения были вообще мало понятны Владимиру, и у нас с ним составилась маленький заговор, парализовавший строгость Вернера. Рассказы Владимира, газеты, журналы, политические брошюры, которые он тайком приносил мне, быстро развернули передо мною жизнь родины за годы моего отсутствия.

Революция шла неровно и мучительно затягивалась. Рабочий класс, выступивший первым, сначала

благодаря стремительности своего нападения одержал большие победы; но затем, не поддержанный в решительный момент крестьянскими массами, он потерпел жестокое поражение от соединенных сил реакции. Пока он набирался энергии для нового боя и ожидал крестьянского арьергарда революции, между старой помещичьей властью и буржуазией начались переговоры, попытки сторговаться и столковаться для подавления революции. Попытки эти были обречены в форму парламентской комедии; они постоянно оканчивались неудачей вследствие непримиримости крепостников-реакционеров. Игрушечные парламенты созывались и грубо разгонялись один за другим. Буржуазия, утомленная бурями революции, запуганная самостоятельностью и энергией первых выступлений пролетариата, все время шла направо. Крестьянство, в своей массе вполне революционное по настроению, медленно усваивало политический опыт и пламенем бесчисленных поджогов освещало свой путь к высшим формам борьбы. Старая власть наряду с кровавым подавлением крестьянства попыталась часть его подкупить продажей земельных участков, но вела все дело в таких грошовых размерах и до такой степени бестолково, что из этого ничего не вышло. Повстанческие выступления отдельных партизан и групп учащались с каждым днем. В стране царил небывалый, невиданный нигде в мире двойной террор — сверху и снизу.

Страна, очевидно, шла к новым решительным битвам. Но так долго и полон колебаний был этот путь, что многие успели утомиться и даже отчаяться. Со стороны радикальной интеллигенции, которая участвовала в борьбе главным образом своим сочувствием, измена была почти поголовная. Об этом, конечно,

жалеть было нечего. Но даже среди некоторых моих прежних товарищей успели свить себе гнездо уныние и безнадежность. По этому факту я мог судить, насколько тяжела и изнурительна была революционная жизнь за минувшее время. Сам я, свежий человек, помнивший предреволюционное время и начало борьбы, но не испытывавший на себе всего гнета последующих поражений, видел ясно бессмысленность похорон революции; я видел, насколько все изменилось за эти годы, сколько новых элементов прибавилось для борьбы, насколько невозможна остановка на создавшемся мнимом равновесии. Новая волна революции была неизбежна и недалеко.

Приходилось, однако, ждать. Я понимал, как мучительно-тяжела работа товарищей в этой обстановке. Но сам я не спешил идти туда независимо даже от мнения Вернера. Я находил, что лучше запастись силами, чтобы их хватило тогда, когда они понадобятся полностью.

Во время долгих прогулок по роще мы с Владимиром обсуждали шансы и условия предстоящей борьбы. Меня глубоко трогали его наивно-героические планы и мечты; он казался мне благородным милым ребенком, которому суждена такая же простая непритязательно-красивая смерть бойца, какова была его юная жизнь. Славные жертвы намечает себе революция, и хорошою кровью окрашивает она свое пролетарское знамя!

Но не один Владимир казался мне ребенком. Много наивного и детского, чего я раньше как будто не замечал и не чувствовал, я находил и в Вернере, старом работнике революции, и в других товарищах, о которых вспоминал. Все люди, которых я знал на Земле, представлялись мне полудетьми, подростками,

смутно воспринимающими жизнь в себе и вокруг себя, полусознательно отдающимися внутренней и внешней стихийности. В этом чувстве не было ни капли снисходительности или презрения, а была глубокая симпатия и братский интерес к людям-зародышам, детям юного человечества.

IV. Конверт

Жаркое летнее солнце как будто растопило лед, окутывающий жизнь страны. Она пробуждалась, и зарницы новой грозы уже вспыхивали на горизонте, и снова глухие раскаты начинали доноситься с низов. И это солнце и это пробуждение согревали мою душу и поднимали мои силы, и я чувствовал, что скоро буду здоров, как не был никогда в жизни.

В этом смутно-жизнерадостном состоянии мне не хотелось думать о прошлом и приятно было сознавать, что я забыт всем миром, забыт всеми... Я рассчитывал воскреснуть для товарищей в такое время, когда никому и в голову не придет меня спрашивать о годах моего отсутствия, — когда всем будет слишком не до того и мое прошлое потонет надолго в бурных волнах нового прилива. А если мне случалось подмечать факты, вызывавшие сомнение в надежности этих расчетов, во мне зарождались тревога, и беспокойство, и неопределенная враждебность ко всем, кто мог еще обо мне помнить.

В одно летнее утро Вернер, вернувшись из лечебницы с обхода больных, не ушел в сад отдыхать, как он делал обыкновенно, потому что эти обходы страшно его утомляли, а пришел ко мне и стал очень подробно расспрашивать меня о моем самочувствии. Мне показалось, что он *запоминал* мои ответы. Все это

было не вполне обычно, и сначала я подумал, что он как-нибудь случайно проник в тайну моего маленького заговора. Но из разговора я скоро увидел, что он ничего не подозревает. Потом он ушел — опять-таки не в сад, а к себе в кабинет, и только через полчаса я увидел его в окно гуляющим по его любимой темной аллее. Я не мог не думать об этих мелочах, потому что ничего более крупного вокруг меня вообще не было. После различных догадок я остановился на том наиболее правдоподобном предположении, что Вернер хотел написать кому-то — очевидно, по специальной просьбе — подробный отчет о состоянии моего здоровья. Почту к нему всегда приносили утром в его кабинет в лечебнице; в этот раз он, должно быть, получил письмо с запросом обо мне.

От кого письмо и зачем, узнать, и притом немедленно, было необходимо для моего успокоения. Спрашивать Вернера было бесполезно — он почему-нибудь, очевидно, не находил возможным сказать мне это, иначе сказал бы сам, без всяких вопросов. Не знал ли чего-нибудь Владимир? Нет, оказалось, что он не знал ничего. Я стал придумывать, каким бы способом добраться до истины.

Владимир был готов оказать мне всякую услугу. Мое любопытство он считал вполне законным, скрытность Вернера — неосновательной. Он, не задумываясь, произвел целый обыск в комнатах Вернера и в его медицинском кабинете, но не нашел ничего интересного.

— Надо полагать, — сказал Владимир, — что он либо носит это письмо при себе, либо изорвал его и бросил.

— А куда он бросает обыкновенно изорванные письма и бумаги? — спросил я.

— В корзину, которая стоит у него в кабинете под столом, — отвечал Владимир.

— Хорошо, в таком случае принесите мне все клочки, которые вы найдете в этой корзине.

Владимир ушел и скоро вернулся.

— Там нет никаких клочков, — сообщил он, — а вот что я нашел там: конверт письма, полученного, судя по штемпелю, сегодня.

Я взял конверт и взглянул на адрес. Земля поплыла у меня под ногами, и стены стали валиться на меня...

Почерк Нэтти!

V. Итоги

Среди того хаоса воспоминаний и мыслей, который поднялся в моей душе, когда я увидел, что Нэтти была на Земле и не хотела встретиться со мной, для меня вначале был ясен только конечный вывод. Он возник как будто сам собой, без всякого заметного логического процесса и был вне всякого сомнения. Но я не мог ограничиться тем, чтобы просто осуществить его поскорее. Я хотел достаточно и отчетливо мотивировать его для себя и для других. Особенно не мог я примириться с тем, что меня не поняла бы и Нэтти и приняла бы за простой порыв чувства то, что было логической необходимостью, что неизбежно вытекало из всей моей истории.

Поэтому я должен был прежде всего последовательно рассказать свою историю, рассказать для товарищей, для себя, для Нэтти... Таково происхождение этой моей рукописи. Вернер, который прочитает ее первым, — на другой день после того, как мы с Владимиром исчезнем, — позаботится о том, чтобы она

была напечатана, — конечно, со всеми необходимыми ради конспирации изменениями. Это мое единственное завещание ему. Очень жалею, что мне не придется пожать ему руку на прощанье.

По мере того как я писал эти воспоминания, прошлое прояснилось передо мной, хаос уступал место определенности, моя роль и мое положение точно обрисовывались перед сознанием. В здравом уме и твердой памяти я могу теперь подвести все итоги...

Совершенно бесспорно, что задача, которая была на меня возложена, оказалась выше моих сил. В чем заключалась причина неуспеха? И как объяснить ошибку проницательного, глубокого психолога Мэнни, сделавшего такой неудачный выбор?

Я припоминаю свой разговор с Мэнни об этом выборе, разговор, происходивший в то счастливое для меня время, когда любовь Нэтти внушала мне беспредельную веру в свои силы.

— Каким образом, — спросил я, — вы, Мэнни, пришли к тому, что из массы разнообразных людей нашей страны, которых вы встречали в своих поисках, вы признали меня наиболее подходящим для миссии представителя Земли?

— Выбор был не так уж обширен, — отвечал он. — Его сфера должна была с самого начала ограничиваться представителями научно-революционного социализма; все другие мировоззрения отстоят гораздо дальше от нашего мира.

— Хорошо, но ведь и среди этого течения вы встречали людей, несомненно, гораздо более сильных и одаренных, чем я. Вы встречали того, кого мы в шутку называем Старцем Горы; вы знали товарища Поэта...

— Да, я внимательно наблюдал их. Но Старец Горы — это человек исключительно борьбы и революции; наша обстановка ему совершенно не подходит. Он человек железный, а железные люди не гибки; в них много стихийного консерватизма. Что же касается Поэта — у него не хватило бы здоровья. Он чересчур много пережил, скитаясь по всем слоям вашего мира, чтобы ему легко было пережить еще переход к нашему. Кроме того, оба они — и политический вождь, и художник слова, к которому прислушиваются миллионы, — слишком необходимы для той борьбы, которая теперь у вас ведется.

— Последнее соображение для меня вполне убедительно. Но в таком случае я напому вам о философе Мирском. Его профессиональная привычка становиться на самые различные точки зрения, сравнивать и примирять их, мне кажется, очень облегчила бы для него трудности дела.

— Да, но ведь он — человек, главным образом, отвлеченной мысли. Пережить новое существование чувством и волею, для этого едва ли у него достаточно душевной свежести. Он произвел на меня впечатление даже несколько утомленного человека; а это, вы понимаете, наибольшее препятствие.

— Пусть так. Но среди пролетариев, образующих основу и главную силу нашего направления, разве не среди них могли вы всего легче найти то, что вам было надо?

— Да, искать там было бы всего вернее. Но... у них обыкновенно не хватает одного условия, которое я считал необходимым: широкого, разностороннего образования, стоящего на всей высоте вашей культуры. Это отклонило линию моих поисков в другую сторону.

Так говорил Мэнни. Его расчеты не оправдались. Значило ли это, что ему вообще некого было взять, что различие обеих культур составляет необходимую пропасть для отдельной *личности* и преодолеть его может только общество? Думать так было бы, пожалуй, утешительно для меня лично, но у меня остается серьезное сомнение. Я полагаю, что Мэнни следовало бы еще проверить его последнее соображение — то, которое касалось товарищей-рабочих.

На чем именно я потерпел крушение?

В первый раз это произошло таким образом, что нахлынувшая на меня масса впечатлений чуждой жизни, ее грандиозное богатство затопили мое сознание и размыли линии его берегов. С помощью Нэтти я пережил кризис и справился с ним, но не был ли самый кризис усилен и преувеличен той повышенной чувствительностью, той утонченностью восприятия, которая свойственна людям социально-умственного труда? Быть может, для натуры, несколько более примитивной, несколько менее сложной, но зато органически более стойкой и прочной, все обошлось бы легче, переход был бы менее болезненным? Быть может, для малообразованного пролетария войти в новое, высшее существование было бы не так трудно, потому что хотя ему пришлось бы больше учиться вновь, но зато гораздо меньше надо было бы переучиваться, а именно это тяжелее всего... Мне кажется, что да; и я думаю, что Мэнни тут впал в ошибку расчета, придавая уровню культурности больше значения, чем культурной силе развития.

Во второй раз то, обо что разбились мои душевные силы, это был самый *характер* той культуры, в которую я попытался войти всем моим существом: меня подавила ее высота, глубина ее социальной связи,

чистота и прозрачность ее отношений между людьми. Речь Стэрни, грубо выразившая всю несоизмеримость двух типов жизни, была только поводом, только последним толчком, сбросившим меня в ту темную бездну, к которой тогда стихийно и неудержимо вело меня противоречие между моей внутренней жизнью и всей социальной средой, на фабрике, в семье, в общении с друзьями. И опять-таки не было ли это противоречие гораздо более сильным и острым именно для меня, революционера-интеллигента, всегда девять десятых своей работы выполнявшего либо просто в одиночку, либо в условиях одностороннего неравенства с товарищами-сотрудниками, в качестве их учителя и руководителя, — в обстановке обособления моей личности среди других? Не могло ли противоречие оказаться слабее и мягче для человека, девять десятых своей трудовой жизни переживающего хотя бы в примитивной и неразвитой, но все же в товарищеской среде, с ее, быть может, несколько грубым, но действительным равенством сотрудников? Мне кажется, что это так; и я полагаю, что Мэнни следовало бы возобновить его попытку, но уже в новом направлении...

А затем для меня остается то, что было между двумя крушениями, то, что дало мне энергию и мужество для долгой борьбы, то, что и теперь позволяет мне без чувства унижения подводить ее итоги. Это любовь Нэтти.

Бесспорно, любовь Нэтти была недоразумением, ошибкой ее благородного и пылково воображения. Но такая ошибка оказалась возможна, этого никто не отнимет и ничто не изменит. В этом для меня ручательство за действительную близость двух миров, за их будущее слияние в один невиданно-прекрасный и стройный.

А сам я... но тут нет никакого итога. Новая жизнь мне недоступна, а старой я уже не хочу: я не принадлежу ей больше ни своей мыслью, ни своим чувством. Выход ясен.

Пора кончать. Мой сообщник дожидается меня в саду; вот его сигнал. Завтра мы оба будем далеко отсюда, на пути туда, где жизнь кипит и переливается через край, где так легко стереть ненавистную для меня границу между прошлым и будущим. Прощайте, Вернер, старый, хороший товарищ.

Да здравствует новая, лучшая жизнь, и привет тебе, ее светлый призрак, моя Нэтти!

ИЗ ПИСЬМА ДОКТОРА ВЕРНЕРА ЛИТЕРАТОРУ МИРСКОМУ

(Письмо без всякой даты — очевидно, по рассеянности Вернера)

Канонада уже давно замолкла, а раненых все везли и везли. Громадное большинство их были не милиционеры и не солдаты, а мирные обыватели; было много женщин, даже детей: все граждане равны перед шрапнелью. В мой госпиталь, ближайший к театру битвы, везли главным образом милиционеров и солдат. Многие раны от шрапнели и гранатных осколков производили потрясающее впечатление даже на меня, старого врача, когда-то несколько лет работавшего по хирургии. Но над всем этим ужасом носилось и господствовало одно светлое чувство, одно радостное слово — «победа!».

Это наша первая победа в настоящем большом сражении. Но для всякого ясно, что она решает дело.

Чашки весов наклонились в другую сторону. Переход к нам целых полков с артиллерией — ясное знамение. Страшный суд начался. Приговор будет немилостив, но справедлив. Давно пора кончать...

На улицах кровь и обломки. Солнце от дыма пожаров и канонады стало совсем красным. Но не злое-щим кажется оно нашим глазам, а радостно-грозным. В душе звучит боевая песня, песня победы.

Леонида привезли в мой госпиталь около полудня. У него одна опасная рана в грудь и несколько легких ран, почти царапин. Он еще среди ночи отправился с пятью «гренадерами» в те части города, которые находились во власти неприятеля: поручение заключалось в том, чтобы несколькими отчаянными нападениями вызвать там тревогу и деморализацию. Он сам предложил этот план и сам вызвался на его выполнение. Как человек, в прежние годы много работавший здесь и хорошо знакомый со всеми закоулками города, он мог выполнить отчаянное предприятие лучше других, и главный начальник милиции после некоторых колебаний согласился. Им удалось добраться со своими гранатами до одной из неприятельских батарей и с крыши взорвать несколько ящиков со снарядами. Среди вызванной взрывами паники они спустились вниз, перепортили орудия и взорвали остальные снаряды. При этом Леонид получил несколько легких ран от осколков. Затем, во время поспешного отступления, они наткнулись на отряд неприятельских драгун. Леонид передал команду Владимиру, который был его адъютантом, а сам с последними двумя гранатами скользнул в ближайшие ворота и остался в засаде, пока остальные отступали, пользуясь всякими случай-

ными прикрытиями и энергично отстреливаясь. Он пропустил мимо себя большую часть неприятельского отряда и бросил первую гранату в офицера, а вторую — в ближайшую группу драгун. Весь отряд беспорядочно разбежался, а наши вернулись, выбрали Леонида, тяжело раненного осколком своей гранаты. Они благополучно доставили его к нашим линиям еще до рассвета и передали на мое попечение.

Осколок сразу удалось вынуть, но легкое задето, и положение серьезное. Я устроил больного как можно лучше и удобнее, но одного, конечно, я не мог ему дать — это полного покоя, который ему необходим. С рассветом общая битва возобновилась, ее шум был слишком хорошо слышен у нас, и беспокойный интерес к ее перипетиям усиливал лихорадочное состояние Леонида. Когда начали привозить других раненых, он стал волноваться еще более, и я был вынужден, насколько возможно, изолировать его, поместивши за ширмами, чтобы он, по крайней мере, не видел чужих ран.

Около четырех часов дня сражение уже кончилось, и исход был ясен. Я был занят исследованием и распределением раненых. В это время мне передали карточку той особы, которая несколько недель тому назад письменно справлялась у меня о здоровье Леонида, а потом была у меня сама после бегства Леонида и должна была заехать к вам с моей рекомендацией, чтобы ознакомиться с его рукописью. Так как эта дама, несомненно, товарищ и, по-видимому, врач, то я пригласил ее прямо к себе в палату. Она, как и прошлый раз, когда я ее видел, была под темной вуалью, которая сильно маскировала черты ее лица.

— Леонид у вас? — спросила она, не здороваясь со мною.

— Да, — отвечал я, — но не следует особенно тревожиться: хотя его рана и серьезна, однако, я полагаю, его возможно вылечить.

Она быстро и умело задала мне ряд вопросов, чтобы выяснить положение больного. Затем она заявила, что желает его видеть.

— А не может ли это свидание взволновать его? — возразил я.

— Несомненно да, — был ее ответ, — но это принесет ему меньше вреда, чем пользы. Я ручаюсь вам за это.

Ее тон был очень решительный и уверенный. Я чувствовал, что она знает, что говорит, и не мог отказать ей. Мы прошли в ту палату, где лежал Леонид, и я жестом показал ей, чтобы она прошла за ширмы, но сам остался по соседству, у постели другого тяжелораненого, которым мне все равно предстояло заняться. Я хотел слышать весь ее разговор с Леонидом, чтобы вмешаться, если это потребуется.

Уходя за ширмы, она несколько приподняла вуаль. Ее силуэт был виден для меня через малопрозрачную ткань ширм, и я мог различить, как она наклонилась над больным.

— Маска... — произнес слабый голос Леонида.

— Твоя Нэтти! — отвечала она, и столько нежности и ласки было вложено в эти два слова, сказанные тихим, мелодичным голосом, что мое старое сердце задрожало в груди, охваченное до боли радостным сочувствием.

Она сделала какое-то резкое движение рукой, точно растягивала воротничок, и, как мне показалось, сняла

с себя шляпу с вуалью, а затем еще ближе наклонилась к Леониду. Наступило минутное молчание.

— Значит, я умираю? — сказал он тихо тоном вопроса.

— Нет, Лэнни, жизнь перед нами. Твоя рана не смертельна и даже не опасна...

— А убийство? — возразил он болезненно-тревожно.

— Это была болезнь, мой Лэнни. Будь спокоен, этот порыв смертельной боли не станет никогда ни между нами, ни на пути к нашей великой общей цели. Мы достигнем ее, мой Лэнни...

Легкий стон вырвался из его груди, но это не был стон боли. Я ушел, потому что относительно моего больного уже выяснил то, что мне было надо, а подслушивать больше не следовало, и было незачем. Через несколько минут незнакомка, опять в шляпке и в вуали, вызвала меня снова.

— Я возьму Леонида к себе, — заявила она. — Леонид сам желает этого, и условия для лечения у меня лучше, чем здесь, так что вы можете быть спокойны. Два товарища дожидаются внизу; они перенесут его ко мне. Распорядитесь дать носилки.

Спорить не приходилось: в нашем госпитале все условия действительно не блестящие. Я спросил ее адрес — это очень близко отсюда — и решил завтра же зайти к ней навестить Леонида. Двое рабочих пришли и осторожно унесли его на носилках.

(Приписка, сделанная на следующий день.)

И Леонид и Нэтти бесследно исчезли. Сейчас я зашел на их квартиру: двери отперты, комнаты пусты. На столе в большой зале, в которой одно огромное

окно отворено настежь, я нашел записку, адресованную мне. В ней дрожащим почерком было написано всего несколько слов.

«Привет товарищам. До свиданья. Ваш Леонид».

Странное дело: у меня нет никакого беспокойства. Я смертельно устал за эти дни, видел много крови, много страданий, которым не мог помочь, насмотрелся картин гибели и разрушения, а на душе все так же радостно и светло.

Все худшее позади. Борьба была долгая и тяжелая, но победа перед нами... Новая борьба будет легче...

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЕ»*

Со времени появления этого романа прошло 16 лет. Товарищи спрашивают меня, какие новые указания наметились за это время относительно вероятных форм жизни будущего общества. Скажу кратко, что мне известно.

1) Что касается *источников энергии*, которые станут основой будущего производства, то все более достоверным становится предвиденье, что наиболее могущественным из них явится *внутриатомная энергия*, к овладению которой неуклонно идет современная физика. Радий и ему подобные вещества дали путь к изучению этих сил и к выяснению их подавляюще-громадного масштаба, — но сами едва ли послужат их реально-производственным источником: эта роль выпадает на долю других, более распространенных и обычных элементов. Уже больше двух лет прошло с тех пор, как Резерфорду удалось осколками атомов одного из производных радия, альфа-частицами радия С, разрушить атомы нескольких элементов, в числе их азота, алюминия, фосфора; при этом получилось пока еще очень небольшое, но несомненно освобождение

* Написано в 1923 году для грузинского перевода «Красной звезды». (Здесь и далее примеч. автора.)

внутриатомной энергии этих последних. В сентябре прошлого года появился предварительный доклад американских исследователей Вендта и Айриона о разложении атомов вольфрама посредством сильного тока, нагревающего тонкую вольфрамовую проволоку выше 20 000 градусов. При взрыве вольфрам, по-видимому, весь разбивается на атомы гелия, атомный вес которого ровно в 46 раз меньше*.

На аналогичное взрывное разложение, только производимое природой, я сам указывал двенадцать лет тому назад в «Журнале Русского физико-химического общества» (1911, № 8). Именно я истолковывал шаровую молнию как атомный взрыв крупной «пылинки», частички недостаточно прочного вещества, которая плавала в воздухе и через которую прошел разряд обычной искровой молнии**. Если эта теория верна, то шаровая молния — хорошая иллюстрация того, какие гигантские и грозные силы скрыты в мельчайших объектах нашей среды. И конечно, большое счастье, что нынешние ученые еще не овладели этими силами: если бы это случилось, результатом была бы, вероятно, гибель цивилизации. Человечество еще не достойно такой власти над природой.

2) Что касается устройства орудий труда, то здесь есть все основания думать, что будущее принадлежит типу не только автоматических, но и *саморегулирующихся* механизмов. Машин этого типа в производстве еще нет; есть только их предпосылки — многочислен-

* Опыты нуждаются в проверке: подтверждений пока не было.

** Разряд молнии измеряется примерно ста миллионами вольт. Людям не удалось еще воспроизвести искр выше двух миллионов.

ные и разнообразные автоматические регуляторы при нынешних машинах. Но есть уже такие механизмы в военном деле; их образцом может служить самодвижущаяся и в совершенстве управляющая своим ходом подводная торпеда. Дело в том, что при капитализме введение машины в систему производства определяется только ее прибыльностью; а наивысший тип механизмов еще не прибылен; когда же ставится задача истребления, то вопрос всецело решается действительным совершенством механизма. Соотношение, характерное для современной культуры!

Саморегулирующиеся механизмы требуют от работника и общей научно-технической образованности и точного специального знания; следовательно, они поднимают рабочую силу на тот высший уровень, где исчезает основное «качественное» различие между ее нынешними двумя типами — инженерским и физически-исполнительским, — а может оставаться лишь количественная разница.

3) Самая организация производства и всей человеческой жизни будет целиком основываться на универсально-организационной науке, которая даст возможность стройно согласовать бесчисленные и разнороднейшие элементы социального бытия. Необходимость ее все яснее выступает в современных исканиях по «научной организации труда» и сурово подчеркивается тяжелым опытом строительства нашей революции.

Мысль буржуазных ученых уже подошла к вопросу о такой всеобщей науке; об этом свидетельствует, например, попытка сербско-французского ученого М. Петровича создать учение об «общих механизмах разнородных явлений». Но действительное решение задачи не по силам старому мышлению, воспитанному на анархической разрозненности буржуазного мира.

Даже вполне правильная постановка вопроса о всеорганизационной науке возможна только для того, кто становится на точку зрения *всеорганизаторского класса*. А таковым по природе своей является пролетариат, организатор вещей в своем производственном труде, людей — в своей социальной борьбе и строительстве, идей — в выработке своего нового сознания.

Будущий строй за эти годы стал яснее для нас. Но яснее и трудности на пути к нему; они оказались много больше, чем думали прежде. Что ж! Самое великое дело в истории человечества и не должно быть легким делом.

ИНЖЕНЕР МЭННИ

Фантастический роман

*ИЗ ПИСЬМА Д-РА Н. ВЕРНЕРА —
ЛИТЕРАТОРУ А. БОГДАНОВУ*

...Следовательно, сомнений никаких быть не может: Леонид жив и находится у «них»...

Его рукопись, столь загадочным образом попавшую в мои руки, пересылаю Вам. Это — роман, переведенный им с марсианского языка.

Май 19.....г.

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

После событий, описанных мною в книге «Красная звезда», я вновь живу среди своих друзей — марсиан, и работаю для дорогого мне дела — сближения двух миров.

Марсиане решили на ближайшее будущее отказаться от всякого прямого, активного вмешательства в дела Земли; они думают ограничиться пока ее изучением и постепенным ознакомлением земного человечества с более древней культурой Марса. И я вполне согласен с ними, что осторожность необходима в этом деле. Так, если бы открытия их науки о строении материи стали теперь известны на Земле, то у милитаризма враждебных друг другу наций оказались бы в руках истребительные орудия невиданной силы, и вся планета в несколько месяцев была бы опустошена.

При Колонизационном Обществе марсиан образовалась особая группа Распространения Новой Культуры на Земле. Я в этой группе взял на себя наиболее подходящую мне роль — переводчика; для той же цели мы надеемся в близком будущем привлечь еще нескольких земных людей разных национальностей. Задача эта вовсе не так проста, как может показаться с первого взгляда. Трудности при переводе с единого марсианского языка на земные неизмеримо больше,

чем при переводе с одного земного языка на другой; а полная и вполне точная передача мыслей подлинника часто даже невозможна.

Представьте себе, что вам пришлось бы современное научное произведение, психологический роман, политическую статью переводить на язык Гомера или церковнославянский... Я сознаю, насколько для нас, людей Земли, нелестно это сравнение, но, к сожалению, оно не преувеличено: разница двух культур приблизительно такая же. Не тот строй жизни, другие отношения, иной весь опыт людей. Множество понятий, там — вполне выработанных и привычных, здесь отсутствуют совершенно. Идеи, там настолько общепринятые, что их даже не высказывают, а постоянно подразумевают, здесь — нередко воспринимаются как нечто непонятное, невероятное или даже чудовищное, — вроде того, как атеизм для благочестивого католика Средних веков или свободная любовь для мещанина старых времен. Язык мыслей может различаться гораздо больше, чем язык слов; первый бывает иногда совершенно несхожен даже там, где второй кажется одним и тем же.

Наибольшая трудность, какую встречает на своем пути новая идея, — это чаще всего именно трудность ее перевода на обычный язык. Когда Коперник, Бруно и Галилей говорили, что земля вращается, самые слова их были почти для всех тогда еще непонятны: «вращаться» означало, прежде всего, определенные живые ощущения, связанные с круговым движением человека или окружающих его предметов; но как раз таких ощущений в данном случае не было. Эта история повторялась и еще теперь повторяется на каждом шагу.

Теперь вы легко поймете, каковы препятствия при переводе с языка другой культуры, притом более сложной и высокой. Очевидно, что надо начинать с

наиболее легкого. Этим объясняется выбор, который сделала для первого раза наша группа. Мы взяли исторический роман моего друга, писательницы Энно, роман из эпохи, приблизительно соответствующей нынешнему периоду земной цивилизации — последним фазам капитализма. Изображаются отношения и типы, родственные нашим, а потому и сравнительно понятные для земного читателя. Сама Энно бывала на Земле и знает некоторые из наших языков, так что могла отчасти помочь мне в работе, но только отчасти; ответственность за форму изложения в целом — если стоит говорить об ответственности — я должен принять на себя.

Марсианские меры веса, счисление времени я повсюду, разумеется, заменял земными; название стран, морей, каналов, где возможно, — теми, которые приняты теперь на картах земных астрономов, т. е. греческими и латинскими обозначениями Скиапарелли. Но в романе речь идет нередко о подробностях, совершенно недоступных нашим телескопам, — о городах, горных цепях, мелких заливах; тогда я либо просто переводил марсианское название, либо старался передать его мысль подходящей греческой формой в духе тех же обозначений Скиапарелли.

Теперь мне надо ввести читателя в ту обстановку, среди которой разворачивается действие романа.

Марс по астрономическому возрасту вдвое старше Земли; благодаря этому он маловоден. За долгие миллионы лет большая часть воды его океанов успела просочиться в глубину его коры; теперь все моря на Марсе составляют лишь половину его поверхности, и притом они гораздо менее глубоки, чем земные. Суша сплошным континентом занимает три четверти северного

полушария и около четверти южного, охватывая несколько небольших внутренних морей; остальное пространство занимает Южный океан со множеством островов; из них некоторые довольно обширны. Материк прорезан по всем направлениям знаменитыми каналами.

Такова картина в настоящее время; но не совсем такова была она триста лет тому назад. Если бы Галилей и Кеплер обладали современными телескопами, то все-таки на их картах Марса не оказалось бы ни огромного большинства нынешних каналов, ни даже некоторых внутренних морей и озер. В действительности «великих каналов» тогда вовсе и не было, а было несколько широких морских проливов, ошибочно относимых к числу каналов земными астрономами. Начало Великих Работ было положено инженером Мэнни всего 250 лет тому назад. Историческая необходимость породила это чудо труда и человеческой воли.

История марсиан в основных чертах похожа на историю земного человечества: такой же путь от родового быта через феодализм к господству капитала и через него — к объединению труда. Но более медленным темпом и в более мягких тонах шло это развитие. Природа Марса не так богата, — зато и жизнь его была не так расточительна, как земная. Огнем и кровью залита каждая страница истории на Земле, залита настолько, что летописцы и историки долго почти ничего другого не могли вычитать из нее. Конечно, и на Марсе насилие, разрушение, истребление сыграли свою роль; но там она никогда не была так чудовищно грандиозна. Медленнее шло марсианское человечество, но никогда оно не знало ни худших форм нашего рабства, ни гибели целых цивилизаций, ни таких глубоких и жестоких реакций, как наши. Даже бесчисленные войны феодализма, несколько тысячелетий там царившего,

были сравнительно чужды того бессмысленно-зверского опьянения кровью, какое отличало феодальные войны у нас: за жестокими битвами там редко следовали массовое убийство и опустошительный грабеж мирного населения. Сквозь варварство эпохи пробивалось какое-то инстинктивное уважение к жизни и труду.

Почему это было так? Бедна и сурова была природа планеты, и опытом тысяч поколений накоплялось смутное сознание того, как трудно восстанавливается разрушенное. Меньше было и разъединения между людьми: ближе были друг другу разные племена и народности, легче общение. Суша не разорвана широкими океанами и морями на самостоятельные материки, горные цепи не столь высоки и непроходимы, как на Земле; передвижение много легче благодаря меньшей силе тяжести: вес всех предметов более чем в два с половиной раза меньше, чем у нас. Разные языки, выйдя из одного общего начала, никогда не удалялись до полного расхождения, и уже в феодальную эпоху, с учащением дальних походов и торговых сношений, вновь стали сближаться между собою; к ее концу это были скорее областные наречия, чем отдельные языки. Взаимного понимания между людьми было больше, единство их опыта глубже.

Около 1000 года после Р. Х., по нашему счету, феодализм в большинстве стран Марса уже доживал свое время. Денежное хозяйство за предыдущие пятьдесят веков успело проложить себе дорогу, и торговый капитал все решительнее оспаривал у старого землевладения власть над обществом. Повсюду шла культурная революция, но еще в религиозной оболочке — под видом реформации древних феодальных религий. Крупные князья и короли, «собиратели земель», пользовались положением, чтобы подорвать силу своего

наиболее опасного соперника — жречества — и утвердить монархическую систему. Около 1000 года на месте прежних тысяч мелких удельных княжеств имелось уже только около двадцати бюрократических монархий, а большая часть гордых феодалов поступила на службу и ко двору королей.

Но за это время распространились мануфактуры, и капитал еще вырос. Ему стало тесно под опекой полицейского государства, и он начал свою освободительную борьбу. Приблизительно от 1200 до 1600 года идет, под его невидимым руководством, ряд политических революций в разных странах.

В конце XIV века началась промышленная революция, вызванная появлением машин, и ход развития стал ускоренным. К 1560 году не только повсюду, кроме немногих отсталых окраин континента, водворился демократический строй, но было достигнуто еще нечто большее — почти полное культурное и политическое объединение. Выработался общий литературный язык, поглотивший большинство прежних областных диалектов, и создалась путем частью войн, частью договоров гигантская Федеральная республика, охватившая около трех четвертей планеты. Оставалось довершить дело завоеванием нескольких полуфеодальных государств, и это было систематически выполнено федеральным правительством за последующие полвека.

Около 1620 года было покорено последнее независимое государство, — страна, обозначаемая на наших картах как «Таумазия Феликс» (Счастливая Страна чудес), где властвовал древний дом герцогов Альдо. Таумазия представляет большой южный полуостров континента, от которого она теперь, впрочем, совсем отделена каналами с их озерами. В те времена обита-

емой была только прибрежная полоса Таумази, обращенная к Южному океану; вся внутренняя часть, где теперь находится огромное Озеро Солнца, представляла безводную пустыню. Население — несколько сот тысяч крестьян и рыбаков — отличалось суровыми, простыми нравами, консерватизмом и религиозностью; хозяйство было еще, главным образом, натуральное, отношения между феодалами и крестьянством вполне патриархальные. То была настоящая Вандея. Она и сыграла в истории Марса роль Вандеи.

Старый герцог Альдо не пережил крушения. Но остался его сын и наследник, молодой Ормэн. Когда Федеральная республика объявила войну Таумази, он находился в Центрополисе, главном городе республики, куда приехал для переговоров. Там он и был задержан на все время войны. Республика не конфисковала поместий герцогского дома, и, не имея политической власти, Ормэн Альдо сохранил значительную долю земель Таумази в качестве помещика. Внешним образом он вполне примирился со своим новым положением. Каждый год он на несколько месяцев приезжал в Центрополис и вел там жизнь миллионера из золотой молодежи, делая вид, что совершенно не интересуется политикой. На самом же деле он внимательно наблюдал отношения общественных сил и искал связей среди недовольных элементов — остатков духовенства и аристократии, а также разных сепаратистов, мечтавших о восстановлении независимости родных окраин. Остальное время он проводил у себя, в Таумази, разъезжая по всему ее протяжению под предлогом охоты или хозяйственных расчетов с арендаторами.

Почва для его агитации была самая благоприятная. Его поддерживала не только сила заветов прошлого и все влияние духовенства на темную массу, но еще

больше — мучительная экономическая эволюция страны: вторжение торгового и ростовщического капитала. Налоги, установленные центральным правительством, сами по себе не были бы тяжелы, но их надо было уплачивать деньгами, а деньги составляли редкость в Таумазии. Крестьяне исстари привыкли жить прямо продуктами своего труда, дополняя недостающее соседским обменом, для которого не требуется денег; натурой отбывались и повинности по отношению к помещикам; даже подати старому герцогскому правительству на девять десятых вносились продуктами и работами. Теперь же надо было в определенное время года платить сборщикам налогов огромные, по тогдашним крестьянским понятиям, суммы денег; надо было что-нибудь продавать для этого, продавать во что бы то ни стало. Так масса населения попадала во власть скупщиков и приезжих торговцев, которые пользовались обстоятельствами без пощады: покупали по ничтожным ценам, давали займы по неоплатноростовщическим процентам, навязывали свои товары, часто вовсе ненужные крестьянину — кулаческими договорами присваивали хлеб на корню и будущий улов рыбы и еще увеличивали свои барыши систематическим надувательством, против которого темное население было беззащитно. С торговлей новые соблазны и потребности проникали в крестьянскую среду, но для их удовлетворения опять-таки нужны были деньги, и это помогало хищникам усиливать свою эксплуатацию. Разорение быстро подвигалось вперед, а с ним росло в Таумазии народное недовольство.

После двадцати лет невидимой работы Ормэна Альдо с его друзьями все было подготовлено как нельзя лучше: десятки тысяч энергичных людей готовы были подняться по первому сигналу, и масса понемногу вве-

зенного оружия лежала в подвалах разбросанных по всей стране замков. Оставалось выжидать удобного момента. Тем временем Ормэн решил позаботиться о продолжении своей династии. Он женился на юной дочери одного из крупных помещиков, горячего участника в заговоре. О любви в этом браке не было и речи: двадцать лет политики и дипломатии сделали из Ормэна мрачную, несимпатичную фигуру. Через несколько месяцев молодая женщина оказалась беременна; тогда Ормэн отослал ее в один из самых дальних замков, где она могла находиться в безопасности на случай восстания. Спустя еще несколько месяцев Ормэн получил два радостных известия: у него родился наследник; а над всей республикой разразился жестокий промышленный кризис. Лучшего случая нельзя было и желать, — Ормэн поднял старое знамя герцогов Альдо.

Борьба была упорная, но слишком неравная. Ормэн обнаружил большой талант полководца и одержал несколько блестящих побед; но республика вскоре мобилизовала громадную армию; а других серьезных восстаний, на которые рассчитывал герцог Альдо, нигде не произошло. И такова ироническая логика жизни, что как раз война с Таумазией помогла республике быстрее оправиться от экономического кризиса: вынужденные огромные покупки и заказы правительства сразу улучшили положение нескольких отраслей производства, а за ними последовали и другие. Через год все было кончено: герцог Ормэн погиб с оружием в руках, Таумазия была покорена навсегда. Феодалная идея больше не воскресала.

Вдова Альдо вместе с ребенком была, по распоряжению правительства, переселена в Центрополис — очевидно, для удобства надзора. Эта столица находится

в нескольких тысячах километров от Таумази, среди континента, на берегу внутреннего моря, называемого Нильским озером; она расположена при устье широкого и очень длинного пролива Инда, связывающего Нильское озеро с Жемчужным заливом Южного океана. Молодая женщина вскоре умерла от тоски по далекой родине. Мальчик вырос среди чужих людей; он был воспитан в республиканских идеях. Его звали, как и отца, Ормэн; но он впоследствии всегда подписывался «Мэнни»; это — то же самое имя, только в демократической форме, — наподобие того, как у нас коронованную особу называют «Иоанн», а обыкновенного человека — Иван.

Из Мэнни вышел первоклассный ученый — физик и инженер. Нуждаться ему никогда не приходилось, хотя все имущество отца было конфисковано: от родственников по матери ему осталось порядочное наследство. Это позволило ему в течение пяти лет, начиная с двадцатилетнего возраста, совершить ряд смелых и дальних путешествий по великим пустыням континента. В те времена меньше половины суши было заселено: системы каналов не существовало, и вся внутренность материка, около трех пятых его поверхности, была лишена воды.

В этих путешествиях, очевидно, и зародился его план Великих Работ.

Первым полем инженерской работы Мэнни явилась Ливия. Эта страна, расположенная близ экватора, у обширного залива Большого Сырта, пользуется у земных астрономов незаслуженно плохой репутацией. Скиапарелли нашел, что большой западный полуостров Ливии скрылся под водой в несколько лет. На самом же деле это просто невольная ошибка наблюдения. У берегов Ливии находится огромная, длинная

отмель; на ней марсиане долго разводили гигантские плантации одной водоросли, волокна которой применялись для производства тканей. Цвет ее, красный, как и у всех растений планеты, создавал иллюзию, будто там суша. Новая техника производства одежды сделала излишним разведение водоросли, и иллюзия исчезла. В небольшой залив к северу от этой отмели теперь впадает канал Нэпентес; идя к востоку, он в нескольких десятках километров от моря образует озеро Мёрис, вдвое больше нашего Ладожского; затем направляется дальше, загибаясь дугой несколько к северу, и через озеро Тритона сливается с целой системой других каналов. Мэнни прорыл первую часть канала Нэпентес, от моря до озера Мёрис. Озеро это тогда и образовалось среди пустыни, благодаря тому, что часть ее представляла впадину, дно которой было значительно ниже уровня моря.

В силу таких же условий проведенные инженером Мэнни через Таумазию каналы Нектар и Амброзия породили Озеро Солнца — внутреннее море, размером в половину Каспийского.

При жизни самого Мэнни была закончена только небольшая часть нынешней сети каналов; но почти вся она была уже намечена в проектах, выработанных им и его продолжателем, инженером Нэтти.

Эти два человека — главные действующие лица романа.

Леонид Н.

ПРОЛОГ

I. Мэнни

Официальное совещание по вопросу о канале через Западную Ливию было созвано зимой 1667 года, по земному счету, в министерстве Общественных Работ. Среди сотни участников находились представители главных банковых картелей, а также наиболее заинтересованных промышленных трестов и крупнейших частных предприятий, целый ряд знаменитых ученых и выдающихся инженеров, депутаты парламента и делегаты от правительства. Министр открыл собрание краткой речью, в которой выяснил его цель.

— Вы все, я полагаю, — сказал он, — уже знакомы в общих чертах с проектом инженера Мэнни Альдо по его замечательной книге «Будущее Ливийской пустыни». Общество и парламента отнеслись со вниманием к этому проекту; о том свидетельствует ваше присутствие здесь. По предложению Центрального Правительства сам автор сделает нам сегодня доклад, в котором конкретнее изложит техническую и финансовую сторону дела. Правительство обращается к вашей высокой компетентности, придавая важное значение вашим мнениям и советам. Было бы очень желательно, чтобы совещание в целом смогло прийти к определенному принципиальному выводу, за —

или против проекта. Дело идет не только о мирном завоевании новой страны для человечества, но также о затратах, исчисляемых от одного до двух миллиардов.

Затем он дал слово докладчику.

Сначала Мэнни сжато и точно, с цифрами и чертежами, которые тут же воспроизводились фонарем на экране, описал рельеф местности.

— Я сам со своими помощниками, — сказал он, — произвел новый промер Ливийской котловины от юга к северу и от востока к западу: указания прежних путешественников были слишком приблизительны и неполны. Пространство несколько более 600 тысяч квадратных километров заключено со всех сторон между горами, достаточно высокими, чтобы не пропускать дождевых облаков. С юга и с запада эти горы довольно близко подходят к океану, а на севере и на востоке за ними начинаются другие пустыни. Когда-то вся котловина была морским дном; но с тех пор уровень океана сильно понизился, она отделилась от него и высохла; однако ее центральная часть и теперь, как вы можете видеть по чертежам поперечных разрезов, остается ниже поверхности океана от 50 до 200, местами даже до 300 метров. Это пространство размером около 50 тысяч квадратных километров немедленно было бы вновь затоплено, если бы удалось привести его в сообщение с Океаном. Тогда весь климат страны резко изменился бы.

В настоящее время это сплошная безводная пустыня, где поверхностный слой песку измельчился в пыль, губительную для легких и для глаз. Там нет оазисов, которые могли бы служить этапами отдыха для путешественников. За последние сто лет из восьми экспедиций, проникших в глубину пустыни, две не вернулись

вовсе, остальные потеряли часть сотрудников. Наша экспедиция была оборудована лучше всех прежних, но зато, правда, и работала гораздо дольше, она возвратилась в половинном составе; кроме меня одного, все были серьезно больны. Особенно тяжелы нервные заболевания — от полного однообразия окружающей среды и совершенного отсутствия в ней звуков. Там настоящее царство молчания.

Когда в Ливии удастся создать внутреннее море, то вся она станет иной. Влага, испаряемая тропическим солнцем с поверхности этого моря, будет задерживаться горами, окружающими котловину, и сбегать с их склонов обратно в виде ручьев и речек, давая небогатое, но достаточное орошение. Почва пустыни, по нашему анализу, обладает в избытке солями, необходимыми для жизни растений, и вода сразу сделает ее плодородной. При научно-правильной постановке сельского хозяйства страна прокормит до 20 миллионов человек, — а все население нашей планеты сейчас — 300 миллионов.

Конечно, для такой колонизации потребуются десятки лет. Но уже сразу после образования внутреннего моря получится легкий доступ к северным и восточным горам Ливии, в которых сосредоточены ее гигантские минеральные богатства. Там еще до нас были найдены целые скалы лучшей железной руды, магнитной, и широкие пласты каменного угля, выходящие наружу в трещинах и сдвигах геологических слоев. Мы привезли с собой образцы серебряно-свинцовой руды, по отзыву специалистов, одной из лучших в мире, а также ртутной и даже урановой. Мы нашли район, где имеется самородная платина, драгоценный денежный металл... Но нет ни малейшего сомнения, что мы видели не все, а только незначи-

тельную долю, — слишком мало времени и сил было в нашем распоряжении.

Затем Мэнни перешел к вопросу о самом канале. Выбор места не представлял никаких трудностей, так как подходящий пункт имелся только один: там, где котловина всего больше приближается к восточному берегу и где горный массив суживается до нескольких километров.

— Здесь, — говорит Мэнни, — вся длина канала не превзойдет 70 километров. У нас уже есть каналы для судоходства вдвое и втрое длиннее этого. Но дело идет о том, чтобы наполнить и поддерживать внутреннее море. Обыкновенный канал просто затерялся бы в песках пустыни. Вычисления показывают, что тут его ширина должна быть в пять раз, а глубина втрое больше обычной. Затем часть его, около трети, должна пройти по скалистому грунту, и главное — приходится прорезать горный перевал. Надо будет взорвать гигантскую массу известняков, а под ними даже гранитов, составляющих основание цепи. Потребуется около полумиллиона тонн динамита. Рабочей же силы, по предварительному расчету, понадобится двести тысяч человек, на четыре года, при условии применения лучших и дорогих машин.

Далее Мэнни изложил финансовый план дела. Общая сумма расходов, если всюду брать наибольшие величины, может достигнуть 1500 миллионов. Операция, очевидно, по силам только государству. В течение четырех лет оно выпускает специальный заем, так чтобы каждый год покрывать и издержки работ, и проценты по самому займу. Потом, когда станет возможна эксплуатация новой страны, и проценты, и заем будут постепенно оплачиваться продажей или сдачей в аренду рудных и плодородных участков. В руках государства

окажется земельная собственность ценою в несколько десятков миллиардов.

Все крупные финансовые учреждения поддержат заем, для них это — целое поле новых операций. Множество отраслей промышленности заинтересовано в огромных заказах, которые будут порождены работами.

— Помимо всего этого, — сказал Мэнни, — я могу указать еще один важный для всех финансистов и предпринимателей мотив, чтобы поддерживать это дело. Вы знаете, что за последние полтора века время от времени, с разными промежутками, происходят жестокие финансово-промышленные кризисы, когда кредит сразу падает, и товары не находят сбыта, причем разоряются тысячи предприятий и остаются без работы миллионы рабочих. Знаменитый Ксарма, которому его социалистические взгляды не мешают быть самым ученым и глубоким экономистом нашего времени, заявляет, что новый такой кризис, сильнее всех прежних, последует через один-два года, если только не случится расширения рынка, чего теперь, — говорит он, — по-видимому, ожидать не приходится. Вы помните, что Ксарма точно предсказал предыдущий кризис, и есть все основания ему верить. Но прорытие Ливийского канала как раз и создаст сильное расширение рынка, сначала благодаря самим работам, а затем благодаря включению в область производства целой новой страны. Это должно надолго замедлить наступление кризиса и всех его бедствий.

Мэнни закончил доклад указанием на то, что грандиозные размеры и огромная сложность поставленной задачи потребуют величайшего единства в ее выполнении.

После небольшого перерыва председатель открыл дебаты. Для вопроса докладчику первым взял слово

Фели Рао, директор самого сильного банковского картеля «Железнодорожный кредит». Это был седой, но очень моложавый старик с пронизательными холодными глазами.

— В вашем докладе вообще не было речи об административно-организационной стороне дела. Но я полагаю, что именно к ней относилась ваша последняя фраза — о необходимости единства в выполнении. Если я правильно вас понял, то, по вашему мнению, руководство работами должно находиться в руках одного лица, которое само выбирает себе сотрудников, сосредоточивая у себя все нити дела и на себе всю ответственность.

— Да, именно так, — ответил Мэнни.

— Но не находите ли вы, что здесь затрагивается слишком много и слишком сложных интересов, чтобы одному лицу было удобно брать на себя такое бремя? Не будет ли удобнее некоторая коллегиальность в руководстве, если не техническом, то административном? И не допустим ли некоторый контроль, например, со стороны организаций, оказывающих финансовое содействие?

— Я не думаю, чтобы так было лучше. Работы должны вестись по заранее установленному, утвержденному правительством плану; коллегиальность же бывает полезна для выработки и обсуждения плана, а не для выполнения. Контроль должен быть со стороны правительства, парламента, общественного мнения, основанный на непрерывной и публичной отчетности; в этом виде он будет достаточен. Замечу, что и контроль правительства я представляю себе не так, чтобы оно могло во всякий момент вмешиваться во все частности дела. Вмешательство мне кажется уместным лишь тогда, когда изменяется принятый план дела или нарушается смета.

— Я думаю, что мы можем говорить прямо, — сказал Фели Рао. — И справедливость, и целесообразность, как это ясно для всех, требуют, чтобы во главе работ стали вы. То, что вы сказали, выражает условия, на которых вы согласились бы взять на себя руководство делом?

— Да, на иных условиях я не мог бы принять никакого участия в нем: либо вся ответственность, либо никакой.

В собрании почувствовалась атмосфера неуверенности, колебания, почти недовольства. Рао продолжал:

— Но мне кажется, что в организации дела есть вещи очень сложные, способные отнять много внимания, в то же время едва ли даже непосредственно интересные для вас, человека науки... Например, число нанимаемых рабочих вы должны, конечно, устанавливать на основании своего технического плана. Но условия их найма...

— Я считаю это, напротив, очень важным именно с точки зрения успешности работ. Мне известно, какими путями во многих предприятиях пытаются достигнуть экономии на условиях труда. Рабочий, который плохо питается или переутомлен, не обладает полной рабочей силой. Рабочий, который недоволен, угрожает неожиданностями, нарушающими ход дела. Мне нужна полная рабочая сила, и мне не надо неожиданностей.

Фели Рао заявил, что у него других вопросов пока нет. На минуту водворилось тяжелое молчание. Затем выступил инженер Маро, представитель треста взрывчатых веществ, человек еще довольно молодой, но очень известный в своей отрасли.

— Мне хотелось бы направить обсуждение на технический и финансовый вопросы, — сказал он. — Вопрос административный я считаю хотя и важным, но не

в такой мере. Со своей стороны, должен сказать, что те гарантии, которые представляет для нас личность инженера Мэнни Альдо, а также его понимание контроля и отчетности, кажутся мне вполне достаточными. Решающее значение в этом случае, на мой взгляд, имеет отношение правительства; на него, в конце концов, ложится ответственность за всю организацию контроля: если оно посредством займа дает средства на дело, то оно тем самым и обеспечивает все частные финансовые интересы; оно стоит между займодавцами и управлением работ. Если бы оно находило возможным согласиться с условиями инженера Альдо, то для нас, я думаю, не было бы основания особенно настаивать на дальнейшем их обсуждении. В этом смысле я и позволю себе задать вопрос присутствующим здесь представителям Центрального и местного Ливийского правительства.

Министр общественных работ ответил:

— Мы предполагали изложить точку зрения правительства к концу дебатов, как обыкновенно делаем в таких совещаниях. Но на прямой вопрос, во избежание неясностей, приходится отвечать немедленно. Прежде всего напомним, что окончательное решение принадлежит Центральному парламенту. Совет же Министров, предварительно обсудив дело, не нашел, со своей стороны, ничего неприемлемого в пожеланиях инженера Альдо, инициатора и автора проекта.

Ливийский губернатор заявил, что правительство штата Ливии вполне солидарно с Центральным.

Атмосфера собрания сразу изменилась. Маневром Маро была побита главная карта оппозиции. Обсуждение перешло к технике работ и к условиям займов. Победа Мэнни была вне сомнения.

Наступило обеденное время, и заседание было закрыто. Все члены совещания были приглашены на

обед у министра. На пути в обеденную залу Фели Рао подошел к инженеру Маро.

— Я понимаю вашу позицию, — сказал он с видом добродушной откровенности. — Вы — один из администраторов динамитно-порохового треста, а заказы в полмиллиона тонн очень редки. Но скажите по совести, где вы нашли гарантию административных талантов Мэнни? Его технический план, по-видимому, неуязвим, финансовый, — я могу сказать, — очень хорош. Однако управление колоссальными работами и сотнями тысяч людей... Где и когда проявил он такие организационные способности? И ему двадцать шесть лет. Не решаетесь ли вы вместе с правительством на прыжок в неизвестное?

Загадочная улыбка скользнула по лицу Маро.

— Административные таланты?.. Как можете вы в них сомневаться? Сын герцога Ормэна Альдо...

Рао пристально посмотрел на собеседника, глаза которого вновь стали непроницаемы.

— Я думаю, что мы столкнемся с вами, когда придет время, — сказал финансист.

За обедом он сидел рядом с министром. Когда разговоры оживились и стали громки, Рао обратился к соседу вполголоса.

— Правительству сейчас, конечно, спокойнее передать все Мэнни. Но осторожно ли оно поступает, выдвигая само этого талантливое честолюбца и давая в его руки огромные средства? Не явная ли это опасность в будущем?

— Нет, — ответил министр, — я знаю Мэнни, он для нас не соперник, именно потому, что его честолюбие чрезмерно. Можете быть уверены, что уже сейчас у него есть еще более грандиозные планы, которые он пока скрывает. Быть министром, президентом респуб-

лики — это не интересно для него. Скажу более, — с улыбкой прибавил министр, — он не захотел бы даже быть финансовым властителем мира. Его книга о Ливии заканчивается словами: «Все пустыни мира имеют свое будущее». У него честолюбие богов.

II. Нэлла

На южном берегу узкого залива, от которого теперь начинается канал Нэпентес, расположен террасами по склону прибрежных холмов город рыбаков Ихтиополь. В те времена это был скорее не город, а большое селение с несколькими тысячами жителей; больших домов там было очень немного, и то большей частью общественные здания, остальное — деревянные домики и глиняные хижинки. В одной из таких хижин, недалеко от укрепленной насыпи, к которой приставали мелкие суда, жил много лет старый рыбак со своим сыном. Сына звали Арри; имени отца не сохранила история.

Лет за шесть до начала Ливийских работ, перевернувших всю жизнь Ихтиополя, старику случилось во время одного из его обычных плаваний на своей небольшой шхуне подобрать шлюпку с потерпевшего крушение корабля. В числе спасенных была красивая девочка двенадцати лет, которую звали Нэлла. Она рассказала рыбаку свою историю.

Отец ее работал механиком на одном из заводов столицы; он зарабатывал довольно много и ничего не жалел, чтобы дать хорошее воспитание дочери. Случился взрыв машины, которую подвергали испытанию; отец был убит на месте. Вскоре умерла от болезни и мать. Администрация выяснила, что у девочки был еще дядя, мелкий чиновник в главном городе штата Мероз,

на севере Большого Сырта. К этому дяде и решили отправить девочку. Но она совсем его не знала. После крушения корабля их шлюпку несколько дней носило по морю. Матросы отдавали ей свою порцию воды.

Нэлла понравилась рыбаку; он находил, что она похожа на его умершую жену. Он предложил бы ей остаться у него, но не решался: она казалась ему барышней. Когда пришел мэр, чтобы спросить ее, куда она желает ехать, она сама обратилась к старому рыбаку и сказала:

— Я хотела бы жить с вами. Вы и ваш сын очень добры, а дядя мне чужой. Я не буду вам в тягость: я хорошо умею шить и буду помогать в хозяйстве.

Старик был очень рад. Нэлла внесла много света и жизни в его хижину. Когда рассеялась тень перенесенных несчастий, девочку за ее приветливую улыбку, серебристый смех и мягкие, иногда слишком тонкие для окружающих шутки прозвали Веселой Нэллой. У нее был прекрасный голос, она знала много песен от своей матери и постоянно пела за работой. Впоследствии она сама складывала песни и находила для них красивые мотивы. Она также много читала — все, что могла найти в коммунальной библиотеке. Ради своей приемной дочери старик стал выписывать газету.

Так прошло пять лет. Девочка стала девушкой; Арри уже было двадцать два года. Старый рыбак на ловле нечаянно поранил себя грязной остройгой; в ране оказалось заражение, и через неделю он скончался. Несколько месяцев Арри с Нэллой продолжали жить по-прежнему, как брат и сестра. Но вот Арри, вернувшись из необычно долгой поездки по морю, сказал:

— Нэлла, я много думал и вижу, что дальше так оставаться нельзя. Я слишком люблю тебя, Нэлла;

и если твое сердце ничего не говорит тебе, то мне надо уйти.

Лицо девушки стало печальным.

— Я очень люблю тебя, Арри; никого на свете нет для меня дороже. Но потому я и не могу обманывать тебя; и сейчас мое сердце сжалось, а не забилося. Уйду я, а не ты; это твой дом, твоя страна. Ты можешь не бояться за меня.

— Я не боюсь за тебя, Нэлла, но отправиться должен я, потому что здесь все будет напоминать мне о том, что невозможно. Теперь мне одно спасение: новые люди и страны, новая жизнь; я буду искать даже другую работу. Если ты согласишься остаться тут, я буду, по крайней мере, знать, где ты, и мне легче будет узнавать, что с тобой, чтобы явиться, когда я буду нужен.

Арри исчез, а Нэлла одна жила в старом домике. Побледнела ее улыбка, и грустно стали звучать ее песни, когда в сумерки она склонялась у окна над своим шитьем.

Однообразно шли недели и месяцы. Миновал период ночных дождей, который заменяет зиму в тропических странах Марса. Соседи приходили к Нэлле с вопросами по поводу странных слухов: будто один бывший аристократ собирается высушить Ливийское море с его песчаной балкой, на которой ловится столько рыбы, и взамен того затопить пустыню; а правительство будто бы разрешило ему это. Нэлла, которая читала не только газеты, но и книгу Мэнни, подробно объясняла, в чем дело; мужчины успокаивались, женщины с сомнением качали головами. Потом неизвестное предстало воочию.

Ихтиопольский рейд и весь залив необыкновенно оживились. Ежедневно приходило с моря по несколь-

ку больших пароходов; некоторые останавливались перед Ихтиополем, другие нет, но все затем уходили к самому концу залива, — туда, где должен был начинаться новый канал. С высоты прибрежных холмов, благодаря небольшому расстоянию — десяток километров — можно было видеть какое-то движение между кораблями и берегом; очевидно, они что-то выгружали, что именно — разглядеть было нельзя; но это что-то постепенно образовывало гигантский муравейник, который все дальше раскидывался и растягивался по направлению к горам, составляющим границу пустыни. С огромной быстротой на красновато-сером фоне размножались белые пятнышки палаток в две полосы с широким промежутком между ними; двигались и мелькали тысячи черных точек; можно было догадаться, что это — человеческие существа; возникали еще какие-то более крупные и неподвижные темные пятна, — вероятно, временные здания складов, а также большие машины. В самом Ихтиополе стало встречаться много новых лиц, и говор с чуждым акцентом часто слышался на улицах. Несколько сот молодых людей ушло из города на работы, где их принимали охотно и платили очень хорошо. Цены на все поднялись и продолжали подниматься, но мало кто огорчался этим. Платиновые монеты, с их глухим звоном, стали падать на прилавки чаще, чем прежде простые серебряные. Лица торговцев и даже большинства рыбаков стали гораздо оживленнее, но в то же время какая-то лихорадочная нервность примешалась к их движениям. Много товаров появилось в лавках. Женские наряды стали новее, ярче; женский смех звучал громче и резче.

Нэлла имела сколько угодно работы. Большую часть дня ее можно было видеть с шитьем у раскрытого

окна. Ее выражение не сделалось веселее; но когда она поднимала голову от работы и смотрела на расстилавшуюся вдаль поверхность залива, тогда в зеленовато-синих ее глазах проходила словно далекая греза и какое-то ожидание. Песня, тихая днем, громче звучала в сумерки, когда жизнь с ее шумом от набережной удалялась в глубину города, и девушка чувствовала себя свободнее.

Иногда у берега неподалеку от домика Нэллы приставал быстროходный изящный катер, и несколько человек, сойдя с него, направлялись к ратуше или почте. Во главе их шел высокий, атлетического сложения мужчина с серыми, стальными глазами. Обыкновенно эти глаза как будто не замечали окружающего; взгляд их, устремленный вперед, к невидимой цели, был неподвижен. Но однажды нежные звуки песни поразили на пути внимание человека; он обернулся и увидел Нэллу. Их глаза встретились; она побледнела и опустила голову. С тех пор каждый раз, когда ему приходилось идти мимо, он пристально взглядывал на красивую работницу. Нэлла не всегда опускала глаза.

Был странный день. С утра над далекими горами, которые охраняли тайну пустыни, поднимались серые облака, медленно рассеивались и вновь возникали: доносился протяжный гул, за которым следовали глухие раскаты, подобные грому. Стекла дрожали в домах, и были моменты, когда казалось, что земля вздрагивает. Ветерок с востока приносил какую-то мелкую пыль и слабый, едкий запах. Наконец, — невиданное на Марсе явление, — среди дня над городом образовалась туча, и пошел дождь. Нэлла объяснила встревоженной соседке, что бояться нечего, — это взрываются гигантские мины в горах, чтобы проложить дорогу для

канала. Но все-таки она и сама испытывала какое-то судорожное беспокойство.

К вечеру взрывы прекратились. Перед закатом солнца вновь причалил катер. На этот раз главный инженер сошел с него один. Проходя мимо окна Нэллы, он ей поклонился. В его лице было необычное нервное оживление; глаза светились лихорадочным блеском; походка не была такой ровной и уверенной, как всегда, — словно пары динамита немного опьянили его.

Наступила ночь, а Нэлла все сидела у открытого окна. Она смотрела на темное небо с ярко сиявшими звездами. Маленькое личико Фобоса скользило от запада им навстречу, капризно меняя на глазах свое очертание и порождая от предметов бледные, непрочные тени; ни на какой другой планете солнечного мира людям не приходится видеть такой удивительной луны. Крошечный серпик Деймоса словно застыл среди небесного свода; а недалеко от него опускалась к закату зеленоватая вечерняя звезда — Земля с своей неразлучной спутницей. Зеркало залива повторяло в более слабых тонах небесную картину.

Песня лилась сама собою, связывая воедино небо и море и человеческую душу.

Когда песня замолкла, слышались тяжелые шаги. Высокая фигура остановилась перед окном, и мужской голос тихо, мягко произнес:

— Вы прекрасно поете, Нэлла.

Девушка даже не удивилась, что главный инженер знает ее имя. Она ответила:

— С песней легче жить.

— Если вы позволите, я зайду к вам, — сказал Мэнни.

— Да! — без колебания вырвалось у нее.

Так решилась судьба Нэллы.

Когда затихли порывы ласки, она рассказала ему все о своей любви. Она давно знала его. Она видела его несколько лет тому назад, когда он проезжал там по дороге в пустыню, где другие навсегда оставались в объятиях песчаной смерти. Она была девочка, но не боялась, а гордилась за него; и потом ждала. Через несколько месяцев он вернулся бледный, похудевший, но победитель. Какая радость! В их лодке он ехал на свой пароход, а она стояла на берегу, и ее сердце билось очень сильно. Потом она читала его книгу; и она, конечно, поняла, что все это, — то, что он делает теперь, — только первый шаг, только самое начало, а дальше будет то, чего он еще не сказал, но давно думает и твердо знает...

В темноте ночи Нэлла не могла видеть, как сначала радостное удивление отразилось на лице Мэнни, и как тяжелая тень легла затем на него. Но она почувствовала странную неподвижность его тела и замолчала.

Долго и напряженно думал Мэнни. Наконец он сказал:

— Прости меня, Нэлла. Я ошибся, я не знал тебя. Ты стоишь бесконечно большего, чем то, что я могу тебе дать. Если бы для меня было возможно связать свою жизнь с другой жизнью, я не захотел бы никого, кроме тебя, Нэлла. Но ты угадала. Я взял на себя задачи, превосходящие все, что когда-либо пытался осуществить человек. На пути к ним меня ожидают величайшие препятствия и жестокая борьба. Еще я не сделал первого шага, а уже ненависть начала оттачивать свое оружие. Чтобы все преодолеть, ни перед чем не остановиться, я должен быть вполне свободным, я должен быть неуязвимым... Нэлла! Неуязвим в борьбе только тот, кто одинок.

Его голос странно изменился, как бывает тогда, когда сдерживают боль. Нэлла ответила:

— Не бойся и ни о чем не жалея. Мне ничего не надо. Я ведь знала, что это так будет. И даже сейчас я чувствовала, что это — сон.

Вновь наступило молчание. Робкими, словно почтительно-нежными стали поцелуи Мэнни.

— Нэлла, спой мне песню.

Казалось, что сама ночь и вся природа прислушиваются к звукам. Слова песни говорили о девушке, которая никого не послушалась и все отдавала своему милому; а старинная мелодия — о чувстве, глубоко и прозрачном, как небо, сильном, как судьба.

Перед рассветом ушел Мэнни и больше не возвращался.

Долго после этого не было видно, не было слышно Нэллы. А потом она опять появилась со своей работой у окна, немного бледная и с новым выражением в лице, с выражением спокойного, уверенного ожидания. В сумерки и ночью очень тихо звучали ее песни, — точно она не хотела, чтобы кто-нибудь расслышал их. Одна из песен была новая; Нэлла пела ее чаще других, но еще больше понижая голос. Вот смысл ее слов:

Чудную тайну ношу я с собою:

Я и одна, и вдвоем;

Счастье, убитое злою судьбою,

В теле воскресло моем.

Звездочка, скрытая облаком темным,

Нежный в бутоне цветок,

Бабочка дивная в коконе скромном, —

Света и жизни залог...

Как я тебя ожидаю, малютка,
И нетерпением горю!
Как наблюдаю, любовно и чутко,
Слабую жизни зарю!

Ты беспокоен сегодня, мой милый,
Ножками бьешь свою мать.
Что за предчувствие дух твой смутило,
Не дало сладко дремать?

В силе порывистой этих движений
Мальчика чувствую я...
Будешь бойцом, мой невидимый гений,
Ласка живая моя!

Будешь в отца ты, могучим и твердым,
Верным идее бойцом,
Но не холодным, не властным и гордым,
В этом не сходен с отцом.

Все победит он упорною волей,
Мощью ума своего;
Но — над людскою тяжелою долей
Сердце не дрогнет его.

Девушки душу разбив мимоходом,
Даже не вспомнит ее...
Так и для всех, обреченных невзгодам,
Сердце закрыл он свое.

Силы стихий, как и он, побеждая,
К людям ты будешь нежней.
Спи же, дитя, моя тайна святая,
В первой постельке своей!

Проходили ночи, и дни, и недели. Перед началом периода ночных дождей неожиданно приехал Арри. Он был одет, как одевались рабочие в столице, и казался много старше прежнего. Нэлла сказала ему:

— Ты явился вовремя, Арри. Теперь увези меня отсюда.

Он ответил:

— Я чувствовал, что я тебе нужен. Мы поедем в столицу.

Через несколько дней старый домик был продан. Арри с Нэллой сели на пароход и навсегда покинули родную Ливию.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. План Великих Работ

Звезда Мэнни взошла высоко.

Чудо порождает веру; а чудо было совершено. Могучий поток вод океана ринулся по пути, указанному рукой человека; по пути, на котором горная цепь была разорвана волею человека: затем гордые пароходы поплыли над песками древней пустыни. Тень облаков осенила, и дождь напоил раскаленную почву, сто тысяч лет не знавшую такого счастья. Детский говор ручейков ворвался в Царство Молчания; яркие травки вступили в борьбу с желто-серой пылью прошлого. Силе стихий было нанесено беспрецедентное поражение. Стало казаться, что все возможно для человеческого усилия. Пришло время, когда Мэнни мог высказать свою идею во всей полноте, с уверенностью, что его выслушают.

Тогда появился знаменитый «План работ», наметивший преобразование всей планеты. В нем была спроектирована та гигантская система каналов, которая была выполнена марсианами в последующее столетие и на основе которой искусственное орошение более чем удвоило обитаемую территорию завоеванием всех пустынь. Опираясь на самое тщательное изучение гео-

графических и геологических условий, Мэнни выяснил и наилучшее направление каналов, и сумму человеческого труда, времени, капитала, в которую они должны были обойтись. Последующим поколениям пришлось лишь немного изменить и дополнить в его расчетах.

Вопрос был в том, откуда взять всю эту массу средств и труда. Мэнни показал, что вести дальше дело так, как с Ливийским каналом, т. е. путем займов, покрываемых потом доходами отнятых у пустыни земель, значило бы затянуть дело на несколько сот лет. Новый финансовый план, предложенный Мэнни, показывает, что этот человек умел быть революционером не только в своей специальной области. То был план «национализации» земли, с обращением всей прежней земельной ренты в источник средств на выполнение Великих Работ.

Нечего и говорить, что такой проект не мог бы осуществиться, если бы не было особенно благоприятных для него исторических условий. Но они имелись налицо. Мэнни не первый понял это, он только в подходящий момент сумел дать наилучший лозунг для сильного общественного движения, которое шло со стороны различных классов.

Самостоятельное крестьянство к тому времени почти исчезло с лица планеты. Больше девяти десятых всей земельной собственности находилось в руках нескольких тысяч чудовищно богатых владельцев. Это были главным образом потомки древней родовой аристократии, а частью потомки разных государственных деятелей, которые во время буржуазных революций и последних феодальных восстаний сумели воспользоваться своей властью, чтобы присвоить себе конфискованные поместья непокорных реакционеров. Разорить крестьян и прибрать к рукам их участки этим

лендлордам было тем легче, что при сухом вообще климате планеты искусственное орошение давало огромные преимущества тем хозяйствам, которые могли его применять, а оно требовало капиталов и было не под силу мелким собственникам. Устраивались крестьянские ассоциации, но рано или поздно запутывались в долгах и погибали. За несколько столетий дело дошло до того, что мелкое землевладение сохранялось только в немногих отсталых уголках.

Между тем общее экономическое развитие вместе с ростом населения увеличивало спрос на землю и хлеб; быстро возрастала дороговизна жизни и с нею — земельная рента. От этого приходилось плохо всем, кроме лендлордов; не говоря уже о пролетарских и полупролетарских массах населения, даже огромное большинство капиталистов находило положение очень стеснительным: прибыль от предприятий урезывалась и высокой арендной платой за землю и высокой денежной платой за труд, на которую, однако, рабочий едва мог существовать. И чем сильнее росла вместе с рентой дороговизна жизни, тем напряженнее с разных сторон искали выхода. Но долгое время толку не получалось, потому что искали в разных, несовместимых направлениях.

Одни предлагали невыполнимые планы законодательного понижения хлебных цен и платы за аренду. Другие понимали, что без отнятия земли у лендлордов ничего поделать нельзя, но расходились в том, как поступить с нею дальше: раздать ли ее мелкими участками во владение безземельным, желающим ее обрабатывать, или передать ее крупными поместьями целым ассоциациям, или, наконец, просто сдавать ее от государства тем, кто будет больше предлагать за аренду, т. е., очевидно, капиталистам. Первый из этих

планов, при всей своей опасности для сельского хозяйства, которому он угрожал гибелью искусственного орошения, насчитывал, однако, множество сторонников среди остатков мелкой буржуазии с родственными ей слоями интеллигенции, а также среди части рабочих, еще сохранивших идеалы крестьянства, из которого вышли их отцы. Второй план имел за себя большинство тогдашних социалистов из рабочих и интеллигентов; против него решительно высказался великий экономист Ксарма, который наглядно показал, что при больших капиталах, необходимых для ведения крупного хозяйства, крестьянские ассоциации скоро подпадут всецело под власть торгового и кредитного капитала, станут их подставными лицами, лишь номинальными владельцами. Но в те времена мало кто из социалистов шел за Ксармой. Третий план — чисто буржуазного «огосударствления» земли — выдвигали некоторые радикальные демократы; ему сочувствовала большая часть капиталистов. На деле только он и был осуществим, но к моменту выступления Мэнни далеко еще не собрал вокруг себя достаточных общественных сил.

На Земле, переживающей теперь аналогичную эпоху, такие же проекты «национализации» поддерживаются ничтожной горстью демократов, а почти вся буржуазия отвергает их как вредную утопию. Откуда это различие? Оно зависит от того, что на Земле гораздо острее и резче развивалось рабочее движение, которое на Марсе шло более медленным и менее бурным темпом. Среди рабочих-марсиан тогда царил дух умеренности и самой трезвой практичности; социализм почти повсюду сохранял мечтательно-филантропическую окраску, приданную ему теоретиками из интеллигенции; призрак социальной революции не

стоял перед буржуазией осязательно-грозной возможностью. Напротив, буржуазия Земли увидела серьезную опасность со стороны пролетариата раньше, чем успела окончательно свести свои счета с феодалами; это изменило ее отношение к ним. Ее пугает мысль о том подрыве, какой нанесла бы национализация земель священному принципу частной собственности, основе нынешнего социального строя: реально показать массам, что собственность целого класса может быть экспроприрована во имя общего блага! Затем, мирная по самому характеру своих занятий, даже несколько трусливая с тех пор, как она стала господствующим, т. е. наиболее удовлетворенным классом, земная буржуазия не особенно полагается на свои собственные усмирительные таланты, а потому высоко ценит остатки воинственности и свирепости, по наследству продолжающие сохраняться у аристократов; и она всегда готова на большие уступки, только бы иметь их союзниками в случае необходимости прямого подавления масс. Но при этом, разумеется, прежде всего пришлось отказаться от идеи национализации.

Впрочем, для большинства стран Земли эта идея и помимо того в самом деле утопична, именно там, где сохраняется еще многочисленное крестьянство; в нем инстинкт собственности не слабеет, а усиливается под гнетом разорения, побуждающего бешено цепляться за последний клочок земли; без истребительной борьбы оно не уступило бы государству права собственности на свои участки и не поддалось бы ни на какие обещания выгодной аренды.

Но на Марсе таких условий не было; положение было несравненно благоприятнее, и Мэнни сумел воспользоваться им. Во-первых, он связал идею нацио-

нализации с великим делом, значение которого было ясно для всех. Во-вторых, он применил в своей книге очень простую и на вид убедительную аргументацию, которая присоединила к буржуазным национализаторам сторонников раздела на мелкие участки и сторонников крестьянских ассоциаций. Он указывал, что, прежде всего, надо сделать наиболее важное — устранить лендлордов. Затем, ввиду невозможности быстро переделить землю или организовать ассоциации для ее коллективного возделывания, государство должно начать со сдачи земли в аренду обыкновенным путем — с торгов. Но ничто не мешает желающим добиваться путем парламентской борьбы перехода к иным формам эксплуатации национализированной земли: путь расчищен тогда для всяких новых проектов, потому что нет главного препятствия — землевладельцев.

Мэнни сам, конечно, не сознавал, насколько обманчивы эти аргументы: раз капитал через государство захватил в свои руки эксплуатацию земли, отнять ее у него было гораздо труднее, чем у прежних, не имевших твердой опоры в обществе лендлордов. Ксарма сразу уловил, в чем дело, но он был защитником плана Мэнни. А другие не смотрели так глубоко: все сторонники крестьянских и артельных идеалов с энтузиазмом примкнули к лозунгу немедленной национализации. Капиталисты тоже ковали железо, пока горячо.

Фели Рао созвал съезд промышленных и банковых синдикатов. Там была выработана программа действий и выбран Совет Синдикатов, который сразу выступил как решающая сила в борьбе. Аграрная революция была проведена через парламент.

Сохранившиеся кое-где остатки крестьянства бунтовали, защищая свою собственность, но были легко

подавлены; это дало только повод экспроприировать их почти без выкупа. Лендлордам вместо выкупа были назначены пенсии, которые, однако, по закону не могли превосходить жалования высших чиновников Республики и были совершенно ничтожны по сравнению с прежними доходами землевладельцев. Синдикаты местами тоже владели землей; они сумели получить для себя наиболее выгодные условия — выкуп без убытка, не считая перспективы огромных прибылей в будущем.

Мэнни не принимал прямого участия в этой борьбе, завершившейся в течение двух-трех лет: он продолжал работать над своим техническим планом. Когда затем он представил Центральному парламенту детальный проект первых десяти каналов, которые он предлагал начать одновременно, проект был немедленно принят, а он назначен ответственным руководителем работ с почти диктаторскими полномочиями.

Работы начались.

II. Темные тучи

Из первой группы каналов, к прорытию которых приступил Мэнни, восемь предполагалось закончить через 20–30 лет; только два таумазийских — Нектар и Амброзия — должны были быть готовы через 10–12 лет: те два канала, которые первоначально образовали внутреннее море Таумазии — Озеро Солнца; третий — Эосфорос — был проведен гораздо позже.

Работы велись в самых различных пунктах планеты, и для Мэнни было невозможно самому руководить ими на местах, но он сумел подобрать себе талантливых сотрудников, постоянно получал от них отчеты по телеграфу и отдавал большую часть времени на

контрольные поездки. Самым выдающимся из этих сотрудников был инженер Маро, который покинул службу в динамитно-пороховом тресте, чтобы предложить свои услуги для нового дела. Через год он уже был первым помощником Мэнни и директором работ в Таумази, на самом важном пункте: там каналы требовалось закончить как можно скорее, потому что результаты предстояли немедленные и для всех очевидные, подобно тому как в Ливии, но в еще более грандиозных размерах. Маро показал себя прекрасным организатором; другие помощники тоже были на высоте своих задач; всех одушевлял энтузиазм великого дела, и первые годы оно шло так, как только можно было желать.

Для рабочих условия труда были очень сносные, но все же, разумеется, случались конфликты с инженерами: из-за штрафов, злоупотреблений властью, неточностей в расчете, из-за увольнений и т. д. До забастовок не доходило; когда директорам работ всего не удавалось уладить, то рабочие соглашались ожидать приезда Мэнни; они по опыту полагались на его беспристрастное, чисто деловое отношение к спорным вопросам и знали, что при всей своей холодной сухости он никогда не пожертвует хотя бы малейшей частицей справедливости, как сам ее понимает, ради сохранения престижа их начальников. Инженеры не всегда бывали этим довольны, но даже те, которые между собой называли его «диктатором», признавали, что он внимательно выслушивает их мнения и считается со всеми серьезно-практическими аргументами. К тому же инженеры высоко ценили и честь работать под его руководством, и особенно возможность быстрой карьеры при действительных знаниях и энергии.

На третьем году работ в отношениях между Мэнни и рабочими выступил новый момент. К этому времени, под влиянием бывших городских пролетариев, принесших на новые места свои организационные привычки и запросы, там успели сложиться рабочие союзы; вначале они захватили, конечно, лишь меньшинство рабочих; неорганизованные шли за ними и охотно предоставляли им руководящую роль во всяких переговорах с инженерами. Большинство инженеров со своей стороны не отказывались иметь дело с делегатами союзов.

Во время одной из поездок Мэнни в Таумазию к нему официально явились представители союза землекопов, работавших на канале Нектар. Дело шло о том, что нескольким тысячам землекопов пришлось прорывать грунт особенно плотный и частью каменистый. Система расплаты была сдельная — с куба вынутой земли; для многих заработок стал получаться гораздо ниже нормального.

Рабочий союз предлагал установить поденный минимум платы. Мэнни, по своему обыкновению, молча и внимательно выслушал посетителей, затем спросил, кем они избраны.

— Союзом землекопов, — отвечали они.

— Все ли заинтересованные в вопросе землекопы принадлежат к вашему союзу?

— Нет, не все.

— В таком случае я не могу обсуждать с вами этого дела. Договор о найме заключался не с союзом, а с каждым землекопом, поэтому и пересмотр условий не может выполняться при посредстве союза.

— Но невозможно же каждому землекопу вести за себя переговоры отдельно?

— Разумеется. Я и не отказываюсь беседовать с действительными представителями всех тех рабочих,

которых дело касается. Но я не могу признать вас такими представителями. Вы выбраны не ими, а какой-то организацией, которая преследует свои, может быть, чуждые большинству из них задачи, и живет по своим нормам, не ими выработанным. То, что им нужно, они, если хотят, могут сами мне сообщить через своих непосредственно и свободно избранных делегатов.

— Но в настоящее время даже многие капиталисты считают возможным вести переговоры с рабочими через союзы; да и нас направил к вам инженер Маро.

— Капиталисты поступают, как им кажется правильным; для меня это не имеет значения. Инженер Маро с полным основанием предложил вам обратиться ко мне, не желая сам решать вопроса. Моя же точка зрения теперь вам известна.

Рабочие ушли, возмущенные формализмом Мэнни. Они передали его ответ товарищам. Землекопы все вместе выбрали делегатов, и относительно способа расплаты дело было улажено. Но с этого времени передовые рабочие стали агитировать против Мэнни, обвиняя его в стремлении отнять у рабочих свободу организации: несомненное, но довольно понятное преувеличение. Агитация влияла и на массу тех рабочих, которые сами не организовались, но от права на это не хотели отказываться. Недоверие разрасталось.

Часть буржуазной печати, — самые распространенные органы, находившиеся в руках Совета Синдикатов, — подхватила конфликт и стала усиленно раздувать его. Они осыпали двусмысленными похвалами «твердость» и «решительность» Мэнни, не упуская иногда прибавить, что, может быть, впрочем, его отношение к союзам несколько чересчур сурово и категорично; но, — говорили они, — не мешает иногда

перегнуть палку в другую сторону: слишком дрябло и робко большая часть предпринимателей относится к этому насущному для них вопросу. При этом умело и кстати напоминалось о феодальном происхождении Мэнни, «железного рыцаря, сохранившего в себе лучшие черты своих предков, могучих герцогов Таумази». Реакционная пресса бывших лендлордов, в свою очередь, вдруг начала говорить о Мэнни в совершенно новом тоне.

«Республика украла его у старой аристократии, республика воспитала его в духе измены великим традициям, — писал один из их публицистов, — но священные принципы берут свой реванш. Всей своей фигурой, всем своим поведением инженер Ормэн Альдо разоблачает демократическую ложь, которая не смогла развратить до конца древнюю кровь. С полной убедительностью он показал всему миру, что для выполнения истинно грандиозных дел необходим авторитет, необходима сильная власть, по существу своему, как бы ее ни называли, власть монархическая. Разве его герой отец, погибший в бою за честь и величие герцогского дома Альдо, мог даже мечтать для себя о таком могуществе, каким фактически обладает республиканец инженер Альдо?»

Социалисты, со своей стороны, обличали «диктатора». Демократы в недоумении не знали, что сказать. Общественное мнение колебалось и понемногу поворачивало.

Вскоре у Мэнни прибавилось новое, очень серьезное затруднение. Канал Амброзия был доведен до того места, где он должен был пересекать на протяжении двухсот километров крайне нездоровую область, известную у таумазийцев под именем Гнилых Болот. Там на обширном пространстве неглубоко лежавшая,

непроницаемая для воды подпочва из глины образовала множество подъемов до самой поверхности, уничтожавших возможность оттока воды; в бесчисленных неглубоких котловинах, благодаря этому, застаивалась дождевая вода, и затеривались речки, сбегавшие с ближних гор, которые затем должен был прорезать канал Амброзия. Страна была почти необитаема, с ее богатой, но только болотной растительностью и жестокими лихорадками. Триста тысяч рабочих должны были около двух лет работать в такой местности, часто по пояс в воде. Заболеваний было масса; тысячи умирали каждый месяц. Среди рабочих шло глухое брожение. Рабочие союзы совещались, но вначале не могли прийти к общему решению.

Маро по мере возможности отсылал заболевающих поправляться на работы по линии канала Нектар, а взамен брал оттуда свежие силы. Но в результате недовольство и возбуждение перекинулись также туда. Положение делалось все более напряженным. Для возникшего движения не хватало пока еще ясного боевого лозунга; его искали, и можно было предвидеть, что если не случится новых событий, способных вызвать поворот, то лозунг скоро найдется.

Мэнни отчасти предвидел такие осложнения; в своем «Плане работ» он с особенной обстоятельностью мотивировал выбор направления для второго таумазийского канала. Он сам указал, что, по условиям рельефа, представлялось бы выгоднее перенести линию на несколько десятков километров к востоку, воспользовавшись углубленной долиной у подножия невысокой цепи холмов, идущей внутрь от морского берега; при этом область Гнилых Болот была бы вполне обойдена. Но тогда большая часть канала прошла бы по одной из «тектонических линий» коры планеты, т. е. в местах,

где возможны самые сильные землетрясения. Правда, там уже около двухсот пятидесяти лет не было замечено сколько-нибудь крупных колебаний; но все равно риск недопустим: весь канал, с построенными на нем городами и системой искусственного орошения, из него исходящей, мог быть разрушен когда-нибудь в несколько минут, и сотни тысяч человеческих жизней погибли бы в расплату за чужую ошибку. Приходится поэтому выбрать сознательное пожертвование тысячами жизней ради целей человечества, как во время прежних войн заведомо приносились еще большие жертвы ради интересов отдельной нации.

Чтобы еще усилить свои выводы, Мэнни выяснял, что проведение канала через Гнилые Болота само по себе поведет к их быстрому осушению, давши сток их водам, и таким образом будет мирно завоевана для культуры почти мимоходом обширная провинция, которая даст пропитание двум-трем миллионам колонистов.

И вот среди возбужденных и озлобленных рабочих неизвестно откуда появилась и стала массами распространяться анонимная брошюра, где доказывалось, что рабочих Амброзии посылают на смерть без всякой необходимости. Автор пользовался тем, что рабочие не могли читать огромной, специальной книги Мэнни, и, не стесняясь, его же цифрами и данными доказывал, что технически выгоднее было вести канал по другому направлению, минуя Болота. При этом в нескольких словах упоминалось о «явно несерьезной ссылке на опасность от землетрясений, которые, однако, уже сотни лет как прекратились»; и отсюда делалось заключение, что «у главного инженера, который не может не знать всего этого, есть какие-то свои мотивы и основания морить рабочих, союзы которых ему так

ненавистны; но интересы дела тут ни при чем». Брошюра была написана талантливо, ярко, популярно и производила очень сильное впечатление. Лозунг для движения был готов.

Мэнни в это время находился в столице, в семи тысячах километров от поля действий. Еще задолго перед тем он через правительство внес в парламент законопроект о пенсиях семьям рабочих, погибших или потерявших здоровье от местных и от профессиональных болезней на Великих Работах; до сих пор законами были предусмотрены только «несчастные случаи». Для успокоения в Таумазии было необходимо, чтобы закон прошел как можно скорее; большинство парламента, казалось, сочувствовало ему; но в комиссиях возникали постоянно какие-то формальные затруднения и проволочки, то и дело требовались разные новые справки, оспаривались цифры вероятных расходов, и дело неопределенно затягивалось. Мэнни решил употребить все усилия, чтобы добиться толку. Прежде всего надо было сговориться с первым министром, на которого Мэнни мог вполне рассчитывать: это был прежний министр Общественных Работ, при котором Мэнни провел проект Ливийского канала.

За час до свидания с министром Мэнни получил от Маро спешно присланный доклад, при котором был приложен экземпляр анонимной брошюры.

Министр уже был осведомлен обо всем. Он встретил Мэнни с той же брошюрой в руках.

— Замечательно искусный ход! — сказал он.

— Чей? — спросил Мэнни.

— По существу, конечно, тут Фели Рао. Но, хотя он очень сильный делец на бирже и за кулисами парламента, все же эта идея, по-моему, не из его обычных ресурсов. Я подозреваю инженера Маро.

Мэнни вздрогнул, как от неожиданного удара, и немало побледнел.

— На чем вы основываете свое подозрение?

— Сообщал ли вам инженер Маро о своем тайном свидании с вождем таумазийской рабочей федерации, неким механиком Арри?

— Нет. Факт вам достоверно известен?

— Я на днях вместе с этой брошюрой получил сообщение от агента, специально мной туда посланного. Человек ловкий и надежный, лично мне преданный.

— А как обстоит дело с законом о пенсиях?

— Почти безнадежно. Им удастся оттянуть его еще на два-три месяца, а события пойдут теперь быстро. Они отнесли его обсуждение к общему бюджету на следующий год. А с бюджетом, вы знаете...

— Но как вы могли допустить это, имея большинство?

— Большинство мнимое. Мы уже обречены.

— Разве ваша партия сама по себе не составляет больше половины палаты?

— Составляла. Но у Совета Синдикатов много денег. Я не могу только формально доказать, а тем не менее с достоверностью знаю, что среди наших «радикалов» прибавляется пятьдесят новых миллионеров.

— Как? Они настолько не жалеют денег?

— Вы стоите им дороже этих миллионов. Бюджет Великих Работ уже теперь приближается к четырём миллиардам в год. При хорошо поставленной системе хищения это может дать от одного до двух миллиардов.

— Что же, вы будете, со своей стороны, бороться за сохранение власти?

— Напротив, я буду добиваться того, чтобы они немедленно свергли наше министерство. Но это нелег-

ко. Им слишком выгодно оставлять нас пока у власти в нынешнем безвыходном положении.

— Вы считаете его абсолютно безвыходным?

— Теперь — безусловно да. Рабочие возбуждены до крайности. Нам они вообще не доверяют; а эта история с законом о пенсиях — прямая улика против нас. Вам тоже ни в чем не удастся их убедить: они не станут слушать. Ваше отношение к союзам подорвало в корне возможность взаимного понимания. Я никогда не считал этого отношения правильным, — вы знаете мои мнения о необходимости уступок для сохранения социального мира; но о принципах спорить бесполезно, а положение ясно. Рабочие потребуют во что бы то ни стало, чтобы работы на Гнилых Болотах были прекращены, а направление канала изменено. Согласитесь ли вы на это?

— Невозможно!

— И я так думаю. Уступить — значило бы сознаться в несовершенном преступлении, и совершить действительное преступление; в результате же — ничтожная оттяжка тогда не менее неизбежного, но более позорного краха. Значит — забастовка рабочих, голод, затем восстание, военное усмирение...

— Если это будет необходимо...

— Бесполезно! Когда мы с вами выкупаемся в их крови, тогда-то наше дело и проиграно окончательно, даже без надежды в будущем. Популярности нашей конец, свергнуть непопулярное в массах министерство для Фели Рао будет как нельзя легче. От вас тогда отделаются еще вернее: нетрудно будет подготовить какого-нибудь наивного фанатика-рабочего, — ваши посещения работ дают сколько угодно подходящих случаев; не удастся один раз, — удастся в другой.

— Вы надеетесь скоро добиться отставки?

— Нужен предлог, надо получить меньшинство по важному вопросу. Сегодня вечером — совет министров. Завтра я рассчитываю с согласия моих коллег предложить парламенту немедленно выделить из вопросов бюджета и экстренно вотировать закон о пенсиях. Это могло бы испортить всю их игру. Пятьдесят купленных будут голосовать с оппозицией, и дело будет улажено. А затем — остается ждать.

— Я никогда не думал, чтобы в жизни человечества существовали вполне безвыходные положения.

— Они бывают. Я могу сказать вам — есть вещи, которые я знаю лучше вас. Вы не любите истории, — это напрасно. А я изучал ее. И вот что, между прочим, я там увидел: общество — странное животное; время от времени ему необходима бессмысленная растрата его сил. Что могло быть нелепее войн? А сколько раз они были началом обновления народов! Теперь войн у нас нет; нашлись другие способы. Начинается эпопея финансового цезаризма Фели Рао. Человечеству она обойдется дороже хорошей войны. Значит, это нужно истории. Не знаю, всегда ли так будет, но не сомневаюсь, что теперь это будет так.

III. Объяснение

Через неделю Мэнни был в Таумазии. По дороге он получил телеграмму о падении министерства. Работы на обоих таумазийских каналах уже остановились: бастовало больше шестисот тысяч человек. Инженер Маро выехал к нему навстречу. Свидание произошло в доме управления работ, в новом городе при устье канала Нектар. Главный инженер внимательно выслушал доклад своего помощника обо всем, что происходило за последние дни, и затем сразу спросил:

— Какую цель имели ваши переговоры с вождем рабочих Арри?

Лицо Маро чуть дрогнуло, но через секунду стало по-прежнему непроницаемо-спокойным.

— Я признаю, что был не вполне прав, не известив вас об этой примирительной попытке, предпринятой мною частным образом, на свой риск и страх. Зная ваше отношение к рабочим союзам, я не мог официально иметь дело с их представителями. Но для меня было несомненно, что в данном случае от них зависит очень многое, если не все. Исключительность положения заставила меня пойти не вполне обычным путем.

— Можно узнать содержание вашей беседы?

— Я объяснял ему, что по научно-техническим соображениям, в которых вы компетентнее всякого другого, вы, безусловно, не можете изменить плана работ, и что упорство рабочих не приведет ни к чему, кроме тяжелых репрессий. Я убеждал его употребить свое огромное влияние на рабочих в интересах успокоения. Я указывал, что принятие парламентом закона о пенсиях могло бы быть только замедлено и затруднено всяким нарушением порядка, потому что власть, охраняя свое достоинство, должна избегать всего, что похоже на уступку незаконному давлению.

— Вы очень проникательны, инженер Маро, — с иронией заметил Мэнни, — вы говорили о невозможности изменения плана работ за несколько дней до появления анонимной брошюры, когда рабочие не пришли еще к такому требованию. Незачем продолжать эту комедию. Мы здесь одни. Чего хочет Совет Синдикатов, или, вернее, Фели Рао?

Маро немного побледнел и призадумался; затем, быстро решившись, сказал:

— Вы правы. Ход событий наметился, теперь мы с вами можем говорить прямо. Совет Синдикатов желает взять в свои руки административно-финансовую сторону работ. Техническую, без сомнения, наиболее для вас важную, он рад был бы видеть по-прежнему в ваших руках. Совет считает себя вправе получить компенсацию за тот огромный ущерб, который уже нанесли ему Великие Работы. Они страшно увеличили спрос на рабочие руки и повысили требовательность рабочих...

— И дали синдикатам колоссальные заказы по хорошим ценам и небывалые прибыли... Вообще, справедливость лучше оставить в покое: решается вопрос силы. В какой форме Совет Синдикатов предполагает осуществить свое желание?

— Если вы согласитесь, то все устроится как нельзя легче, и на вашу долю выпадет наиболее почетная роль. Стачка будет упорная, но вначале, конечно, мирная. Вы выскажетесь открыто против присылки войск; тем не менее новое правительство пришлет их. Вы демонстративно снимете с себя всякую ответственность за дальнейшее. После этого произойдет усмирение; кровопускание потребует довольно значительное; придется послать войска и на другие каналы, чтобы предупредить сочувственные забастовки и восстания. В виде протеста вы сложите с себя все обязанности администратора работ и заявите, что только желание довести до конца дело, важное для всего человечества, побуждает вас оставить за собой научно-техническое руководство. Будет назначен Исполнительный Совет для заведывания бюджетом и для поддержания порядка на работах; туда войдут представитель от министерства финансов — Фели Рао, от министерства общественных работ, — это буду я, — и еще один

от центральной полиции. Затем, чтобы доставить вам еще более полное удовлетворение, парламент свергнет нынешнее правительство; оно нарочно составлено из безличностей, наиболее удобных для выполнения щекотливых дел.

Наступило молчание. Лицо Мэнни было спокойно, но глаза его странно потемнели, и голос звучал несколько глухо, когда он вновь заговорил.

— Прекрасно, все это вам очень просто выполнить, если я согласен подчиниться. Ну а если нет?

— Это было бы очень печально, и мы надеемся, что вы с вашим гениальным умом, беспристрастно и точно оценивающим силы, не захотите длить борьбы, совершенно безнадежной и бесполезной. Но я могу сказать вам, какова бы была наша тактика и в этом невероятном случае. Тогда об укрощении рабочих не было бы и речи, — самое заботливое, самое отеческое отношение к ним. В парламенте был бы поставлен вопрос, нельзя ли и в самом деле изменить направление канала; была бы назначена комиссия из ученых старых академиков, — вы знаете, как они вас ненавидят. Можно поручиться, что комиссия выскажется достаточно двусмысленно и неопределенно, чтобы парламент мог удовлетворить вопреки вам требование рабочих, а ваше положение тогда...

Маро остановился. В нем вызывал смутное беспокойство потемневший взгляд Мэнни, и он невольно отвел глаза. Благодаря этому он не видел, как на несколько мгновений этот взгляд неподвижно остановился на тусклой поверхности бронзового разрезного ножа, лежавшего между бумагами сбоку от них обоих. Маро dokonчил:

— Вы видите, что этот исход был бы во всех отношениях худшим.

— И вы не задумались бы совершить преступление перед наукой и человечеством ради... бюджета?

Оттенок холодного презрения в произнесенных словах был сильнее пощечины.

Маро выпрямился, глаза его засветились циническим блеском, деловая сдержанность сменилась наглой насмешкой.

— Преступление?! Какие фразы! И вам нечего больше возразить? Но мы будем действовать в самом законном порядке. А насчет землетрясения... оно, наверное, случится уже тогда, когда нас не будет!

— Да, вас тогда не будет!

Мэнни вскочил, и Маро не успел уклониться от его движения, быстрого, как молния. Бронзовый нож не был бы оружием в руках обыкновенного человека, но инженер Альдо был потомком древних рыцарей. Сонная артерия шеи и горло были разорваны ударом. Кровь брызнула фонтаном, и Маро упал. Несколько судорог, слабое хрипение... Затем тишина.

IV. Суд

Дело Мэнни было отложено на несколько месяцев, «до успокоения». Тем временем рабочие были усмирены военной силой, союзы разгромлены, вожди их арестованы. Газеты усиленно подготавливали общественное мнение к процессу Мэнни, изображая его человеком бешено деспотичного характера, способным на всякие крайности при малейшем противоречии. Были использованы с надлежащими украшениями и кровавые биографии некоторых его предков. В злорадном хоре потонули голоса немногих защитников.

На основании связи убийства с политическими событиями правительство предало Мэнни суду Верхов-

ного трибунала, состоявшего из самых заслуженных, самых древних юристов. Публика на процесс была допущена по строгому выбору. В качестве прокурора выступил один из товарищей министра юстиции. Адвоката обвиняемый иметь не пожелал.

Мэнни в своем показании ограничился точным изложением своего разговора с Маро. Большинство свидетельских показаний сводилось к неблагоприятным отзывам о характере Мэнни. Публика с интересом ожидала двух свидетелей — бывшего министра-президента и арестованного рабочего вождя Арри. Но оба не явились: первый неожиданно тяжело заболел какой-то неопределенной болезнью, второй был ранен часовым в тюрьме при попытке побега. Фели Рао умел призвать случай себе на помощь. Суд, конечно, признал возможным продолжать дело без этих свидетелей.

Прокурор в своей речи заявил, что объяснения Мэнни суд просто не может принимать во внимание. «Как известно, во всех процессах, — говорил он, — показания обвиняемых бывают наиболее благоприятны для них самих; но перед нами передача разговора, происходившего наедине, то есть нечто недоступное проверке; а юридически существуют только проверенные факты. Изображать такого человека, как почтенный Фели Рао, и с ним весь Совет Синдикатов в виде преступных заговорщиков — не явная ли это фантазия, навеянная желанием оправдаться? Остается определенный и установленный факт — самое убийство, которого и обвиняемый не отрицает». Несколько раз прокурор распространялся на тему о том затруднительном положении, в которое ставят суд высокое положение обвиняемого и его заслуги перед человечеством: «Но надо помнить, что перед республиканским законом нет великих или ничтожных людей, — здесь

все равны; и если допустимо какое различие, то разве лишь то, что кому больше дано, с того больше и спрашивается». Из этого прокурор делал вывод, что о смягчающих обстоятельствах не может быть речи: «Не вполне выяснен только вопрос о предумышленности убийства, — и сомнение тут должно быть истолковано в пользу подсудимого».

В своем последнем слове Мэнни заметил, что прокурор вполне прав, отвергая мысль о смягчающих обстоятельствах: «Совершенный мною акт справедливости не нуждается в них; но и для тех, кто совершит здесь действительное преступление, суд будущего не найдет смягчающих обстоятельств, ибо если величие не есть оправдание, то и ничтожество — тоже».

Председатель призвал обвиняемого к порядку, с угрозой лишить его слова.

«Мне осталось сказать немного, — закончил тогда Мэнни, — я только решительно протестую против предположения о непредумышленности; то, что я сделал, я сделал вполне сознательно и обдуманно».

Судьи были возмущены холодным высокомерием Мэнни; и хотя перед тем в частных переговорах они заявляли министрам, что не смогут приговорить Мэнни больше, чем на несколько лет тюрьмы, теперь они почувствовали, что это не удовлетворило бы их. Приговор был поставлен максимальный — пятнадцать лет одиночного заключения.

Во дворе здания Верховного трибунала масса публики толпилась в ожидании приговора. Когда из уст в уста пронеслось известие о нем, все были поражены; воцарилось мертвое молчание. Оно стало как будто еще глубже, когда наверху каменной лестницы показалась между жандармами атлетическая спокойная фигура инженера Мэнни, которого вели к тюремной

карете. Все расступались. Какая-то сила заставила отклониться неподвижно устремленный вперед взгляд Мэнни. Его глаза встретились с глазами высокой, красивой женщины, которая держала за руку мальчика лет двенадцати-тринадцати. Что-то знакомое...

Среди тишины раздался звучный женский голос:

— Дитя, взгляни на героя и... не забывай!

Воспоминание вспыхнуло в душе Мэнни:

— Нэлла!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. Нэтти

Прошло двенадцать лет.

На одной из пролетарских окраин Центрополиса, в тускло освещенной подвальной зале небольшого трактира собралось около тридцати человек. Худощавые фигуры, энергичные, интеллигентные лица, рабочие костюмы. Когда двери были заперты и во дворило молчание, старик-председатель поднялся и сказал:

— Братья!

(Таково было обычное в те времена обращение между членами рабочих организаций.)

— Я объявляю открытым Совет Федерации Великих Работ. Вы, секретари союзов, хорошо знаете то положение вещей, которое вынудило вас тайно здесь собраться, чтобы найти и обсудить общий план действий. Вы знаете, что условия труда становятся у нас все более невыносимыми. За годы, прошедшие со времени неудачной всеобщей забастовки и расстрела тысяч наших братьев, наглость эксплуататоров непрерывно возрастала. Заработная плата уменьшилась на

треть, между тем как почти все стало дороже. Рабочий день повсюду шаг за шагом увеличили с десяти до двенадцати часов. Инженеры, подрядчики, даже десятники обращаются с нами, как с крепостными; нас штрафуют и рассчитывают по произволу. Наши организации преследуют систематически. Вы помните, чего нам стоило возобновить их после разгрома. Теперь активных работников увольняют с работ под первым попавшимся предлогом, а то и без всякого предлога: почти все вы испытали это на себе.

Но растет и недовольство. Долго подавленный пролетарий поднимает наконец голову. Он осматривается вокруг и говорит: «Да что же это? Почему? На каком основании?» А затем он переходит и к другому, более важному, вопросу: «Что надо делать?» Этот вопрос мы тысячи и тысячи раз слышали от братьев на местах; к нему приводил нас каждый разговор с ними. Этот вопрос собрал нас сюда, заставил возобновить, после долгого перерыва, нашу, запрещенную правительством, Общую Федерацию. Соединим весь наш опыт, все наши силы для общей работы, от которой будет зависеть судьба миллионов наших братьев, и не разойдемся, пока не решим этого вопроса! Итак, братья, расскажите, что знаете, и предложите, что считаете лучшим!

Десять ораторов, все с разных каналов, один за другим брали слово.

Их речи были коротки: сжатая характеристика положения на месте, несколько типичных фактов относительно условий труда, несколько цифр относительно состояния организаций, затем выводы. Все сходились на том, что надо немедленно сообща начинать борьбу, иначе она вспыхнет разрозненно и стихийно; все признавали, что единственное оружие — всеобщая забастовка, что ее лозунгом должно быть возвращение

прежних условий труда, какие были до первой стачки. Некоторые предложили обратиться за поддержкой к железнодорожникам, механикам и углекопам, наилучше организованным из остальных рабочих: они также много потеряли за эти годы под ударами усилившихся синдикатов, и можно было надеяться, что они согласятся выступить одновременно со своими требованиями; тогда шансы победы были бы очень велики. Казалось, что план действий почти выяснен, когда слово взял немолодой сидевший рядом с председателем рабочих — Арри.

— Братья, — сказал он, — я предлагаю вам дать слово для доклада моему сыну, инженеру Нэтти. Он присутствует здесь пока без права голоса, не как представитель союза, а как один из устроителей съезда. Некоторые из вас его знают: он объехал с поручениями по этому делу половину организаций. Мы привыкли не доверять чужим, и это правильно: сколько нас обманывали, сколько нам изменяли в прошлом! Но он не чужой нам; он из рабочей семьи, да и сам еще мальчиком работал на заводе. Он много учился; если под конец он пошел и туда, где учатся наши враги, то сделал это для того, чтобы найти новое оружие для защиты нашего дела. Вы не потеряете времени, если выслушаете его.

Все единодушно выразили согласие. Тогда поднялся высокий молодой человек с ясными, зеленовато-синими глазами.

— Братья! К тому, что предыдущие ораторы сказали о положении рабочих на местах, об их настроении, надеждах и желаниях, я ничего не могу прибавить, в этом все вы компетентнее меня. Я буду говорить о другой стороне дела, сообщу вам такие вещи, о которых, наверное, многие из вас догадывались, но никто

не нашел возможным упоминать, не имея точных данных и доказательств, — о том, как ведутся Великие Работы в техническом и финансовом отношении.

Это — сплошное царство грубых ошибок и беспримерной недобросовестности, невиданного грабежа и хищения. Я утверждаю это и могу доказать: вот уже несколько лет, еще с того времени, как я был студентом, я изучаю это дело. У меня были не только все печатные отчеты и материалы, доступные специалистам; при помощи личных связей, которые мне удалось завести в инженерном мире, и особенно — среди служащих Центрального управления работ, я получил доступ к документам, которые хранятся в глубине архивов и вдали от нескромных глаз; многое, кроме того, пришлось увидеть и разузнать на месте, во время организационных поездок по нашим общим делам. Когда я все собрал, сопоставил, раскрыл противоречия фальшивых цифр и подвел итоги, предо мной выступила картина чудовищная, подавляющая.

Планы великого инженера были искажены, извращены новыми руководителями работ, частью по бездарности, а главным образом — из-за корыстных, мошеннических расчетов. Знаете, почему на Гнилых Болотах вместо предположенных двух лет работы продолжались почти четыре года? Во-первых, не были применены специальные машины, не только тогда уже изобретенные, но испытанные и одобренные инженерами Мэнни и Маро. Во-вторых, была отклонена линия канала вдоль края болот, под тем предлогом, чтобы избежать лежащего дальше каменистого грунта, которого — я убедился в этом своими глазами — там вовсе нет. Кому и зачем это было нужно? Дело в том, что рабочие умирали тысячами, но больше половины умерших по целому году, по полтора года продолжали

числиться в списках как работающие или как больные; плата на них получалась. Кем? Про то известно подрядчикам и инженерам. А потом — пенсии семьям погибших. Хотя на те места заботливо переводили бес семейных и холостых, — у всех умерших оказывались семьи; и вот уже сколько лет пенсии выплачиваются по меньшей мере двадцати тысячам несуществующих семей.

Вы все замечали, конечно, как часто масса рабочих безо всякой видимой причины переводится с одних участков на другие, а с тех — на эти. Причина есть, и очень простая. Бухгалтерия ведется таким образом, что до конца отчетного года переведенные рабочие числятся на прежнем месте, но также и на новом. Заработная плата ассигнуется двойная, — но вы знаете, что двойной платы они не получают. Этим способом и еще другими достигается то, что по официальным отчетам на рабочих идет больше, чем во времена инженера Мэнни, хотя число их остается почти прежнее, а заработок каждого — на треть меньше.

Вы помните катастрофу на канале Ганга, когда при закладке мин от неожиданного их взрыва погибло две тысячи человек. Официальное следствие нашло небрежность и неосторожность, было отрешено от должности три инженера, посажен в тюрьму один, случайно оставшийся в живых, минный техник. Но вы не знаете того, что все три уволенных инженера сразу стали богатыми людьми. В опубликованном отчете следствия не напечатано также то, что они первоначально ответили на допросе. Они сказали, что взрыва нельзя было предвидеть, он произошел самопроизвольно, потому что динамит был негодный. Этот сильнейший и самый дорогой по цене вид динамита должен готовиться из абсолютно чистых химических материалов. Если взять

материалы почти, но не абсолютно чистые, то его приготовление обходится втрое дешевле, и взрывная сила та же, но он тогда может взрываться сам собою. Нечего и говорить, что динамитно-пороховой трест поставляет его все это время по цене состава идеальной очистки, то есть втрое дороже действительной, а жизнь рабочих, конечно, в счет не идет. Несколько мелких несчастных случаев прошли незамеченными; большая катастрофа подвергла опасности прибыль треста. Прибыль эта, благодаря гигантскому применению динамита на Великих Работах, измеряется сотнями миллионов в год. Неудивительно, что они бросили десяток миллионов, чтобы заткнуть рот следователям и обвиняемым.

Тут один из делегатов прервал оратора: «Вы можете доказать все это?»

— Да, могу, — ответил Нэтти. — Братья рабочие достали мне образцы динамита, и я сделал анализ. Через друзей инженеров на самом большом динамитном заводе я разузнал в точности способы приготовления. Через банковых служащих мне удалось хитростью выяснить время, когда у трех инженеров появились миллионные вклады. И я могу доказать еще больше, — что двенадцать лет тому назад девять десятых акций динамитно-порохового треста были скуплены Фели Рао, председателем Центрального Правления Великих Работ, могу доказать это и многое другое, о чем долго было бы вам рассказывать.

Я скажу вам, к чему привели меня мои подсчеты. За двенадцать лет бюджет Великих Работ составил с небольшим пятьдесят миллиардов. Из них расхищено и раскрадено от шестнадцати до восемнадцати миллиардов. Один Фели Рао, состояние которого тогда равнялось «всего» пятистам миллионам, теперь «оценивается» в три с половиной миллиарда. А самые рабо-

ты страшно замедлились. Нектар и Амброзия должны были быть закончены уже несколько лет тому назад; между тем они будут готовы только через полтора-два года. Так же и на других каналах. Великое дело обессилено хищниками, — его, как и кровь рабочих, они приносят в жертву своей безграничной жадности.

Первый вывод ясен. В свои требования вы включите: прекращение грабежа, суд над преступниками, конфискацию похищенного. А я одновременно с вашим манифестом выпущу свою книгу разоблачений, с точными данными и документами. На этом пункте нас поддержат широкие слои буржуазии, задавленные синдикатами и полные ненависти к их дельцам — миллиардерам. Правда, борьба станет тем более ожесточенной, против нас будут пущены в ход не только все законные, но и все незаконные средства. Это не заставит нас отступить. Согласны ли вы с моим первым выводом?

— Да! Да! Конечно! — пронеслось по залу.

— Теперь подведем итоги нашим требованиям и посмотрим, что получается. Мы хотим такой заработной платы, такого рабочего дня и такого порядка на работах, какие были до первой забастовки, то есть — *при инженере Мэнни.*

Мы хотим положить конец грабежу, хищениям, неумелому и опасному для рабочих техническому ведению работ, — всему, что началось *после инженера Мэнни.* Надо ли говорить вам, какой второй вывод логически вытекает из этого? Мы должны требовать *восстановления в правах инженера Мэнни.*

Ропот неодобрения среди слушателей. Восклищения: «Никогда!», «Что он говорит?», «Невозможно!», «Это насмешка над нами!», «Так вот к чему все клонилось!» Возбуждение усиливается, некоторые порывисто

вскакивают с мест. Арри кричит: «Дайте ему высказаться до конца!» Нэтти остается неподвижным в позе ожидания. Председатель призывает к спокойствию. Мало-помалу тишина восстанавливается. В атмосфере недоверия, недоумения Нэтти продолжает:

— Братья, для меня не новость, что вы ненавидите инженера Мэнни. Но дело идет не о наших чувствах, — дело идет о борьбе и победе. Поэтому обсудим беспристрастно. Что имеете вы против возвращения инженера Мэнни?

Снова ряд бурных восклицаний: «Он враг союзов!», «Он убийца наших братьев!», «Он виновник забастовки и пролитой крови!», «Разве вы не знаете?» Нэтти делает знак, что хочет говорить дальше. Водворяется снова беспокойное молчание.

— Вот вы сказали то, что думаете, и теперь я прошу вас не прерывая выслушать меня до конца: все равно ведь решать будете вы, а не я. Разберем обвинения. Первое: Мэнни — враг союзов. Безусловно верно. Ну, а нынешнее Управление Работ — не враг союзов? А то, которое сменит его, не будет во всяком случае врагом-союзов? Мы не дети, чтобы надеяться на иное.

Мы не изменим этого, пока существует нынешний строй, пока держится эксплуатация, пока один класс господствует над другим и боится его. Но и враги бывают разные. Мэнни не признавал союзов, отказывался вступать в переговоры с ними. Однако преследовал ли он их? Разве тогда увольняли за участие в союзах? Разве нашей Федерации приходилось скрываться в подполье?

Он — человек другого мировоззрения, но действовал честно и открыто, его вражда была идейной и принципиальной. Нынешние директора иногда говорят вам: «Пусть союз пришлет своих делегатов, мы

обсудим с ними ваши требования». А что бывает потом с этими делегатами? Предпочтете вы такое отношение к союзам? Нет, братья, нам обыкновенно не приходится выбирать своих врагов, но когда это возможно, надо их различать.

— Разве это главное? — прервал один молодой делегат. — А кровь наших братьев?

— Да, в этом, действительно, главное. И тут я должен рассказать вам то, чего вы не знаете. Вы были введены в заблуждение с самого начала, а потом враги скрывали от вас истину; раскрыть же сами вы ее не могли; и не на то были направлены ваши заботы в эти тяжелые годы. Эта истина вот такая: инженер Мэнни *невиновен* ни в гибели тех, кого задушили лихорадки на работах, ни в крови тех, кто был убит при забастовке.

— А кто же отправил рабочих на Гнилые Болота?

— Братья, это сделал не инженер Мэнни. Это сделала *необходимость*. Вы поверили лживой, предательской брошюре, автор которой, скрывший свое имя, — инженер Маро — знал, что он вас обманывает, и знал, зачем делает это. Каналу Амброзия *нельзя* было дать другое направление, я сейчас объясню вам почему.

Наверное, всем вам известно, что наша планета представляет шар из расплавленной, огненно-жидкой массы, покрытой снаружи застывшей, твердой корой. Кора эта не такая неподвижная и не настолько сплошная, какой она кажется нашим глазам. Она состоит из тесно сложенных огромных глыб или плит, образующих как бы гигантскую мозаику. До сих пор не выяснено, по каким законам происходят движения в расплавленном океане внутри планеты; но они совершаются постоянно, — вероятно, вследствие постепенного охлаждения и стягивания всей этой жидкой

массы, — и с неуловимой медленностью в ряду тысячелетий приподнимают кору в одних местах, опускают ее в других. Не всегда, однако, эти движения протекают так спокойно, так ровно. Иногда из них рождаются страшные, разрушительные потрясения коры, при которых могут возникать или исчезать целые пропасти, возвышения, озера, острова, и всякая жизнь подвергается грозной, неотвратимой опасности. На нашей планете, внутреннее охлаждение которой зашло уже далеко, эти явления выступают редко, с долгими промежутками, но тем грознее. Понятно, где бывают центры таких катастроф, где они разражаются с наибольшей силою: по линиям сложения кусков исполинской планетной мозаики. И вот как раз на такой линии расположена та долина, по которой будто бы можно было вести канал Амброзию; эта долина и образовалась когда-то сразу в результате землетрясения, о котором у людей не сохранилось преданий; но еще около трехсот лет назад она сильно изменила свой вид от новых подземных ударов; погибло и несколько сот людей, не больше — потому, что мало их там жило. При других землетрясениях были примеры гибели целых городов с десятками и сотнями тысяч людей.

Теперь представьте себе, что там был бы проведен канал, с целой системой орошения. Огромные города выросли бы на нем, миллионы людей возделывали бы поля и луга, оплодотворенные его водою. Прошло бы пятьдесят, сто, двести лет, — наука еще не достигла предвиденья в этом, — и все было бы разбито, быть может, уничтожено в несколько минут. Скажете ли вы, что тысячи жизней в настоящем дороже тех миллионов в будущем? Нет, вы никогда не думали так, вы — бойцы за свое дело, вы считаете правильным и разумным жертвовать тысячами жизней теперь, что-

бы миллионам стало свободнее в будущем. Так же, как вы, люди труда, думал человек науки, инженер Мэнни.

Вас обманули, вызвали на борьбу, подвели под выстрелы... Кто? Шайка бесчестных людей с Фели Рао и Маро во главе. Зачем? Чтобы свергнуть того, кто был неподкупен, кто стоял для них на пути к миллиардам. Им удалось, и они взяли свое.

Я не говорю о справедливости, хотя и к врагам лучше быть справедливыми. Я говорю о победе, об успехе. Чем можете вы лучше расстроить ряды врагов, как не этим неожиданным и страшным для них требованием? Общественное мнение будет с нами: оно давно стало склоняться на сторону Мэнни, оно уже возмущается тем, что для великого человека не находится другого места, как в тюрьме; эта трусливая, лицемерная публика заявляет, что он «уже искупил свое преступление». Но мы чувствуем не так, мы способны понять, что он поступил, как человек убеждения, и что преступник был не он, а осудившие его лакеи капитала.

И примите в расчет еще одно: если возвращается Мэнни, его руками восстанавливаются все старые условия. Если же его нет, то противники с нами торгуются, соглашаются на одно, отказывают в другом; и возможно, что масса поддается на частичные уступки.

Наконец, разве нам не дороги интересы самого дела, которое мы выполняем, самих Великих Работ? Ведь это — интересы человечества. И разве они не требуют, чтобы дело было передано тому, кто гениально его задумал, и кто лучше всех сумеет вести его?

А в том, в чем он нам враждебен, мы сумеем бороться с ним тогда, когда он будет стоять против нас.

И тогда, братья, мы постараемся показать себя достойными и *такого* врага!

После речи Нэтти несколько минут никто не брал слова. Пораженные, ошеломленные слушатели отдавались своим тяжелым мыслям. Видя такое положение, выступил Арри:

— Я подтверждаю вам истину того, что сказал Нэтти. Больше, чем кто-либо из вас, я ненавижу инженера Мэнни; и тогда я вначале горячо стоял за борьбу. Но некоторые факты скоро вызвали во мне сомнение. Когда Маро тайно пришел ко мне и, рассчитывая на мою наивность, под видом фальшивого призыва к спокойствию, старался разжечь меня на агитацию лично против Мэнни; когда затем неизвестно откуда явилась и сразу распространилась масса анонимная брошюра, толкавшая на забастовку, тогда я почувствовал, что тут что-то неладно. Я убеждал товарищей приостановиться и выяснить дело, я указывал, что кто-то хочет играть нами; и наш сегодняшний председатель поддерживает меня. К несчастью, стачка возникла стихийно, и мы не успели никого убедить; а нас, как и весь Совет Федерации, немедленно вслед за тем арестовали, чтобы еще усилить ожесточение братьев. В тюрьме предательским способом мне устроили побег, при котором должны были убить меня, чтобы я не явился свидетелем на процесс Мэнни. Случайно рана оказалась не смертельной. После этого я решил употребить все усилия, чтобы узнать правду. Друзья доставили мне в тюрьму книги, я изучил нужные науки, увидел ясно обман и подлую измену, догадался, зачем и кому она была нужна. Но у меня были только догадки, — доказательства нашел Нэтти; ему долго пришлось искать их. Когда же, два года тому назад, я вышел из тюрьмы, то все заботы направил на вос-

становление нашей Федерации, а о том, что знал, не говорил никому, чтобы враги не были как-нибудь предупреждены и не помешали Нэтти довести его дело до конца. Но теперь все подготовлено, настало время действовать.

После Арри взял слово молодой делегат, который чаще всех перебивал речь Нэтти.

— Хорошо! — сказал он нервным, прерывающимся от волнения голосом. — Нэтти и Арри убедили меня, я буду голосовать за их план. Но посмотрите, братья, как ужасно наше положение. Вот мы сейчас узнаем много вещей, о которых не подозревали. Но ведь от них зависит наша судьба, наша жизнь, наша воля. Предатели говорили нашим братьям, что Мэнни напрасно послал их на болота, — *те поверили*. Арри был десять лет в тюрьме, он изучил геологию и говорит нам, что это — ложь; мы, конечно, *верим* ему. Нас заставили лишних два года работать на тех же болотах под предлогом какого-то каменистого грунта; и мы ничего не знали. Нэтти объяснил, что этого не было нужно, что инженеры лгали; мы *верим* Нэтти. Нас принуждают работать с негодным динамитом, который каждую минуту может взорвать нас, и мы теперь только, после гибели тысяч людей, в первый раз об этом услышали. Нэтти — инженер, он сделал анализ, мы имеем все основания *верить* ему. Но что же это такое: верить, верить и верить! И потом, — если бы Нэтти не ушел из рабочих в инженеры, если бы Арри не мучился десять лет в тюрьме, мы, может быть, ничего этого не узнали бы; наши решения были бы другие, наши силы были бы растрачены неразумно. Разве это не рабство, не самое худшее рабство? Нэтти, Арри, братья, где выход из него? Как сделать, чтобы мы могли сами *знать*

и видеть, а не только верить? Или это невозможно, и всегда будет так, как теперь? А если это невозможно, то стоит ли жить и бороться, чтобы оставаться рабами?

Нэтти ответил ему:

— Брат, ты положил руку на больное место. Наука до сих пор — сила наших врагов: мы победим тогда, когда сделаем ее нашей силой. Тут перед нами великая и трудная задача. Мы будем, конечно, отвоёвывать свободное время, чтобы учиться. Мы будем брать знание всюду, где возможно. Но этого мало. Обрывки и крошки знания — это не то, с чем можно сознательно решать самые важные и сложные вопросы жизни. Некоторым из нас удастся, как удалось мне, ближе подойти к чужой науке и овладеть как следует какой-нибудь ее частью. И этого мало. Для пролетария завоевано только то, что завоевано для всех. А нынешняя наука такова, что даже избранным, которые нашли доступ к ней, достается ее малая доля: одна специальность. На большее не хватает времени и сил. Но специальность не дает понимания трудовой жизни в целом.

Мне пришлось изучать разные науки; я мог сделать это, потому что способности у меня больше, чем у многих других людей. Изучая, вот к чему я пришел. Нынешняя наука такова же, как общество, которое создало ее: она сильна, но разъединена и масса сил в ней растрачивается даром. В ее дроблении каждая часть развивалась отдельно и потеряла живую связь с другими. Оттого получилось много уродливостей, масса бесплодных ухищрений и путаницы. Одни и те же вещи, одни и те же мысли в разных отраслях имеют десятки разных выражений и в каждом из них изучаются как нечто новое. Каждая отрасль имеет свой

особый язык — привилегия посвященных, препятствие для всех остальных. Много трудностей порождается тем, что наука оторвалась от жизни и труда, забыла о своем происхождении, перестала сознавать свое назначение; отсюда мнимые задачи и часто окольные пути в простых вопросах.

Все это заметил я в современной науке, и мнение мое таково. Такая, как теперь, она не годится для рабочего класса, и потому, что слишком трудна, и потому, что недостаточна. Он должен ею овладеть, изменяя ее. В его руках она должна стать и несравненно проще, и стройнее, и жизненнее. Надо преодолеть ее дробление, надо сблизить ее с трудом, ее первым источником. Это — огромная работа. Я начал ее; другие, кому удастся найти пути и средства, будут продолжать. Первые шаги, как всегда, будут делаться в одиночку; а потом силы объединятся. Одному поколению не выполнить дела, но каждый шаг его будет частицей освобождения.

Задача поставлена, необходимая задача. Она требует бесчисленных попыток, мучительных усилий; путь к ее решению пройдет через многие неудачи и крушения. Но такова и вся наша борьба. Она тяжела и не может быть иною, потому что высок наш идеал. А если бы она была легка, тогда, братья, стоило бы говорить о ней?

II. Возвращение

Инженеру Мэнни в тюрьме была предоставлена возможность не только заниматься наукой, что разрешалось вообще заключенным, но также следить за всем ходом общественной жизни. Вероятно, тут был известный расчет со стороны его врагов: заставляя

его присутствовать при разрушении созданной им организации, при удалении лучших его сотрудников, при измене остальных, хотели усилить для него нравственную пытку, чтобы тем вернее навсегда сломить его волю. Первые годы Фели Рао не терял надежды подчинить его, сделать союзником в своих планах и несколько раз тайно, через директора тюрьмы, предлагал ему, вместе с полным помилованием, все те условия, которые когда-то передал ему в последнем разговоре Маро. Мэнни не отвечал на эти предложения. Он все время продолжал разработку своего плана работ, пользуясь всеми новейшими исследованиями. Вместе с тем он успел сделать несколько важных изобретений, которые были потом применены на работах.

Фели Рао чувствовал себя беспокойно. Общественное мнение по разным поводам то и дело возвращалось к вопросу о Мэнни и с каждым разом высказывалось настойчивее в его пользу. В парламенте раздавались резкие речи; правительству и верным депутатам становилось все труднее удерживать прежнее положение. Рао решил, что надо во что бы то ни стало отделаться от опасного противника. Но в тюрьме это было невозможно. Центральный Дом Заключения отличался такой идеальной организацией контроля, что для убийства потребовалась бы целая масса подкупленных сообщников, и дело неминуемо обнаружилось бы. От имени президента Республики Мэнни на десятом году тюрьмы было официально предложено помилование. Мэнни отказался: по закону он имел право на это. Он не знал, что это спасало его жизнь. Но общественное мнение было неприятно поражено непримиримостью Мэнни. Для Фели Рао это было хоть каким-нибудь выигрышем.

Но вдруг разразился удар грома. Одновременно вышел манифест Федерации Работ, манифесты ряда других союзов о солидарности с нею и книга Нэтти «Великие Работы и великое преступление». Рабочие давали правительству и парламенту для ответа месячный срок, угрожая всеобщей забастовкой; книга Нэтти сразу нашла миллионы читателей. Его разоблачения вызвали массу подтверждений; немедленно явились и новые обличители. В столице и крупных центрах произошел ряд демонстраций. Министерство пало. Даже президент Республики вышел в отставку.

Новое правительство, не имея надежного большинства в парламенте, немедленно его распустило и назначило новые выборы. Оно заявило рабочим, что во всем существенном согласно с их требованиями, и организовало следствие по поводу разоблаченных преступлений. Было привлечено к суду множество финансовых и парламентских дельцов; министр юстиции распорядился арестовать самого Фели Рао. Но тот не допустил этого: видя, что партия проиграна, он застрелился.

Мэнни опять было предложено помилование. Он снова отказался. Правительство не знало, что с ним делать, и было вынуждено ждать, пока собрался парламент. К этому времени следствие добыло уже массу материала; в том числе выяснилось многое относительно закулисной стороны процесса Мэнни.

Наконец выборы закончились, и депутаты съехались. Президентом Республики был избран прежний министр, поддерживавший Мэнни. На совещании правительства с лидерами его партии были выработаны новые предложения инженеру Мэнни.

Он ничем не выразил удивления, когда в его камеру неожиданно явился президент Республики

с премьером и министром юстиции; он только с легкой иронией предложил им свой единственный стул, а сам отошел и прислонился возле окна. Президент официально заявил ему, что правительство, ввиду открывшихся новых фактов, думает предложить Верховному трибуналу пересмотр его дела. При этом до нового решения дела он, Мэнни, мог бы быть предварительно освобожден и предварительно восстановлен в своих правах. Правительство желало бы заранее знать, будет ли он удовлетворен такой постановкой вопроса и согласится ли на этих условиях немедленно вступить в выполнение прежних обязанностей.

— На этих условиях — нет, — отвечал Мэнни. — Я не согласен на предварительное освобождение. Если будет назначен пересмотр, я не буду участвовать в процессе и ограничусь заявлением, что приговор этого трибунала для меня нравственно безразличен.

— Но почему же, наконец, — воскликнул министр юстиции, — почему вы так упорно отклоняете все самые почетные возможности, которые вам предлагаются? Если это протест против несправедливости, то она сделана вам лично, а вы сами совершаете несправедливость по отношению к интересам человечества! Рабочие вас требуют, все общество желает вашего возвращения, для дела оно необходимо, и вы все отвергаете! Чего же вы хотите?

Мэнни с улыбкой сказал:

— Вы меня не совсем поняли. Я отклоняю суд Верховного трибунала, потому что считаю его первый приговор несправедливым; и, следовательно, с моей точки зрения, второй приговор также ничего не докажет, кроме готовности судей исполнять волю прави-

тельства, в чем я и не сомневаюсь. Я хочу пересмотра дела иным, высшим судом — судом Человечества. Чтобы сохранить во всей полноте и неприкосновенности право на эту апелляцию, я должен отказаться от всякого компромисса, от всякого явного или замаскированного помилования. Вот почему я останусь здесь до конца. Но я не отказываюсь работать. Я все время следил за делом, разрабатывал его планы и могу руководить им независимо от места, где буду находиться, — как вы, господа министры, руководите республикой, большей частью не покидая своих бюро. Тут есть неудобства и трудности, — я признаю это, — но если вы хотите, чтобы я взялся за дело, то вам надо примириться с ними.

— Вы представляете себе, насколько неловким будет все это время положение правительства? — с горечью сказал премьер.

— Вот уже больше двенадцати лет, как я нахожусь тоже в несколько неловком положении, — возразил Мэнни.

— Мы подчиняемся! — сказал президент.

III. Отец!

Газеты некоторое время волновались по поводу отказа Мэнни от пересмотра дела, но в конце концов общественное мнение успокоилось на том, что он, очевидно, эксцентрик и, как великий человек, имеет право быть таковым; было написано несколько учений статей о родстве гениальности с сумасшествием; они много читались и цитировались; а вывод был тот, что теперь общество сделало со своей стороны все возможное и ни в чем упрекнуть себя не может. «Великий человек» относился ко всему этому с великим

равнодушием и энергично вел реформу организации Великих Работ.

Из своих старых сотрудников он выбрал десять опытных, надежных людей и разослал их ревизорами по местам. Им были даны полномочия отстранять недобросовестных служащих, не стесняясь их рангом, приостанавливать действие убыточных контрактов и подрядов, разбирать требования рабочих, восстанавливать прежние условия труда и прежние порядки. Каждый ревизор сам должен был подобрать себе помощников и взять их с собою, чтобы в случае надобности заменять ими удаляемых крупных агентов. Ревизоры принялись за дело как нельзя энергичнее, были неподкупны и беспощадны. Газеты «либералов» — прежней партии Фели Рао — прозвали их «палачами герцога Мэнни».

Ревизовать и реформировать Центральное Управление работ было задачей особенно важной, но и очень сложной. Мэнни сначала сам думал выполнить ее, но оказалось, что тюрьма значительно стесняла его в этом; а между тем тут нужна была особенная быстрота. Тогда он письмом пригласил к себе автора книги разоблачений.

Когда Нэтти явился, Мэнни, предложив ему сесть, сразу спросил его:

— Вы — социалист?

— Да, — ответил Нэтти.

Мэнни посмотрел на него с большим вниманием. Впечатление получилось благоприятное: ясные лучистые глаза, открытое лицо, лоб мыслителя, стройная и сильная фигура... Мэнни пожал плечами и про себя, вполголоса — тюрьма развила в нем такую привычку — произнес:

— Впрочем, Ксарма, великий ученый, тоже был социалистом.

Потом, заметив свою невольную откровенность, он засмеялся и сказал:

— В сущности, это не касается меня. Я хотел, если это возможно, узнать от вас, какими путями вы собрали весь материал своих разоблачений.

Нэтти сжато рассказал о разных связях, которыми он воспользовался, о тех приемах, иногда рискованных и не вполне легальных, которые он применял, чтобы достать документы, о содействии рабочих и их организаций. Мэнни слушал с интересом, расспрашивал подробности. Несколько раз Нэтти приходилось затрагивать важные технические вопросы. Мэнни с удивлением убеждался в огромных специальных знаниях своего молодого собеседника. Особенно его поражало глубокое, отчетливое понимание руководящих идей всех основных планов системы работ. Мало-помалу разговор целиком перешел на эту почву.

Нэтти с большой смелостью предложил ряд крупных изменений в опубликованных раньше проектах. Мэнни принужден был констатировать, что некоторые из этих изменений уже были внесены им в последующей разработке планов и что остальные заслуживают, во всяком случае, обсуждения. Глаза Мэнни сияли; он с трудом скрывал свою радость: он нашел больше, чем искал.

Возвращаясь к прежнему сюжету разговора, он спросил:

— У вас есть, вероятно, еще материалы, кроме тех, которые вошли в вашу книгу?

— Да, — отвечал Нэтти, — и очень много: все то, что давало подозрения и вероятности, но не представлялось вполне доказательным. Если вы желаете, я предоставлю все это в ваше распоряжение.

— Очень хорошо, — сказал Мэнни. — А вы согласитесь взять на себя ревизию всех дел Центрального Управления под моим непосредственным руководством?

Так началась официальная карьера Нэтти.

Работа была колоссальная: приходилось разбираться за двенадцать лет, допрашивать сотни свидетелей, вести борьбу против хитрых и опытных дельцов. Но задача облегчалась энергичной поддержкой со стороны низших служащих: сочувствие их Нэтти быстро завоевал непреклонным противодействием всяким попыткам свалить вину на стрелочника. Благодаря этим союзникам дело шло сравнительно быстро. Время от времени Нэтти являлся к Мэнни с отчетом. В большой тюремной камере с несколькими столами и полками, с массой книг и бумаг на них происходило короткое совещание. Два человека понимали друг друга с полуслова. В несколько минут подводились итоги, принимались ответственные решения.

Раз Нэтти пришлось делать подробный доклад о «рабочей политике» Центрального Управления; о способах расхищения заработной платы, о тайных циркулярах, которые предписывали директорам на местах, ввиду усиления союзов, «усилить строгость, чтобы вызвать их на открытые выступления, дающие законный повод к решительным мерам».

Когда Нэтти говорил об этом, он весь как-то изменился от глубоко сдерживаемого негодования: голос его звучал глухо, выражение лица стало суровым, глаза потемнели, между бровей появилась резкая складка. Постороннего зрителя поразило бы в тот момент его сходство с Мэнни. Когда Нэтти кончил, Мэнни, ходивший из угла в угол, вдруг сказал:

— Странно! Вы мне очень сильно кого-то напоминаете. Но кого? Может быть, я встречал ваших родителей?

Нэтти удивленно взглянул на него:

— Не думаю... Впрочем, своего отца я и сам не знаю: мне никогда не хотели назвать его. Это был какой-то богатый человек с высоким положением; он бросил мою мать, даже не подозревая обо мне. А она — простая работница из Ливии; зовут ее Нэлла.

— Нэлла!

Это имя, как стон, вырвалось у Мэнни. Он побледнел и прислонился к стене.

Нэтти быстро спросил:

— Вы ее знаете?

— Я — ваш отец, Нэтти!

— Отец?!

В этом слове было только холодное изумление. Лицо молодого человека вновь стало суровым. Мэнни судорожно прижал руки к груди. С минуту продолжалось молчание.

— Отец...

На этот раз в голосе слышалась задумчивость, усилие понять что-то. Выражение Нэтти стало мягче, спокойнее.

— Я не знаю, что думать об этом. Я спрошу у моей матери, — медленно произнес он.

— Я не знаю, что скажет вам Нэлла. Но вот что я могу сказать вам. Когда мы с ней расставались, не было ни одного слова упрека с ее стороны. И когда я был осужден, то раздался один голос протеста, — это был ее голос, Нэтти.

Взгляд Нэтти сразу прояснился.

— Это правда. Я был там.

Вновь минута задумчивости. Потом молодой человек поднял голову и сделал шаг по направлению к Мэнни.

— Я знаю, что скажет мама.

Он протянул руку Мэнни, и уже сдержанной лаской прозвучало еще раз повторенное слово:

— Отец!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. Две логики

Никакой внешней близости между двумя инженерами открытие родства не вызвало. Мэнни всегда был замкнут, а долгое одиночество еще усилило наружную его холодность; Нэтти был сдержан с ним из осторожности. Для всех посторонних, с которыми им приходилось работать, они оставались по-прежнему начальником и подчиненным. Новый оттенок взаимного интереса и заботливости, появившийся в их отношениях, был замечен только им самим. Их разговоры стали более продолжительными, но, как и раньше, имели деловой характер. Долгое время оба старательно избегали высказываться по вопросам, в которых чувствовали коренное расхождение своих взглядов.

Работа шла. Реформа Центрального Управления, вновь превращенного в простое передаточное и справочное бюро, была выполнена уже настолько, что дальнейшее участие Нэтти там не было необходимо, а главное — не давало достаточного поля для его знаний и талантов. Мэнни хотел поручить ему объезды по местам в качестве полномочного высшего контролера. Но тут надо было о многом столкнуться. Это оказалось очень легким в пределах технических во-

просов и даже общих административно-финансовых и совершенно иным, как только дело коснулось условий труда рабочих.

— Я предполагаю, — сказал Мэнни, — что вы захотите внести в эти условия ряд новых улучшений. Я по существу не против и соглашусь, вероятно, на многое, потому что, как показывает опыт, и энергия и качество труда повышаются до известного предела вместе с увеличением платы и сокращением рабочего времени. Но есть одно предварительное требование, которое я ставлю своему полномочному представителю: ни в каком случае он не должен вступать по этим вопросам в официальные сношения с рабочими союзами.

— На это я согласиться не могу, — спокойно ответил Нэтти.

Взгляд Мэнни омрачился.

— Я не совсем вас понимаю. Вы сочувствуете союзам, — это ваше бесспорное право. Они ставят себе целью улучшение условий труда; вы могли бы теперь сами многое для этого сделать. Но вы — должностное лицо и подчинены определенным инструкциям. Узнать потребности и желание рабочих для вас возможно и помимо союзов. Ни вы сами себя и никто другой вас не имел бы основания упрекнуть, что вы достигаете своей цели, не нарушая дисциплины. Ведь у вас нет никакого формального обязательства перед союзами.

— Обязательство — это слово вообще неподходящее там, где дело идет об убеждениях, — сказал Нэтти. — Я социалист и ученик Ксармы. Для меня, как и для него, рабочие организации — действительные представители рабочего класса, и только они одни. Я не просто сочувствую им, я идейно к ним принадлежу, и отречься от них, хотя бы под прикрытием дисциплины, для меня немыслимо.

— То, что вы говорите, кажется мне странным. Во всех наших деловых разговорах я привык встречать у вас очень совершенную логику, точную и строгую. Тут она вам как-то изменяет. Вы признаете союзы законными и даже единственными представителями рабочих. Но сама очевидность говорит, что это не так. Материально — союзы заключают не большинство, а меньшинство рабочих. Формально — в договор найма вступают не они, а каждый рабочий в отдельности. Откуда же тут привилегия союзов на представительство? Это — то же самое, как если бы в государстве избирательное право было дано только меньшинству населения, тогда как гражданские обязанности каждый в полной мере несет сам за себя. Разве вы признали бы такое меньшинство законным и единственным представительством народа? Разве вы, социалисты, не демократы?

— Вы были бы правы, если бы рабочий класс был случайным и разношерстным собранием безразличных друг для друга людей, каким является современное государство в его законах. Но рабочий класс вовсе не то. В чем основа и сущность жизни работника? В его труде — не так ли? А в своем труде существует ли он отдельно, сам по себе? Отнюдь нет. Если бы его вырвать из великого сотрудничества миллионов людей и цепи поколений, он сразу превратился бы в ничто. Исчезла бы и самая задача труда и рабочая сила. Те цели, которые теперь ставятся усилиям человека, все таковы, что предполагают уже сотрудничество в гигантских размерах: проводить железную дорогу, канал, строить машину, производить массу пряжи или ткани, добывать горы угля — какой смысл имело бы все это, если бы дело шло об отдельном работнике без тех, с которыми сообща он выполняет такие колоссальные задачи, и без тех, для кого они выполняются?

А его рабочая сила, — чего она стоит без орудий, без технического знания, без тех жизненных средств, которыми она поддерживается? Орудия сделаны другими работниками, это их прошлый труд, который входит в поток живого труда, бесконечно усиливая его могущество. Знания накоплены жизнью предыдущих поколений, это их трудовой опыт, который стал основным и необходимым орудием всякой работы. Пища, одежда, жилище создаются для работника другими, ему подобными, которых он даже не знает. Отнимите все это, — что от него останется? Как рабочий он существует, он реален только в сотрудничестве, в трудовом единении бесчисленных человеческих личностей, живых и мертвых.

— Очень хорошо. Разделение труда, обмен услуг — вещи несомненные, важные. Но они, как показывают факты, вполне возможны и без рабочих организаций. Каким же логическим путем получился ваш вывод?

— Путем различения того, что сознательно и что бессознательно. Назовете ли вы человеком, в действительном смысле этого слова, существо, не сознающее себя самого, своего отношения к другим людям, своего места в природе? Пусть у него есть человеческий образ; но к человечеству оно все-таки еще не будет принадлежать. Так и для меня еще не принадлежит к рабочему классу работник, который не сознает того, что есть его сущность как работника: своей неразрывной связи с другими, ему подобными, своего места в системе труда, в обществе. Но если он понимает или хотя бы чувствует все это, — он неизбежно объединяется с другими работниками. Если он может и предпочитает жить только сам за себя, жизнью мнимо-отдельной, мнимо-самостоятельной единицы, то он, как работник, существо не сознательное, не член

и не представитель своего класса, хотя бы таких, как он, было подавляющее большинство.

— А не софизм ли все это? Рабочий объединен с другими в труде. Прекрасно. Но рабочие союзы как раз таким объединением и не занимаются: оно устраивается помимо них. Занимаются же они, главным образом, условиями найма; а теперь еще начинают заниматься политическими вопросами. Между тем и в договоре найма и в своей роли гражданина рабочий остается сам по себе: для себя лично получает заработную плату, по своим личным убеждениям подает голос на выборах. Где же логическая связь между единством труда и тем значением, которое для вас имеют союзы?

— Эта связь лежит в логике жизни, в логике сознания, которое стремится сделать жизнь цельной истройной. Единство труда, которое дается работникам извне, которое для них устраивается другими, есть еще только механическое, бессознательное единство, вроде того, которое связывает части сложной машины. С пластинками и винтиками машины не считаются, — их только считают. Таково отношение господствующих классов к рабочим; оно законно и справедливо, пока рабочий живет сам за себя и для себя; ибо тогда он бессилен. Сила человека — в его последовательности и верности себе, в соответствии всех сторон его жизни: его труда, его мысли, его отношений к другим людям. Если работник в труде составляет одно со всеми работниками, а в отношениях к нанимателям и государству, в остальной практике жизни и в мышлении отделяет себя от них, то у него нет единого принципа, нет сознания своей сущности, нет сознания самой действительности. Ибо вовсе неверно, будто он сам за себя имеет дело с нанимателем, сам себя определяет в политике. Условия труда, которые будут ему поставле-

ны и которые он должен будет принять, зависят всецело от того, больше или меньше других работников конкурирует с ним и каковы они по своему уровню привычек, по интеллигентности и по энергии в борьбе за свои интересы. В политике, где борются коллективные силы, создавая сложнейшие соотношения, он не может разобраться индивидуально; и если он не сделает этого в единении с другими работниками, то он — игрушка случайной агитации, лживых обещаний, мелких и нередко враждебных его интересам влияний. Он материал для воздействий, орудие для чужих целей, а не сознательное существо.

— И все-таки из этого никак не получается, чтобы союзное меньшинство было законным представителем внесоюзного большинства!

— Я и не говорил этого. Сознательное меньшинство — представитель не бессознательного большинства, а *целого*, представитель класса. Так и человек вообще — не представитель *остальных* организмов нашей планеты, но он в полной мере представитель *жизни* на ней, потому что в нем эта жизнь пришла к сознанию себя.

— Я пробую сейчас применить ваши соображения к себе, — насмешливо заметил Мэнни, — и вывод получается для меня самый печальный. Я, несомненно, ничего не мог бы сделать без тех миллионов работников, руками которых выполняются мои планы. Но у меня нет ни малейшего желания объединяться с ними, скорее, наоборот, — я склонен противопоставлять себя им. Следовательно, я — как нельзя более бессознательное существо. Это лестно!

Нэтти засмеялся.

— Вы обладаете *иным* сознанием, и в своем роде очень совершенным. Это — сознание того класса, который предшествовал пролетариату, который проложил

ему путь и продолжает по-своему, правда, без особенной мягкости, воспитывать его. Тот класс шел вперед через борьбу человека с человеком, через войну всех против всех; и он не мог иначе: историческая задача состояла в том, чтобы создать человеческую личность, существо активное и полное веры в себя, чтобы выделить ее из человеческого стада феодальной эпохи. Но это сделано; и в рабочем классе воплощается уже другая задача. Дело идет о том, чтобы собрать эти активные атомы, связать их высшей связью, их стихийно-противоречивое сотрудничество сделать гармонически стройным, слить их в едином разумном организме человечества. Таков смысл нового сознания, начало которого — в рабочих организациях.

— Берегитесь, вы впадаете в опасную метафизику. Для вас эти классы, это будущее человечество уже стали настоящими живыми существами, с особой, фантастической жизнью...

— Почему фантастической? Она реальна, она гораздо шире и сложнее, чем простая груда личных жизней, чем хаос разрозненных сознаний. А понятие о живом существе изменяется, оно различно в разные эпохи. Если бы нашим предкам, даже самым ученым, несколько сот лет назад сказали, что человек есть колония из 50–100 триллионов неуловимо малых живых существ, разве это не показалось бы самой странной метафизикой?

— И в такие существа, подобные клеткам, вы хотите, по-видимому, превратить человеческие личности?

— Нет, этого мы не хотим. Клетки организма не знают того целого, к которому принадлежат; скорее с ними сходен поэтому современный тип личности. Мы же стремимся именно к тому, чтобы человек вполне сознал себя как элемент великого трудового целого.

Мэнни встал и несколько минут молча ходил по комнате; затем остановился и сказал:

— Очевидно, что такое обсуждение ни к чему нас не приведет. Как же нам поступить? Согласитесь ли вы разделить полномочия с другим помощником так, чтобы вам принадлежал весь технический контроль, а ему административный?

Он несколько тревожно взглянул на собеседника.

— Очень охотно, — отвечал тот, — это всего удобнее.

— Благодарю вас, — произнес Мэнни. — Я опасался отказа.

— Напрасно, — возразил Нэтти. — Административные полномочия поставили бы меня в трудное, скользкое положение. Быть официальным представителем одной стороны и по всем симпатиям, по всем интересам принадлежать к другой стороне, это — такая двойственность, при которой нелегко, может быть, даже невозможно сохранить равновесие. Быть верным себе, удержать ясную цельность сознания — для этого надо избегать противоречивых ролей.

Мэнни задумался и после короткого молчания сказал:

— Вы последовательны в вашей своеобразной логике; этого за вами отрицать нельзя.

II. Глубже и глубже

Поездка Нэтти вышла продолжительнее, чем предполагалась. Он уехал в начале осени, а вернулся уже весной — через год по земному счету. Ошибки и беспорядок, внесенные в технику работ за эпоху управления хищников, оказалось не так легко исправить, как думали сначала новые руководители.

Хотя Нэтти за время путешествия присылал точные, сжатые доклады о том, что он нашел на местах и что предпринял, но ему пришлось дать еще подробный словесный отчет, который занял у них с Мэнни не один день. Эти долгие беседы часто отклонялись от чисто деловых вопросов, превращались в обмен мыслями, оценками, отдаленными планами. Разлука словно сблизила отца с сыном, ослабив их взаимную сдержанность; так нередко бывает между натурами, обладающими действительным внутренним родством.

В конце своей поездки Нэтти присутствовал, как представитель Управления Работ, на торжественном открытии только что оконченного канала Амброзия. Впечатления были еще ярки в памяти молодого инженера, когда он рассказывал об этом Мэнни.

— Мне хотелось бы быть поэтом, чтобы передать вам все, что я пережил в тот день. Я стоял вместе с другими инженерами, на высоте дуги моста, перекинутого через канал над его шлюзами. По одну сторону уходило в бесконечность стальное зеркало Южного океана, по другую — темнело внизу, направляясь через равнину к горизонту, сначала широкой, потом все более узкой полосой уже готовое русло еще не рожденной гигантской реки. Сотни тысяч народа, в праздничных нарядах и с возбужденными лицами, волнами разливались по набережным; а дальше в обе стороны раскидывались красивые здания и сады города, которого не было пятнадцать лет тому назад; и еще дальше — лес кораблей в двух внутренних бассейнах, куда они скрылись от опасности погибнуть в первом порыве вод по новому пути. С золотыми лучами солнца среди прозрачного воздуха переплелись радость и ожидание, все окутывая и все соединяя невидимой эфирно-нежной тканью. На одно мгновение эта ткань как будто

разорвалась: отряд войск серой лентой, с холодным блеском и резким звяканьем оружия, разделил пеструю толпу; кровавые и черные воспоминания нахлынули массой, угрожая затопить красоту минуты. Но серая змея была на этот раз безопасна, тяжелые призраки прошлого расплылись туманом и исчезли перед сияющей действительностью...

Раздался сигнальный выстрел, и моя рука прижала рычаг электрического механизма шлюзов. Мне показалось, что все замерло в неподвижности... но это была, конечно, иллюзия. На спокойной поверхности моря вдруг образовалась долина, которая резко углублялась к мосту. Все прежние звуки сразу потонули в гуле и шуме оглушающего водопада. Затем шум понизился настолько, что среди него всплыли восторженные клики тысяч людей. Мутная масса воды, клубясь и пенясь, со страшной быстротой неслась к северу по руслу канала — Великое событие совершилось: начало новому расцвету жизни было положено. Какое торжество объединенных человеческих усилий, всепобеждающего труда!

— Странно! — задумчиво заметил Мэнни. — Как своеобразно все переводится в вашей голове... Там, где, мне кажется, сама очевидность говорит о торжестве *идеи*, вы видите торжество *труда*.

— Но это одно и то же, — сказал Нэтти.

— Не понимаю, — все с той же задумчивостью, как будто размышляя вслух, продолжал Мэнни. — Я думаю, что знаю, что такое идея и что такое — усилие, труд. Я уже не говорю о том объединенном труде человеческой массы, который для вас каким-то образом заслоняет все, а для меня — просто механическая сила, с удобством и с пользой заменяемая работой машин. Но даже интеллектуальный труд сознательной личности...

Я всегда служил идее и всегда господствовал над своим усилием. Оно — лишь средство, она — высшая цель. Идея больше, чем сами люди и все, что им принадлежит; она не зависит от них, они подчиняются ей. Для меня это несомненно, как то, что я в полной мере испытал. Несколько раз в моей жизни мне случалось овладеть идеей, раскрыть истину — ценою напряженной и долгой работы, мучительной борьбы с тайною... И когда наступал этот момент, все пережитое сразу исчезало перед сияющим величием найденного; и даже сам я как будто переставал существовать. За покрывалом, сорванным моей мыслью и волей, выступало то великое, необходимое, чего не в силах было бы изменить все человечество, хотя бы оно объединило для того всю свою энергию: разве оно может сделать так, чтобы эта идея перестала быть истиной? И если оно не захочет признать ее, если откажется следовать ей, она ли пострадает от того? Пусть даже исчезнет человечество — истина останется тем, что она есть. Нет, не надо унижать идею! Нужны усилия, чтобы отыскать путь к ней, нужен часто грубый труд, чтобы осуществить ее веление. Но эти средства бесконечно далеки от ее высшей природы.

— Я тоже вовсе не хочу унижать идею. Я только иначе понимаю ее природу, ее отношение к труду. Вы правы, что идея выше отдельного человека, что она ему не принадлежит, что она господствует над ним. Но посмотрите, вы не сказали, в чем же состоит ее высшее существо; а ведь тут и должно лежать решение вопроса.

— Не совсем понимаю, чего вы требуете. Высшая сущность идеи заключается в ее логической природе; разве это не ясно для всякого, кто живет идейной жизнью? Или вам этого недостаточно, и вы хотите чего-то другого, большего?

— Да, этого недостаточно, потому что это — мнимый ответ. Существо идеи — логическое, это все равно что сказать: идея есть нечто идеальное, — или просто: идея есть идея. Об ее природе после этого ответа человек знает ровно столько же, сколько и до него. В науке вы не удовлетворились бы этим; там для вас мало знать, что воздух есть воздух и вода есть вода; вы потребуете их анализа.

— Не думаю, чтобы ваше сравнение было правильно. Но, во всяком случае, если бы было возможно произвести физический и химический анализ природы идей, подобный исследованию воздуха или воды, я первый был бы рад этому. Но не мечта ли это?

— Не настолько, как вам должно казаться. Не химический, конечно, а жизненный анализ природы идей вполне возможен. Ксарма начал его, но не закончил и остался непонятым... Я продолжал дело...

— И вам удалось?

— Я думаю, что да.

— Расскажите тогда ваши выводы... если надеетесь, что я пойму вас. Не примите эту оговорку за иронию; я просто убедился, что в некоторых вещах у нас как будто разная логика. Я не предрешаю вопроса, которая правильна...

— Хорошо. Но тогда вам надо на время покинуть логическое царство отвлеченности и взять идею в самой жизни. Вот наши предки тысячу лет боролись за идею свободы. Это, без сомнения, одна из величайших идей человечества. Когда я читал историю и старался проникнуть в душу тех далеких поколений, для меня стало ясно, из чего возникла и выросла идея свободы. Миллионы людей жили в рамках, которые становились для них все более тесными. На каждом шагу их труд, их усилия, их стремление развернуться,

зарождавшаяся в их головах творческая работа наталкивались на какую-то стену, встречали подавлявшее их сопротивление и замирали в бессилии; затем возобновлялись, чтобы испытать ту же судьбу. Так погибали бесплодно мириады человеческих усилий в их разрозненности; была боль, но не было идеи. Из боли рождались новые усилия, такие же смутные, но более напряженные и еще более многочисленные. Мало-помалу они начали соединяться и приобретать общее направление; сливаясь, они образовывали все более могучий поток, устремлявшийся против старых преград. Это и была идея свободы: единство человеческих усилий в жизненной борьбе. Было найдено слово «свобода»; само по себе оно было бы не лучше и не хуже других слов; но оно стало знаменем объединенных усилий; так в прежние времена для армий обыкновенные куски материи служили выражением единства боевых сил. Отнимите слово «свобода» — останется поток усилий, но не будет сознаваться его общее направление, его единство. Отнимите эти усилия — от идеи: ничего не останется. И такова же всякая другая идея. Чем грандиознее поток объединенных усилий, тем величественнее, тем выше идея, — тем слабее и ничтожнее перед нею отдельный человек, тем для него естественнее служить, подчиняться ей. Пусть люди сами не сознавали, почему для них радостно было бороться и даже умирать за идею свободы; их чувство было яснее и глубже их мысли: для человека нет большего счастья, как быть живой частицей могучего, всепобеждающего порыва. Таким порывом человечества была идея свободы.

— Значит, если бы не было деспотизма, гнета, произвола, то не было бы идеи свободы, потому что не было бы объединения усилий, чтобы преодолеть их?

— Конечно да. В ней не могло бы быть живого смысла; какая же это была бы идея?

— Я не стану спорить с вами, я хочу только полнее понять вас. Идея свободы в истории была боевой; возможно, что она выросла в массах. Но применим ли наш вывод к другим идеям, которые не таковы? Мне кажется, что именно этот выбранный вами пример привел вас к вашему выводу; а если бы вы взяли не его, то получилось бы иное.

— Что же, возьмем другой. Вот самая близкая для вас идея — план Великих Работ. В ней заключено гораздо больше, чем это кажется без исследования вам самому, ее автору. Уже не раз в прошлом человечеству становилось тесно на поверхности нашей планеты, даже в те времена, когда оно было очень малочисленно, но не умело брать у природы всего того, что берет-ся теперь; за последние века все труднее становилось преодолеть эту тесноту. Труд человечества, стремясь расширить свое поле, постоянно разбивался о границы великих пустынь. Там бесчисленные возникавшие усилия подавлялись суровой властью стихий, оставляя за собой неудовлетворенность и мечту; а мечта — это не что иное, как усилие, побежденное в действительности и ушедшее от нее в область фантазии. Но были и не бесплодные попытки: местами труду удавалось отвоевать клочки пустыни, проводя воду туда, где ее не было. Были и другие попытки: неудовлетворенное усилие не превращалось в простую мечту, а принимало, переходя от людей труда к людям знания, новую форму — стремления исследовать. Отважные путешественники проходили пустыни из конца в конец, измеряли и описывали их, без счета растрачивали свою энергию; возвращаясь, они приносили с собою то, что казалось практически бесполезным, чистым знанием

о мертвых навеки песках и равнинах, но что было на самом деле кристаллизированным усилием пионеров-разведчиков для будущей войны с царством Безжизненно-го. Чем дальше, тем больше умножались попытки, напряженнее становились стремления, полнее и точнее исследования... Сдавленная активность веков искала выхода. И вот нашелся человек с душой достаточно широкой и глубокой, чтобы бессознательно объединить и слить в ней все эти различные элементы усилий человечества; со смелостью прежней мечты охватить трудовую задачу во всем ее гигантском объеме, внести в ее решение всю накопленную прошлыми исследованиями энергию знания, применить к ней все приемы, выработанные научной техникой эпохи машин. Тогда из разрозненных прежде элементов получилось живое, стройное целое и оно было — идея Великих Работ. Ее концентрированная сила смогла объединить вокруг нее новую массу труда, работу миллионов исполнителей. Так совершилось то, к чему ошущью стремились многие и многие поколения.

— Яркая, но странная картина, — задумчиво заметил Мэнни.

— Это верная картина, не сомневайтесь в этом, — продолжал Нэтти. — Вы, вероятно, не знаете, что триста лет тому назад один, давно забытый теперь, утопист во времена долгого и тяжелого кризиса земледелия изобразил в виде пророческой социальной мечты нечто очень близкое к вашему плану. Мне указал на эту книгу молодой историк, изучавший ту эпоху. Утопия выражает стремления, которые не могут реализоваться, усилия, которые ниже сопротивления. Теперь они выросли и стали планомерным трудом, преодолевающим те сопротивления; для этого им надо было слиться в единстве идеи. Вот почему для меня торже-

ство объединенного труда и торжество идеи — одно и то же... Я мог бы даже сказать — ваше торжество, и это не было бы неверно: вы не открыли, не нашли свою идею, как это вам кажется; вы создали ее из того, что еще не было идеей. Человек — творческое существо, Мэнни.

— Человек ли? Это, скорее, какой-то резервуар общих усилий, — шутливо возразил Мэнни, чтобы скрыть невольное волнение, которое в нем вызывала такая оценка в устах всегда сдержанного с ним Нэтти.

Тот понял это и не ответил на шутку. Наступило короткое молчание, которое вновь прервал Мэнни.

— То, что вы говорите, если бы и было верно, могло бы относиться только к практическим идеям. Но ведь есть и чисто теоретические, созерцательные идеи, хотя бы в математике, в логике. С ними ваш анализ вряд ли удался бы.

— Нет идей чисто теоретических. Те, которые ими кажутся, только общее и шире других. Разве не на математике построена вся организация работы в инженерном деле и даже вообще в машинном производстве? Разве ваши планы и их осуществление были бы возможны без сотен тысяч математических вычислений? А что касается логики, то весь ее жизненный смысл именно в том, чтобы дать людям возможность сталкиваться между собою, то есть объединять с успехом свои усилия в труде или в исследовании.

— Зачем, если всякая идея сводится к объединению усилий, то где же разница между истиной и заблуждением?

— Эта разница в их результатах. Объединение усилий может быть таким, что оно ведет к достижению их цели, тогда оно — истина, и оно может быть таким, что ведет к их растрате, крушению; тогда оно —

заблуждение. Идея свободы была истиной потому, что вела человечество к победе, к расцвету жизни, которая есть конечная цель всякого труда. Математические формулы — истины потому, что дают надежное орудие успеха в борьбе со стихиями. Заблуждение само себя опровергает, приводя усилия к неудаче.

— Ну а если цель вполне достигнута, что же тогда дальше с истиной? Усилиям, которые ею объединялись, приходит конец...

— И ей тоже. Человечество идет дальше, ставит новые цели; а она умирает. Когда окончательно исчезнут преступления, умрет идея правосудия. Когда жизнь и развитие людей совершенно не будут стеснены никаким гнетом, тогда отживет идея свободы. Они рождаются и борются за свою жизнь и погибают. Часто одна убивает другую, как свобода убивает авторитет, научная мысль — религиозную, новая теория — старую.

Триста лет тому назад великий ученый установил вечность материи. Это была истина, и одна из величайших. Человеческая активность, чтобы овладеть веществом, подчинить его себе, отыскивает его всюду, где оно исчезает из глаз, прослеживает его во всех превращениях: таков смысл этой идеи, давшей бесчисленные плоды во всех областях труда и познания. А теперь, вы знаете, выступает все настойчивее новая идея, — что материя разрушается и, значит, когда-нибудь возникла или возникает. Когда эта истина созреет, она будет выражать высшую ступень власти труда над веществом, господство над самой внутренней жизнью материи. Тогда умрет старая идея, сделавши свое дело. И то же будет со всякой другой, потому что человечество не остановится на своем пути.

Мэнни с закрытыми глазами откинулся на спинку стула. Несколько минут он думал так. Затем он сказал:

— Я знаю, что вы больше меня изучали то, о чем говорите, и для меня несомненно, что у вас хорошая, светлая голова. Все ваши слова просты, ясны; но все-таки ваши мысли мне странны и непонятны. Меня словно отделяет от них какая-то темная завеса... Моментами — только моментами — эта завеса как будто разрывается, и мне кажется, что я вижу через нее отблеск далекой истины. Но затем все погружается снова в тот же мрак. Бывают другие мгновения, когда во мне вспыхивает враждебное чувство, точно вы хотите разрушить что-то священное для меня, самое дорогое; но быстро является сознание несправедливости этого чувства. В общем, ваши взгляды представляются мне какой-то поэзией труда, которой вы хотите дополнить или, может быть, даже заменить строгую науку. На это я, конечно, никогда согласиться не могу. Но у меня нет желания спорить; я понимаю, что это было бы бесплодно. У вас на все будет ответ, но неубедительный для меня, потому что основанный на чуждой мне логике. И в то же время мне глубоко интересно все, что касается ваших мыслей и вашей жизни... Расскажите мне о своем детстве, Нэтти.

III. Враги и союзники

Некоторое время позиция Мэнни казалась недоступною никакой атаке. После разоблачения врагов и гибели их, по-своему гениального, руководителя, призванный ко власти по требованию самих рабочих и общественного мнения, утвержденный в своих правах единогласным постановлением парламента, он, при поддержке старых сотрудников и Нэтти, в короткое время достиг необыкновенных успехов. Гигантское дело, приходившее в упадок, было восстановлено

и шло, как по рельсам; часть расхищенного при Фели Рао — несколько миллиардов — была уже возвращена путем судебных конфискации; продолжавшийся ряд расследований и судебных процессов должен был вернуть еще значительную долю остального; создавался, таким образом, колоссальный фонд для расширения и развития работ. Но, несмотря на все это, в общественной атмосфере было что-то странное, неопределенно гнетущее. Это было особенно заметно на широкой, демократической прессе. Когда-то раньше, в эпоху первых успехов Мэнни, она восторженно приветствовала и горячо комментировала каждую его победу; теперь в ней господствовал словно общий заговор молчания. Газеты сообщали — и то лишь в пределах необходимого — о событиях, касавшихся Великих Работ и их организации, но систематически воздерживались от оценок и даже от пояснений; они предпочитали заниматься другими вещами. И это отнюдь не было результатом только подкупа со стороны старых финансистов и вообще их влияния: нет, «общественное мнение» было на самом деле недовольно. Оно не имело поводов порицать новый ход вещей, но не чувствовало ни малейшей склонности одобрять его виновников и руководителей. Были тому серьезные причины.

Во-первых, «общество» — это слово обозначало тогда высшие и средние классы, вместе взятые, — не могло примириться с ролью рабочих в происшедшем перевороте. Не только они взяли на себя его инициативу, — это можно еще допустить, когда дело идет о достаточно опасной борьбе, угрожающей при случае перейти в кровопролитие; — но и потом, когда опасность уже миновала, ни на минуту они не захотели подчиниться руководству старых, серьезных партий, а, наоборот, навязали им свои требования и заставили

выполнить их в полном объеме. Это было нечто новое в развитии рабочего класса, который до тех пор экономически еще иногда умел отстаивать себя, но политически был все время самым удобным и покорным объектом эксплуатации.

Во-вторых, было нечто непонятное, тревожное как в упорном отказе Мэнни от пересмотра его процесса или амнистии, так и в его союзе с заведомо крайним революционером Нэтти. Первое имело вид нравственной пощечины всеми уважаемым учреждениям, второе представлялось угрозой для будущего. Какие еще неожиданности могли возникнуть из этой загадочной комбинации — трудно было вообразить; но тем сильнее беспокоила она общественное мнение.

Затем, настойчивое беспощадное преследование всех тех, кто участвовал в бюджетных операциях Фели Рао и компании, ряд конфискаций их имущества производили неблагоприятное впечатление на серьезную публику; она находила, что это чрезмерно. Наиболее виновные уже пострадали; можно было бы тем и удовлетвориться, не обрушивая всей тяжести репрессий на менее виновных. Большинство их были люди уважаемые, солидные деятели промышленности и торговли: в коммерческих делах не всегда так легко и просто уловить рамки формальной законности. В таких суждениях сказывалось и влияние бесчисленных мелких связей, которые соединяют членов «общества» в их обыденной жизни, и естественная снисходительность к проступкам, мотив которых — жажда присвоения — так всем им близок и понятен. Кроме того, крушение прежних тузов каждый раз затрагивало интересы очень многих, имевших с ними дела; самоубийство Фели Рао вызвало даже чуть не целый кризис на бирже. «Общество», как и его законная представительница — биржа, — ценит

спокойствие, уверенность в завтрашнем дне выше таких отвлеченностей, как правосудие или интересы общего дела. В Мэнни и во всем его окружавшем видели нечто протестующее, беспокойное, нечто неизвестное и грозное по своей силе. В сравнении с этим все преступления другой стороны стушевывались.

Однако старые, заведомые враги Мэнни не решались начать нападения: в их игре руководящие интересы были бы чересчур грубо очевидны, их репутация была слишком попорчена, им приходилось молчать, чтобы не повредить делу. Подать сигнал к атаке мог только кто-нибудь авторитетный и незапятнанный, стоящий выше подозрений. Долго такого не находилось...

Мэнни, поглощенный работой, новыми впечатлениями, воспоминаниями, не замечал, как атмосфера становилась все напряженнее. Однако не он один, а очень многие были поражены, когда с боевой статьей против него в самом распространенном органе выступил Тэо. Старый демократ, всеми уважаемый публицист, Тэо в свое время был одним из немногих, решавшихся бороться против Совета Синдикатов после его победы и даже открыто называть «делом лакеев» приговор в процессе Мэнни. Тем больше сенсации произвел его новый шаг. Статья была озаглавлена «Пора подумать!» и имела форму предостережения, обращенного к обществу и партиям.

«Все ли благополучно в нашей Республике? — спрашивал он и отвечал, что нет. — Демократия мало-помалу изменяет себе, ее принципы открыто подкапываются, и она терпит это; готовится худшая реакция. Допустима ли в демократии диктаторская власть одного человека над миллионами людей и над миллиардами общественных денег? Двадцать лет тому назад, при

утверждении плана Великих Работ, такие полномочия были созданы для их инициатора. Это была огромная ошибка. Она была простительна вначале, пока не обнаружились ее последствия. Но с тех пор мы пережили эпопею Фели Рао. Что, в сущности, сделал Рао? Он перехватил власть у Мэнни и воспользовался ею по-своему. Все знают, что из этого получилось. Демократия низвергла Фели Рао. А затем? Та же диктатура во всей неприкосновенности возвращена в руки Мэнни. Значит, ничему не научились?

Нам скажут: Мэнни — не финансист и не политикан, а честный инженер; на него можно положиться, для себя ему ничего не надо, он служит только делу.

Так ли это? Демократия не должна, не имеет права полагаться на отдельного человека; ее принцип — большинство. Если бы даже Мэнни был действительно таков, каким его представляют наивные люди, ослепленные величием его заслуг, которых мы вовсе не желаем умалить, — и тогда нарушение принципа демократии оставалось бы угрозой ее будущему. На самом деле опасность гораздо ближе.

Инженеру Мэнни для себя лично ничего не надо. А зачем же ему, в таком случае, диктатура? Или он взял ее не себе лично?

Скажут: надо судить о людях, об их намерениях по их действиям. Прекрасно. Рассмотрим действия инженера Мэнни по отношению к демократии.

Общество, народ требовали пересмотра его процесса. Он отвергает пересмотр. Разве это — не презрение к народной воле и к республиканским учреждениям?

Он имел право не уважать своих прежних судей, которые были орудием финансовой камарильи. Но не уважать самое правосудие республики — кто дал ему право на это? И что хочет он такой демонстрацией

внушить народным массам? Без серьезной практической цели человек дела не откажется от нескольких лет свободы. Для какой цели нужен ему во что бы то ни стало ореол мученика?

Всем известно прежнее отношение Мэнни к рабочим организациям: оно было не демократично. Внешним образом он даже и теперь еще не отказался от него.

Но посмотрите, какое противоречие! Возле инженера Мэнни в роли его ближайшего помощника мы находим — кого же? Если не явного вождя рабочих союзов, то, несомненно, их политического вдохновителя, социалиста Нэтти.

Как вы думаете, что это значит?

Заметьте: рабочие союзы за последнее время обнаруживают какое-то непонятное, беспричинное недоверие к нашей демократической партии, которая всегда защищала их интересы. Рабочие федерации не желают ограничиваться своими профессиональными интересами и создают свои особые политические комитеты. На наших глазах от демократии откалывается новая рабочая партия. Это опасное, может быть гибельное, для демократии распадение массовых ее сил происходит под прямым влиянием, вернее — под руководством целой школы революционных политиков, во главе которой стоят — Нэтти и его отец, механик Арри.

Все это — непреложные факты. Зная их, неужели трудно догадаться, для чего нужен противоестественный союз инженера-диктатора с социалистами? Фели Рао опирался на синдикаты; Мэнни хочет опереться на рабочие организации. Фели Рао довольствовался финансовым господством и наживою; он не покушался и не мог покушаться на республиканские формы: у него была сила денег, но не было силы масс. Будет ли так

же скромнен Мэнни, имея за собою рабочие массы? Он равнодушен к деньгам, это несомненно. *Значит, ему нужно другое.*

Хотите знать, зачем инженер Мэнни скрывается теперь за стенами тюрьмы? — Чтобы отвести от себя всякие подозрения до тех пор, пока его друзья на свободе достаточно подготовят политическую мобилизацию гигантской армии рабочих.

Я утверждаю: союз инженерской диктатуры с социализмом рабочих может быть направлен только *против демократии, против республики* и никакого иного смысла иметь не может».

Статья оканчивалась горячим призывом к парламенту, правительству и всем верным республиканцам немедленно начать борьбу против угрожающей опасности, иначе она станет неотвратимой. Статья появилась за несколько дней до начала очередной сессии парламента. Как всегда, сессия была открыта посланием президента Республики. Кроме обычных официальных фраз и перечисления заранее намеченных правительством законопроектов, послание на этот раз заключало в себе нечто неожиданное:

«...Хотя, — говорилось в нем, — пережитые не так давно Республикою потрясения окончились победою благомыслящих элементов и восстановлением согласного народной воле порядка, но следы их не вполне изгладились до сих пор. За эти два года меч правосудия неустанно разил виновных в нарушении интересов государства, и нанесенный ими ущерб до значительной степени был восполнен многими конфискациями. Теперь на рассмотрение парламента, мы полагаем, мог бы быть поставлен вопрос, не достаточно ли удовлетворены общественная совесть и государственный интерес, — не ощущается ли усиленной потребности

в полном успокоении, в окончательном восстановлении временно поколебленного социального мира. Если бы парламент признал, что это так, то наступило бы время для мер снисходительности и забвения».

Дальше следовали оговорки о том, что президент и правительство не связывают себя в данном вопросе никакой предпрешенной программой, что одному парламенту принадлежит право дать оценку положения и т. д.; но по существу послание предлагало амнистию и прекращение конфискаций.

Это был первый удар, направленный против Мэнни со стороны официально-политических кругов, но удар очень серьезный.

Нэтти в то время не было в столице: он находился в поездке как раз по делам следствия в связи с раскрытием новых важных фактов. Мэнни, который уже привык не предпринимать ничего важного без совета с ним, экстренно вызвал его обратно.

План действий был установлен быстро. Мэнни должен был ответить на послание президента печатным докладом парламенту о ходе расследований и судебных процессов по делу Великих Работ. Для доклада Нэтти дал цифровые расчеты, из которых было очевидно, что пока удалось возвратить меньше половины расхищенного, — и ряд очень важных разоблачений. Новые факты, добытые Нэтти и другими ревизорами, касались не только старых преступлений, но еще больше — последующей борьбы преступников за сохранение позиций и добычи. Был совершен ряд подлогов, чтобы скрыть имущества от конфискации: крупные финансовые тузы вдруг оказывались бедными людьми. Миллионные подкупы следственных и судебных властей повели к уничтожению важных обвинительных документов. Еще шире применялся подкуп свидетелей;

но были и случаи убийства несговорчивых. В общем, доклад неминуемо должен был испортить примирительное настроение парламента и надолго замедлить амнистию. До освобождения Мэнни оставалось всего несколько месяцев; было особенно важно выиграть это время.

На атаку Тэо, которую тем временем уже подхватили и поддерживали несколько крупных газет, Мэнни отвечать не мог: оправдываться против таких обвинений было ему не к лицу. Но крупные союзы столицы уже ответили негодующими заявлениями; Нэтти не сомневался, что провинциальные организации, особенно Федерация Великих Работ, ответят в свою очередь. Рабочие протестовали против того, что демократическая партия, под предлогом невозможного монархистско-пролетарского заговора, покушается, в сущности, на их зарождающееся политическое объединение. Рабочие указывали, что если официальные демократы и «защищали» их интересы, то делали это слишком плохо и неуспешно. «Разве они избавили рабочий класс от жестокой диктатуры Совета Синдикатов? — спрашивала столичная Федерация Механиков и отвечала: Нет, это было как раз наоборот; и в старые времена — разве не ценою крови рабочих больше всего была создана Республика? Поэтому бросьте всякие выдумки о заговорах против Республики, бросьте бесплодное возмущение против нашего недоверия к вашей партии, примиритесь с тем, что впредь мы сами будем политически защищать наши интересы, а иногда, может быть, и ваши, когда между теми и другими окажется совпадение».

Нэтти находил, что момент как нельзя более благоприятен, чтобы оформить политическую федерацию всех союзов в виде настоящей рабочей партии. Он решил и сам употребить для этого все усилия и был

уверен, что единомышленники его поддержат. Вместе с тем конфликт, разумеется, неизбежно обострялся; но и соотношение сил существенно изменялось.

Мэнни, слушая эти планы, невольно ловил себя на сочувствии к ним. Это тревожило его идейную совесть и вызывало смутное недоверие к себе. Ему хотелось оправдаться перед собой, и он сказал:

— Я совершенно не разделяю основ той программы, которую вы намечаете для вашей новой партии. Но я всегда полагал, что рабочие — свободные граждане — могут объединяться в союзы или партии, как им угодно; если они делают это, значит, у них есть свои основания. Я отказывался принимать требования союзов, но никогда не отвергал их права на существование. Не знаю, что принесет ваша партия в будущем; теперь же не могу отрицать ее необходимости для вас. Может быть, она будет той угрозой, которая остановит явно идущее вырождение старых партий; за это я готов был бы сочувствовать ей.

IV. Легенда о вампирах

Деловое обсуждение было окончено, и Мэнни говорил о том, что особенно изумляло и беспокоило его в новых событиях:

— Я должен сознаться, что совершенно не могу понять этой измены со стороны таких людей, как президент и Тэо. Я хорошо знаю их обоих: они неподкупны. И однако... Думаете ли вы, что они искренни?

— Наверное, да, — отвечал Нэтти. — Вглядитесь в их аргументацию: разве она у каждого из них не основана в общем именно на том, что он всегда говорил раньше? Тэо ревностно охраняет демократию и республику; президент настаивает на социальном мире...

— Не хотите же вы сказать, что они остались верны себе?

— Нет, конечно, этого я не говорю. Схемы те же, но их отношение к жизни изменилось; оно стало противоположно прежнему. Припомните, что когда-то писал Тэо по поводу инсинуаций умеренной печати относительно вашей «диктатуры». Демократия, находил он, слишком сильна, чтобы ее могли запугать подобными призраками. Как бы ни были широки полномочия, если они даны народной волей и подчинены ее постоянному контролю, в них нет ничего диктаторского. При этих условиях могущество установленной демократией власти есть только выражение могущества самой демократии: она выбирает наилучшие средства для общественного блага, и нельзя ограничивать ее в их выборе. А в данном случае, прибавлял Тэо, уже сама по себе злоба ее врагов свидетельствует о том, что выбран правильный путь. Тогда Тэо был полон смелости и призывал вперед, к новым завоеваниям — теперь он полон страха и призывает к сохранению того, что есть. А наш президент в своей знаменитой книге писал: «Надо уступить рабочим то, чего они требуют законно; этим будет прекращена растущая вражда классов. Если же мы встретим неразумно-упорное сопротивление тех, которые без усилий и заслуг получили от судьбы все и не хотят ничего дать другим, тогда мы не должны отступать перед серьезной борьбой и решительными мерами; интересы социального мира важнее эгоизма привилегированных». И вот в своем нынешнем послании он предлагает, тоже в интересах социального мира, сделать уступки как раз этим привилегированным...

— Это верно, — сказал Мэнни, — у вас очень точная память. Но как же вы допускаете тут искренность,

когда из одних и тех же посылок делаются противоположные выводы? Не прямое ли это доказательство лицемерия?

— Нет, это не то, — отвечал Нэтти. — Прежде у них была логика живых людей, им хотелось, чтобы жизнь шла дальше, становилась лучше, и это подсказывало им тогдашние выводы. Теперь у них логика мертвецов, им хочется спокойствия и неподвижности, остановки жизни вокруг. С ними случилось то, что на каждом шагу бывает с людьми и с целыми классами, с идеями и учреждениями: они просто умерли и стали вампирами.

— Бог знает, что вы говорите, — удивился Мэнни, — я совсем не понимаю вас.

Нэтти засмеялся.

— Вы знаете народное предание о вампирах? — спросил он вместо ответа.

— Конечно знаю. Нелепая сказка о мертвецах, которые выходят из могил, чтобы пить кровь живых людей.

— Взятое буквально, это, разумеется, нелепая сказка. Но у народной поэзии способы выражать истину иные, чем у точной науки. На самом деле в легенде о вампирах воплощена одна из величайших, хотя, правда, и самых мрачных истин о жизни и смерти. Мертвая жизнь существует, ею полна история, она окружает нас со всех сторон и пьет кровь живой жизни...

— Мне известно, что ваши рабочие часто называют капиталистов вампирами; но ведь это просто брань или, в крайнем случае, агитационный прием.

— Я говорю вовсе не о том. Представьте себе человека — работника в какой бы то ни было области труда и мысли. Он живет для себя, как физиологический организм; он живет для общества, как деятель. Его

энергия входит в общий поток жизни и усиливает его, помогает побеждать то, что ей враждебно в мире. Он в то же время, без сомнения, чего-нибудь стоит обществу, живет за счет труда других людей, нечто отнимает у окружающей его жизни. Но пока он дает ей больше того, что берет, он увеличивает сумму жизни, он в ней плюс, положительная величина. Бывает, что до самого конца, до физической смерти он и остается таким плюсом: ослабели уже руки, но еще хорошо работает мозг, старик думает, учит, воспитывает других, передавая им свой опыт; затем устает мозг, слабеет память, но не изменяет сердце, полное нежности и участия к молодой жизни, самой своей чистотой и благородством вносящее в нее гармонию, дух единства, который делает ее сильнее. Однако так случается редко. Гораздо чаще человек, который слишком долго живет, рано или поздно переживает сам себя. Наступает момент, когда он начинает брать у жизни больше, чем дает ей, когда он своим существованием уже уменьшает ее величину. Возникает вражда между ним и ею; она отталкивает его, он впивается в нее, усиливается вернуть ее назад, к тому прошлому, в котором ощущал свою связь с нею. Он не только паразит жизни, он ее активный ненавистник; он пьет ее соки, чтобы жить, и не хочет, чтобы она жила, чтобы она продолжала свое движение. Это — не человек, потому что существо человеческое, социально-творческое, уже умерло в нем; это — труп такого существа. Вреден и обыкновенный, физиологический труп: его надо удалять или уничтожать, иначе он заражает воздух и приносит болезни. Но вампир, живой мертвец, много вреднее и опаснее, если при жизни он был сильным человеком.

— Именно таким образом вы понимаете президента и Тэо?

— Да; и тут есть нечто еще худшее: в трупах людей заключены трупы идей. Идеи умирают, как люди, но еще упорнее они впиваются в жизнь после своей смерти. Вспомните идею религиозного авторитета: когда она отжила и стала не способна вести человечество вперед, сколько веков она еще боролась за господство, сколько взяла крови, слез и загубленных сил, пока удалось окончательно похоронить ее. Что касается демократии, то эта идея, как я думаю, еще не завершила всего, что может дать; но чтобы оставаться живой, она должна изменяться и развиваться с самим обществом; а для Тэо она застыла, замерла на том прошлом, в котором он действительно жил. Рабочей партии тогда не было; она — начало чего-то нового, чуждого ему, и во имя своей мертвой идеи он не хочет допустить ее. Лозунг же «социального мира», если и мог быть прежде сколько-нибудь полезен как протест против бешеной войны всех против всех и беспощадного эгоизма победителей, то теперь, когда борьба классов приобрела новый смысл и несет в себе великое будущее, он безнадежно исчерпан и не заключает в себе ни капли жизни.

— Как странно представлять себе вампирами людей, которых знаешь! — задумчиво сказал Мэнни.

— И странно, и тяжело, если видел их благородными и мужественными бойцами, — прибавил Нэтти.

Мэнни сделал головой движение, как будто хотел стряхнуть с себя что-то.

— Я и сам не замечаю, как поддаюсь вашим поэтическим образам, — заметил он с улыбкой. — Но вот еще вопрос. Если я верно вас понял, то вампирами люди и другие существа могут быть не только в старости?

— Конечно нет, — сказал Нэтти. — По народному поверью, вампирами становятся и мертворожден-

ные дети. Когда отживают целые классы общества, то мертвецы рождают мертвецов. То же бывает и в мире идей: ведь до сих пор возникают еще даже новые религиозные секты.

— Да, а вот, пожалуй, самое слабое место вашей теории. Как определить момент, когда живое существо делается вампиром?

— Это в самом деле очень трудно, — ответил Нэтти. — Большей частью превращение обнаруживается гораздо позже, когда принесенный вред уже очевиден, когда вампир успел много выпить крови. Уж, конечно, не в последние дни Тэо стал впервые врагом будущего. Прежде меня мучила тайна этого момента. Я был очень молод, когда впервые проникся смыслом легенды; мои выводы были тогда резки, ощущения остры. Иногда я думал: вот, я встречаю разных людей, живу с ними, верю им, даже люблю их; а всегда ли я знаю, кто они в действительности? Может быть, именно в эту минуту человек, который дружески беседует со мною, невидимо для меня и для себя переходит роковую границу: что-то разрушается, что-то меняется в нем, — только что он был живым, а теперь... И меня охватывал почти страх. Ребяческое настроение, разумеется.

— Нет, не совсем ребяческое, если верить в вашу теорию, — возразил Мэнни. — И для меня удивительно, как вы, с вашим светлым, радостным взглядом на жизнь, могли создать такую мрачную фантазию.

— Создал ее не я, а истолкование подсказала мне история, — улыбаясь, возразил Нэтти. — Притом для меня она не только мрачная. В детстве я очень любил сказки о героях, которые сражаются со страшными чудовищами...

— И вы мечтали сами быть таким героем, победителем вампиров? Что ж, ваша мечта исполнилась; и я

понимаю, что теперь вы можете не бояться никаких мертвецов.

— Они — враги, а врагов чего же бояться? И кроме того, живая жизнь рано или поздно всегда победит мертвую.

V. Вампир

Борьба продолжалась, все более ожесточенная со стороны врагов Мэнни. Но при всем желании правительство не могло принять против него сколько-нибудь решительных шагов, благодаря тактике Нэтти, который умело воспользовался раскрытыми фактами подкупа должностных лиц. Ему удалось по старым бумагам Фели Рао восстановить историю тех пятидесяти депутатов, которые стали сразу миллионерами и сторонниками Рао; оказалось, что некоторые из них и теперь продолжали заседать в парламенте, в числе ярых противников Мэнни.

После такого скандала и парламентское большинство было надолго парализовано в своих враждебных намерениях. Правительству оставалось только вести булавочную войну против Правления Работ, устраивая ему разные мелкие затруднения и придирки.

Мэнни странным образом мало интересовался всей этой борьбой. Он выслушивал доклады Нэтти и других сотрудников, большею частью одобрял их действия и проекты, иногда, если требовалось, сам делал то, что они советовали; но почти постоянно чувствовалось, что мысль его занята чем-то другим. Он становился все более рассеян, даже неровен в отношениях к окружающим, старался до минимума сокращать деловые свидания и беседы, точно они сильно утомляли его. Казалось, что и его физическое здоровье, которое столько

лет противостояло влиянию тюрьмы, теперь начало поддаваться: на лице его стали часто замечаться следы бессонных ночей, в глазах появился лихорадочный блеск. Когда ему говорили об этом, он раздражался и сухо обрывал собеседника.

Однако с Нэтти он никогда не позволял себе ни малейшей резкости, только временами начинал немного избегать его; но гораздо чаще проявлял к нему необычно ласковое внимание, почти нежность. Настоящих разговоров о предметах разногласия он с ним не вел, — но иногда неожиданно задавал ему вопрос по поводу какого-нибудь из крайних выводов его миропонимания, словно хотел измерить всю глубину расхождений; а затем он немедленно переходил к другим темам. Всего охотнее он его расспрашивал о годах детства, о близких ему людях, обо всем, что прямо или косвенно соприкасалось с Нэллой.

Нэтти замечал все это и даже рассказывал своей матери, но, поглощенный борьбой и планами, не раздумывал особенно и успокаивался на самом легком объяснении: он полагал, что это — вполне естественная нервность человека, для которого после долгих лет тюрьмы приближается момент освобождения. Нэлла, с ее более чутким сердцем, сомневалась, чтобы все было так просто, однако не высказывала своих опасений, потому что ни к чему ясному и определенному не приходила. Она думала даже сама пойти и повидаться с Мэнни, но не могла найти предлога; отчасти ее удерживало воспоминание о старом разговоре с Арри, который увидел бы теперь в ее поступке особый смысл, неприятный для нее.

Каждый вечер, после ухода своих посетителей, Мэнни подолгу оставался в огромной камере, служившей ему рабочим кабинетом. Он сидел неподвижно,

прислонившись к спинке кресла, и отдавался своим размышлениям. Но ход их становился чем дальше, тем более смутным, и часто уже сам Мэнни не мог бы точно сказать, о чем он думал. Два момента, однако, выступали ярче остального в этом хаосе и как будто господствовали над ним: во-первых, мысли и образы, связанные с теорией Нэтти о вампирах, и, во-вторых, не прекращавшееся чувство необходимости скоро принять какое-то очень важное решение.

Время шло. За два дня до освобождения, поздно вечером, Мэнни, как обыкновенно, был один в своем мрачном кабинете. За день он много работал, но не ощущал никакого утомления; напротив, его самочувствие было лучше обычного. Голова была ясная, хотя до странности пустая: Мэнни казалось, что он ровно ни о чем не думает, и это было почти приятно. Слабый свет, разливавшийся от электрической лампочки, прикрытой абажуром, был недостаточен для большой комнаты, и в углах царил полумрак.

Вдруг у Мэнни явилось впечатление, что сзади на него устремлен чей-то взгляд. Он повернул голову. В самом дальнем от него углу мрак сгустился и принял, сначала неопределенно, очертания человеческой фигуры; но уже резко выделялись горящие глаза. Фигура, скользя, стала приближаться и сделалась отчетливее. Когда она перешла в освещенное пространство, Мэнни узнал ее — без удивления, хотя с отвлеченным сознанием несообразности факта: это был инженер Маро.

Призрак с насмешливым поклоном остановился в нескольких шагах от Мэнни и сел на свободный стул напротив. Он был таков, как во время последнего объяснения, с той же циничной улыбкой; только лицо было гораздо бледнее, глаза ярче, губы краснее, чем

тогда, и на шее видна была неправильная кровавая полоса разорванных тканей.

— Мой привет! — сказал он. — Мне нет необходимости представляться, вы меня хорошо знаете. Вы не удивлены, потому что, в сущности, давно ожидаете меня. Да, я — Вампир; не специально ваш друг Маро, а Вампир вообще, властитель мертвой жизни. Я принял сегодня этот образ, как наиболее подходящий для нашей беседы и, пожалуй, один из лучших. Но у меня есть и сколько угодно других; а очень скоро я приобрету еще один, много лучше...

Призрак остановился и засмеялся тихим, самодовольным смехом. Затем он продолжал:

— Нам надо поговорить о серьезных вещах. О, мы столкнемся! Будем беседовать по порядку и сначала выясним положение. Оно довольно просто, но совершенно нелепо; вы по совести должны согласиться, что это так. Вот уже три года Мэнни Альдо, великий инженер, играет странную роль, чрезвычайно неподходящую для него: роль орудия в чужих руках. Такова прискорбная истина. Вы всегда признавали, что истина не зависит от того, кто высказывает ее. Если вам неприятно, что приходится выслушивать ее от меня, то тем хуже для вас; а она от этого не перестанет быть истиной. Припомните ход событий и взгляните на него беспристрастно.

Ваше возвращение к власти — по чьей воле оно произошло? Увы! по воле ваших старых врагов, с которыми вы прежде так мало церемонились: рабочих союзов. Да! будьте искренни; вы не можете отрицать этого. Сами вы тогда не имели возможности ничего предпринять; все явилось извне. Разоблачения Нэтти были, конечно, очень важны, но для кого он старался? Для рабочих союзов. Самый план тайного расследования, вы знаете, был дан ему не кем иным, как Арри,

который за десять лет размышления в тюрьме успел догадаться о многом. И потом, Фели Рао был мастер тушить всякие дела: что вышло бы из разоблачений никому неизвестного юноши, если бы манифест рабочей федерации не придавал им настоящей силы? Союзы потребовали себе вас, как они требуют прибавки заработной платы на пять копеек. Может быть, это лестно. Они получили вас, как получили бы соответственное число копеек. Но вы, никогда не желавший уступать им, ни даже вести переговоров с ними, — вы в роли уступаемого им объекта.

Тут Мэнни, слегка раздраженный издевательством, прервал своего собеседника.

— Что же вы полагаете, я должен был отказаться? — холодно спросил он. — У меня не было *иных* прав руководить делом? Оно не было *моим* созданием?

— Я не говорю ничего подобного, — с прежней усмешкой ответил Вампир. — Разумеется, было бы глупо отказаться от власти; но вопрос права был тогда ни при чем; решался вопрос силы, и он был решен за вас другими. Однако с этим можно бы еще примириться, если бы вы только воспользовались грубой силой масс, чтобы взять свое. Но вышло вовсе не то. Были ли вы с того момента действительным хозяином дела? Нет и нет! Около вас появилась симпатичная фигура бывшего рабочего, инженера Нэтти. Я не позволю себе говорить о нем непочтительно: он ваш сын. Но я позволю себе говорить о нем правду: для того, кто служит идее, как вы, родство не имеет голоса в серьезных делах, не так ли? Он достойный молодой человек, и у него, как у вас, тяжелая рука, это мне хорошо известно.

Мэнни улыбнулся и утвердительно кивнул. Он почти перестал уже сознавать фантастичность происходящего и внимательно следил за мыслью собеседника,

точно в объяснении с реальным врагом. Тот продолжал:

— Это не мешает ему быть безнадежным утопистом. По крайней мере, вы сами очень недавно были такого мнения. Он утопист вредный, потому что извращает самые принципы строгой науки, заменяя их, как вы справедливо выразились однажды, какой-то «поэзией труда». Чистую, вечную истину он отрицает; он хочет бросить ее под ноги массам. И это тем опаснее, что делается в привлекательной и по-своему логичной форме, которая, конечно, не может иметь влияния на нас с вами, но соблазнит многих и многих. Таков инженер Нэтти. И что же? Он считается вашим первым помощником, а на самом деле, хотя и это было бы очень немало, он представляет нечто гораздо большее. Его фигура заслонила от вас все: вы видите его глазами, думаете его головой; он — истинный руководитель и хозяин.

Вы станете отрицать это. Вы скажете, что не уступили Нэтти в вопросе о союзах, что даже ограничили его права, назначивши второго помощника. Жалкие, недостойные вас отговорки. Самая мысль о назначении другого помощника была подсказана вам тем же Нэтти. Да, он сам не захотел требовать слишком многого сразу; он умеет ждать: «все придет в свое время». А главное, он умеет ценить практический результат выше пустой формы и хорошо рассчитал выгоды великодушного отступления; припомните, какие инструкции об уступках рабочим вы дали потом своему второму помощнику; сам Нэтти, пожалуй, затруднился бы превзойти их. И теперь, когда ваши директора ведут переговоры с рабочими, то о ком они думают, с кем считаются? Как вы полагаете, с вами или с Нэтти? Наконец, что может быть характернее нынешней кампании! Совершается нападение на вас и на ваше дело;

а кто организует защиту? Кто руководит контррататой? Вы едва даете себе труд утверждать предложения Нэтти. Наивный Тэо! Он представил все дело как раз наыворот. Правда, не его ума дело судить о таких людях, как вы и Нэтти. Но и не одному Тэо трудно было бы догадаться, что великий Мэнни, не довольствуясь тюрьмой, находится еще в плену у социалистов.

Мэнни пожал плечами.

— На все это достаточно простого ответа. Верно или неверно то, что вы говорите, для меня безразлично; не входить же мне в разбор ваших насквозь мелких соображений. Дело не пострадало, оно идет хорошо, защита его надежна. Для меня интересно только это.

— Но в таком случае зачем же называть его своим делом? Надо тогда открыто признать то, что есть, и сказать: «Это дело перестало быть моим». И притом, пострадало оно или нет, это вопрос еще нерешенный: надо подождать результатов создавшегося положения. Пока что вы уже обязаны Нэтти конфликтом с демократами. Посмотрим, что будет, когда Нэтти со своими союзами пойдет дальше. Но главное то, что исчезает всякая гарантия для будущего. Эта гарантия была в вас, в вашей силе и верности себе. А вы мало-помалу *перестаете быть самим собою*. Вот где опасность, и вот на что я указывал своими «мелкими соображениями». Еще хуже то, что вы ее не замечаете, *не хотите* замечать ее. Да, вы умышленно закрываете глаза, иначе вас самого поразило бы, насколько вы не тот, что прежде. Когда-то величайшие триумфы, восторженное прославление ваших побед миллионами людей оставляли вас спокойным и холодным, как вечные снега высоких гор. Теперь же самое осторожное, сдержанное одобрение со стороны Нэтти заставляет ваше сердце биться, как у школьника, получившего похвалу от учителей. Хуже

того: когда Совет рабочих союзов, отвечая демократам, недавно заявил, что если буржуазия умеет только преследовать своих великих людей и клеветать на них, то пролетариат сумеет защищать их, как и дело человечества, которому они служат, тогда — припомните... Да, стены тюрьмы могут гордиться, они видели слезы на глазах великого Мэнни!

Инженер Мэнни гневно вскочил с места, но через секунду овладел собою и снова сел с презрительным замечанием:

— Лучше не говорите о том, чего вы никогда не поймете... Вампир.

— Да? — засмеялся тот с циничным благодушием. — Вы правы: есть вещи, которые понять нелегко. Например, когда Мэнни с сочувствием выслушивает революционные планы Нэтти, теоретически отвергая их и признавая вредными утопиями... Или когда он проводит целые часы в созерцании женского портрета, он, который некогда гордым усилием победил и отбросил любовь, как помеху на пути к великим целям... Нет, бесполезно уклоняться от фактов; они ясны: вы изменяете себе, вы опутаны сетями, из которых не решаетесь вырваться.

Вампир на минуту остановился, усмешка исчезла с его лица, он устремил на Мэнни пристальный взгляд своих горящих глаз и, совершенно меняя тон, заговорил серьезно, почти торжественно:

— Вы знаете, что надо сделать. Надо *вновь стать самим собою*. Это необходимо, этого требует ваше достоинство, ваша честь. И это трудно, быть может, труднее всего, что вы сделали в своей жизни. Нужен героизм, чтобы победить сразу все, что толкает вас на измену себе: любовь, дружбу, отцовское чувство, симпатию, благодарность... Никто в мире не смог бы

этого, но вы сможете: вам не первый раз совершать невозможное. Момент настанет скоро: сама жизнь потребует от вас решительного ответа. Идиллия с союзами протянется недолго. Сейчас они не поднимают еще знамени борьбы за официальное их признание, потому что слишком заняты другим: своей новой политической организацией, ее устройством и защитой. Но она сделает их еще сильнее, а для них сила есть право. После освобождения из тюрьмы первая же ваша поездка на места работ поведет к тому, что старый вопрос поднимется вновь. А тогда? Подчинит ли инженер Мэнни свое убеждение внешней силе и личным чувствам? А если нет, то ведь это разрыв с Нэтти и Нэллой, тяжелая борьба, великая жертва... Да, но и великая победа! Я не хочу оскорблять инженера Мэнни сомнением в том, что он выберет...

— Вы так уверены, что я последую *вашему* совету? — иронически подчеркивая личность собеседника, возразил Мэнни.

— Это очень слабый аргумент против правды, — ответил Вампир. — К таким аргументам прибегают, когда больше нечего сказать. Я ждал его от вас, чтобы спросить, где ваша вера в чистую истину, если для того, чтобы скомпрометировать ее в ваших глазах, достаточно несимпатичной оболочки? Я говорю противоположное тому, что когда-то говорил вам Маро. Он предлагал: «Измените себе». Я же напоминаю: «Будьте верны себе!»

— Как Тэо и президент, — насмешливо дополнил Мэнни.

— Нет, не так, как они. Будьте верны себе не как слабые, а как сильные; не как те, которые путаются, стараясь вернуть прошлое, а как те, которые до конца идут по одному пути. Вы подчинились теории Нэтти,

вы обмануты ею. Я — не смерть и не возвращение назад. Я — жизнь, которая хочет жить, оставаясь самой собою. Только такая жизнь истинна. Та, которая меняется, тем самым доказывая, что она — ложь, ибо истина всегда одна. Если ты вчера был одним, а сегодня — уже другой, значит, ты умер между вчерашним и сегодняшним днем, и родился некто новый, жизнь которого будет так же эфемерна. Все умрет: ты, человечество, мир. Все потонет в вечности. Останется только истина, потому что она вечна, и вечна она потому, что неизменна. Докажи, что ты причастен к истине и вечности: будь неизменным, как они!

Мэнни поднялся, глаза его сверкали:

— Ты лжешь, Вампир, и меня ты не обманешь наивными софизмами. Ты, как всегда, призываешь к измене. Я знаю путь, по которому шел. Каждый шаг его был ударом прошлому. И ты мечтаешь сделать меня врагом будущего! Я знаю свой путь. Моя борьба со стихиями... один Нэтти способен продолжать ее достойно меня. Моя борьба с тобой, Фели Рао и вам подобными... Нэтти с его друзьями лучшие, самые верные союзники в ней. Я не знаю, правы ли они в своей вере в социализм, и думаю, что нет; но я убежден, что, если они неправы, они сумеют скорее, чем кто-либо, понять это вовремя. Истина победит; но она победит не *против* того, что полно силы и чистоты и благородства, а *вместе с ним*!

Вампир тоже выпрямился во весь рост; его красные губы искривились выражением злобной уверенности в торжестве.

— А, ты не хочешь слушать дружеского совета, — произнес он с шипением в голосе. — Хорошо же, ты услышишь голос повелителя! — И он протянул к Мэнни руку с судорожно сведенными в виде когтей пальцами,

точно хотел схватить добычу. — Знай же, твоя судьба решена, ты не можешь уйти от меня! Пятнадцать лет ты живешь в моем царстве, пятнадцать лет я пью понемногу твою кровь. Еще осталось несколько капель живой крови, и оттого ты бунтуешь... Но это пройдет, пройдет! Я — необходимость, и потому я — истина. Ты мой, ты мой, ты мой!

Глаза Мэнни потемнели, он гордо откинул голову.

— Ты — ложь, мертвая ложь! — сказал он с холодным презрением. — Во всяком случае, благодарю тебя, что ты сбросил маску и прекратил мои колебания. Твое торжество — заблуждение. Не ты возьмешь последние капли моей живой крови! Тон победителя тебе не к лицу, со мной же меньше всего. Я убил тебя, когда ты стал на моей дороге, — и теперь так же убью!

Он повернулся и пошел к двери, соединявшей рабочий кабинет с его камерой-спальней. На пороге он взглянул назад, закрывая дверь. Вампира не было.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I. Сердце Нэллы

На другой день утром Мэнни экстренно пригласил к себе одного старого товарища, знаменитого химика. Они редко виделись, но их отношения были таковы, что химик никогда и ни в чем не мог бы отказать Мэнни. Они вместе совершили когда-то ряд экспедиций через пустыни, вместе пережили так много опасностей; Мэнни, далеко превосходивший своего друга физической силой и выносливостью, несколько раз спасал его от верной смерти. Когда химик явился, Мэнни заперся с ним наедине, и они беседовали больше часу. Уходя, химик казался очень взволнованным; на его глазах

были слезы. Мэнни провожал его по коридору с ласковой улыбкой и, прощаясь, крепко сжал его руки со словами благодарности. Через два часа из лаборатории старого химика принесли для Мэнни небольшой запечатанный сверток.

Большую часть этого дня Мэнни занимался разборкой и приведением в порядок своих бумаг. Вечером пришел Нэтти. Он был удивлен значительной переменной в манерах отца и как будто даже в его внешности. Нервное состояние последних месяцев, рассеянность, лихорадочный блеск в глазах, резкость движений исчезли без следа. Со спокойным вниманием и величайшей ясностью мысли он обсуждал дела, причем наметил несколько важных технических и административных улучшений. Когда эти вопросы были покончены, он сказал:

— Да, кстати, я хочу попросить вас о большой услуге. Я думаю сейчас взять отпуск на... — он немного остановился и закончил: — на некоторое время. Полагаю, что это законное желание. Не согласитесь ли вы пока заменить меня и завтра же принять все дела? Я все приготовил для этого.

— Конечно, я с удовольствием сделаю это, — отвечал Нэтти. — Мне давно казалось, что отдых вам необходим. Ваше здоровье за последнее время внушало мне опасения.

— Ну, теперь-то все прошло, — с улыбкой возразил Мэнни. — Вы видите, сегодня я совершенно здоров, не правда ли?

Затем он начал с Нэтти разговор о его научно-революционных идеях и планах, многое заставлял подробно себе объяснять, не делая ни возражений, ни иронических замечаний, ни даже обычных прежде оговорок о своем несогласии. Напротив, моментами

он как будто совсем входил в мысли Нэтти, делал замечания и дополнения в духе более полного их развития. Нэтти был совершенно очарован, и в живой беседе оба не заметили, как наступила поздняя ночь. Прощаясь, Мэнни сказал:

— И все-таки только с одной из ваших теорий я согласен безусловно. Зато ее, должно быть, я усвоил хорошо...

— Какая же это? — быстро спросил Нэтти.

— Теория вампиров, — ответил Мэнни.

Молодой инженер возвращался домой в глубокой задумчивости. Там он застал Нэллу, которая не спала, дожидаясь его. Он подробно рассказал ей о всей беседе и о своих впечатлениях. По поводу последнего замечания Мэнни Нэлла заставила сына точно воспроизвести весь тот старый разговор, на который она указывала. Затем она взяла с него обещание прийти к ней на следующий день немедленно после свидания с Мэнни.

Всю эту ночь Нэлла думала...

С утра Нэтти отправился принимать дела. Мэнни заявил ему:

— Официально я слагаю обязанности на месяц; но имейте в виду, что мое отсутствие, может быть, продолжится больше. Я хочу серьезно отдохнуть.

Работа заняла несколько часов. Когда Нэтти уходил, Мэнни на минуту задержал его у себя и сказал:

— Завтра мы с вами, вероятно, не увидимся. По закону преступников, отбывших свой срок, освобождают в час солнечного восхода; а я решил немедленно же отправиться в путешествие. Итак, всего лучшего.

Он обнял и поцеловал Нэтти: это было в первый раз. Затем он прибавил:

— Передайте мой привет Нэлле.

Нэлла с нетерпением ожидала сына. Когда он точно передал ей все, она сильно побледнела. Резюмируя затем свои впечатления, Нэтти сказал:

— В нем все-таки есть что-то странное, чего я не могу определить. Я боюсь, что он не настолько здоров, как это по внешности кажется. Как ты думаешь, не будет ли навязчивостью, если я еще раз зайду к нему вечером, хотя он не приглашал меня?

— Не надо, Нэтти, — ответила она. — Я сама пойду к нему.

— Это, конечно, гораздо лучше. Я очень рад такому решению.

Наступал вечер, когда Нэлла вошла в здание тюрьмы. По записке Нэтти ее пропустили без замедления. Мэнни писал у себя в камере. Когда Нэлла постучалась, он предположил, что это какой-нибудь курьер, и, не поднимая головы, сказал: «Войдите», а сам доканчивал начатую фразу.

Нэлла тихо затворила за собой дверь и остановилась. Неподвижная и бледная, в слабом освещении, она казалась призрачным существом. Он в этот момент писал письмо ей, и она, как живая, представлялась его воображению. Когда под ее пристальным взглядом он обернулся, то первая мысль была: «Это — галлюцинация». Он встал и медленно, осторожно приблизился к ней, боясь, что она исчезнет. Еще с этим страхом он обнял ее, и только тогда, когда она ответила на его поцелуй, понял, что перед ним не призрак. Он не в силах был произнести ни одного слова. Почти машинально он подвел ее к своему креслу и посадил. Взгляд его упал на начатое письмо; быстрым движением он отбросил его в сторону далеко от Нэллы.

— Бесполезно, Мэнни! — сказала она. — Я знаю, что вы хотите сделать.

Он молчал. Ему не пришло в голову ни отрицать, ни удивляться тому, что она угадала его тайну.

— Этого не надо, мой Мэнни! — произнесла она.

Всю силу своей любви и нежной ласки она вложила в эту мольбу.

— Необходимо, Нэлла! — тихо ответил он.

Она знала, что значат решения этого человека. Чувство бессилия, безнадежности стало овладевать ею. Она хотела сказать ему многое, очень многое, а теперь мысли разметались, и она не умела, не могла.

Наступило молчание. Он опустил перед нею на колени и прижал ее руки к своему лицу. Она не отнимала их и не замечала, как ее слезы падали на его волосы.

— Ничто не может изменить этого, Мэнни?

— Ничто в мире, Нэлла.

Тогда у нее нашлись слово упрека:

— А моя любовь имеет для вас какую-нибудь цену?

— Бесконечную, Нэлла! И я хочу быть достоин ее.

Ее сердце подсказало ей лучшее, что было возможно:

— Расскажите мне все! Все, чтобы я поняла...

Он рассказал все. Он говорил спокойно, ясно, с той силой глубокого, непреложного убеждения, которая дается одному из миллионов. И для Нэллы становилось очевидным, что всякая борьба не нужна и бесплодна и что она была бы только лишним мучением для великой души. Когда он кончил, Нэлла сказала:

— Я была бы счастлива уйти с вами, Мэнни. Но вы знаете, мне еще нельзя оставить его, нашего Нэтти.

— Ах, Нэлла, если бы вы знали, сколько счастья вы дали мне даже этими одними словами, вы ни о чем бы не жалели и не грустили. Вы не слышите, как бьется мое сердце? Я удивляюсь, что оно не разорвалось. Да,

у меня есть еще несколько капель живой крови... Они для вас, моя Нэлла!

Она отдалась ему, как в ту далекую минувшую ночь.

II. Образы смерти

Прошло несколько часов. Мэнни заснул в объятиях Нэллы. Она осторожно освободилась из его рук и села возле него на постели, чтобы посмотреть на его лицо. Может быть, он почувствовал сквозь сон ее удаление. Тяжелые грезы овладели им.

Холод внутри; темнота вокруг; сплошной камень под ногами, с боков, над головою. Утомительно идти по узкому, душному коридору. Но идти надо. Как долго!

А! вот слабый, точно фосфорический свет мелькает впереди... Ближе, яснее...

Стены и свод начинают тускло выделяться из мрака. Все теснее путь. Конечно! дальше некуда. Та же глухая стена замыкает коридор. Белая фигура неподвижно прислонилась к ней. Непонятная тревога охватывает душу. Надо, необходимо видеть...

Полотно скользит и падает. Лицо трупа... странно знакомые черты. Неподвижны мутные глаза, но с серых губ слетает беззвучный шепот: «Это — ты!» Мэнни узнает себя. Зеленоватые пятна выступают на мертвом лице, увеличиваются, сливаются. Западают и грязной жидкостью вытекают глаза, клочьями сходит гниющее мясо с костей... Вот его уже нет больше: одна костяная маска с ее стереотипной улыбкой.

Фосфорические огоньки носятся вокруг, вспыхивают ярче, погасают... В колеблющемся свете изменяется пустая улыбка; оживляются пыльно-желтые черты.

Мэнни кажется, что он ясно читает их странную, немую речь.

«Это — ты, и это — все», — говорит насмешливая маска. «И даже это — еще слишком много. Человек думает: тоскливо и скучно разрушаться в черной яме среди блуждающих огоньков. Так нет же! на деле гораздо хуже. Даже не то печально, что скоро исчезнут и эти пузырьки фальшивого света, порожденные разложением остатков твоего собственного тела. Пускай был бы мрак. Но — нет и его!»

«Да, если бы были мрак, скука, тоска... Мрак, который ты когда-то видел; скука, которую чувствовал; тоска, которую проклинал. Ты любил яркое солнце и бесчисленные формы, которые купаются в его лучах; глухая, беспросветная тьма, конечно, не то, — но она все же нечто вроде воспоминания о них. И это здесь отнято у тебя. Смена впечатлений напряженной жизни была твоей радостью; но и самая безнадежная скука заключает в себе смутный их отблеск, неопределенную веру в них. Здесь нет и следа этого. Борьба и победа были для тебя смыслом существования; когда их не хватало, ядовитый голос тоски говорил тебе о них. Теперь и он умолкает навеки... В последних судорогах твоей мысли пойми этот итог, пойми — и прими его!»

«Я — это ты. Даже моя внешность и эта моя речь — еще проблески твоей жизни, той, которая уходит. Значит, это все-таки что-нибудь, и оно бесконечно лучше того, что остается в дальнейшем, той непостижимой вещи, которая называется — *ничто*».

Мучительным усилием Мэнни преодолевает боль, которая сжимает его сердце.

— Я не верю тебе, — говорит он. — Я узнал тебя, бесполезно переодеваться. Ты весь — ложь, и ничего, кроме лжи, исходить от тебя не может.

Но улыбка черепа становится грустной. «Попробуй опровергнуть! — читает в ней Мэнни. — Увы! — это невозможно»...

Гаснут огоньки, пропадают контуры. Тьма сгущается вокруг, холод — в душе...

Но откуда это? Мягкий ветерок, точно чье-то нежное дыхание, коснулся лица. Как странно! в нем какой-то неясный луч надежды, согревающий сердце. Вот и мрак начинает редеть. Смутный, рассеянный свет зарождается в воздухе. Глаза с жадностью впивают его... Где же стены?

Бесконечная, каменная равнина. Темно-свинцовый свод неба над нею. Никаких признаков жизни. Одна серая даль вперед.

Мэнни оборачивается и вздрагивает. Перед ним неподвижная черная фигура, закутанная с головы до ног; не видно даже лица. Сумеречный свет словно собирается вокруг нее, и в этом ореоле строгие линии силуэта выделяются резко, как на гравюре. Мэнни чувствует в них что-то знакомое... близкое... дорогое... Он старается вспомнить и не может. Он осторожно протягивает руки и снова вздрагивает от прикосновения к холодной, очень холодной ткани. С тревожным ожиданием он откидывает ее... Нэлла.

Она — и не она... Что так странно в ней изменилось? Да — ее глаза стали не те. Они такие же огромные; но теперь не зеленовато-синие, как волны южных морей, а черные, совсем черные и бездонно-глубокие. Торжественно и мягко выражение матово-бледного лица; дыхание не колеблет грудь под неподвижными складками одежды. Все в ней проникнуто спокойствием, недоступным человеку.

Она заговорила тихо, так тихо, что Мэнни кажется, будто он слышит мысли, а не звуки:

«Это я, Мэнни, — та, которая всегда была твоей судьбою. Ты знаешь — в моей ласке все кончится для тебя. Ты — человек, и тебе больно. Не надо этой боли».

«Что ты теряешь? Сияние солнца, радость борьбы, любовь Нэллы?.. Ошибаешься, друг мой: не ты их, а они тебя потеряют. Разве может потерять что-нибудь тот, кого нет? А тебя не будет, они же останутся. Еще миллионы лет будет сиять солнце; вечно будет продолжаться борьба жизни; бесконечное число раз повторится в женщинах будущего, становясь все более прекрасной и гармоничной, душа Нэллы».

«Да, тебя не будет. Исчезнет имя, и тело, и цепь воспоминаний. Но посмотри. Если бы тебе предложили вечность, и в ней свет, радость, любовь, лишь с тем, чтобы они существовали для тебя одного и ни для кого больше, чтобы они были яркой и осязаемой, как реальность, но — только твоею мечтой? С каким презрением отверг бы ты это лживое счастье, эту ничтожную вечность! Ты сказал бы: лучше самая короткая и самая тяжелая, но действительная жизнь... И вот теперь вся действительная жизнь остается и идет дальше. Умирает только тот ее отблеск и та частица, которые были тобою».

«В беспредельности живого могучего бытия сохранится то, что ты любил сильнее себя, — твое дело. Оно тебя потеряет, и в этом утрата. Но мысль идет дальше того, что исчезает, и ты сумел понять главное: творчество, которое в тебе нашло одно из своих воплощений, не имеет конца».

Она замолчала, и неподвижна была ее стройная фигура среди неподвижности пустыни, неподвижны спокойные черты матово-бледного лица.

Мэнни сделал шаг и в сильном объятии прижал свои губы к ее холодным губам.

Его взгляд потонул в ее бездонно-темных глазах; радостная боль пронизала его сердце, — и все смешалось...

— Это ты, Нэлла?.. другая или прежняя? — произнес Мэнни, еще не освободившийся от влияния бреда. — Ах да! ты, может быть, не знаешь... Я сейчас видел смерть, Нэлла... их было две. Одна отвратительная и пустая; о ней не стоит даже говорить... Другая — прекрасная, милая; это была ты, Нэлла... Я поцеловал ее, вот так...

III. Завещание

Новые ласки среди ночи... и вновь действительность, расплываясь, уходит от сознания... и новые грезы овладевают душою Мэнни...

Кроваво-красный шар высоко на темном небе. Это не солнце: на него не больно смотреть, и его блеск не в силах заглушить ясные, спокойно мерцающие звезды. Новая луна? Нет, это слишком ярко для нее. Что же это? Такой вид имело бы гаснущее солнце... Да, так оно и есть: солнце, которое умирает. Невозможно! миллионы лет должны были пройти для этого. Впрочем, что же? Для кого время не существует, для того миллионы лет становятся мгновением.

Но тогда — конец всему: человечеству, жизни, борьбе! Всему, что рождено солнцем, что воплотило в себе его лучистую силу. Конец сиянию мысли, усилиям воли, конец радости и любви! Вот оно, то неизбежное неотвратимое, после которого уже ничего, ничего не останется...

Холод в душе и холод снаружи. Мэнни осматривается вокруг. Ровная и гладкая дорога пересекает пустынную

равнину, которая прежде была, может быть, полем или лугом. Вдали видны странные, красивые здания. неподвижен воздух и неподвижна природа. Ни человека, ни зверя, ни растения. Тишина глубокая, бездонная, в которой тонут бессильные лучи догорающего светила.

Неужели все завершилось и царство вечного молчания уже вступило в свои права? Впрочем, не все ли равно? Если где-нибудь и тлеют остатки жизни, в тех зданиях или под землею, то агония — не жизнь...

Здесь последний суд и окончательный приговор, на который нет апелляции. Подводится итог всему, что было целью и что было средством, всему, что имело смысл и значение. Скелет был прав: этот итог ничто. Миллионы лет стремления, познания... Мириады жизней, жалких и прекрасных, ничтожных и могучих... Но какая разница, дольше или короче, лучше или хуже, — когда их уже нет, и нет им наследника, кроме немого, вечного эфира, которому все равно.

Они были, они взяли у жизни свое. — Иллюзия! «Они были»; теперь это только и значит одно — что их нет. А то, что они брали у жизни, исчезло, как и они сами.

Но ведь жизнь не прекращается во вселенной: угасая в одних мирах, она расцветает в других и зарождается еще в иных. Обман, прикрывающий суровую истину утешительными словами! Что за дело этой жизни до той, которая ничего о ней не знает и ничего у нее не возьмет? И если каждая из них одинаково исчерпывается в бесплодном цикле, что прибавляют они порознь или вместе в той же неизбежной сумме? Бессвязные грезы вселенной, рассеянные в пространстве и времени, — к чему они? Зачем сплетало солнце фальшивую ткань жизни из своих призрачных лучей? Какое издевательство!

Что это? Яркое осветилось одно из зданий, исполинское, стройное, похожее на храмы феодальных времен.

Надо посмотреть. Путь недалекий и легкий по ровной дороге. Вот открывается дверь.

Огромная высокая зала, залитая светом; тысячи людей. Но люди ли это? Как свободны их позы, как спокойны и ясны их лица, какой силой дышат их тела. И это — обреченные?..

Что собрало их сюда? Какая мысль, какое чувство объединили их в этом общем молчании?.. Входит новое лицо и поднимается на возвышение в глубине зала. Очевидно, он тот, кого ждали: взоры всех направляются на него. Это — Нэтти? Да, Нэтти, но иной, подобный божеству, в ореоле сверхчеловеческой красоты. Среди торжественно-глубокой тишины он говорит:

«Братья, от имени тех, кто взял на себя разрешение последней задачи, я возвещаю, что мы выполнили свое дело.

Вы знаете, что судьба нашего мира вполне выяснилась уже много тысяч лет тому назад. Ослабевшее солнце давно не в силах питать своими лучами развитие нашей жизни, наш великий общий труд. Мы поддерживали солнечное пламя, пока было возможно. Мы взорвали и обрушили на солнце поочередно все наши планеты, кроме одной, на которой теперь находимся. Энергия этих столкновений дала нам лишнюю сотню тысяч лет. Большую часть их мы потратили на исследование способов переселения в другие солнечные миры. Тут нас постигла полная неудача.

Мы не могли победить окончательно пространства и времени. Гигантские межзвездные расстояния требуют от нас десятков тысячелетий пути среди враждебного эфира. Ни одно живое существо сохранить при этом нельзя. Задачу пришлось поставить иначе.

Мы имеем несомненные доказательства того, что и в других звездных системах живут разумные суще-

ства. На этом мы построили наш новый план. То, что мы хотим сохранить при неминуемой гибели нашего мира, вовсе не есть наша собственная жизнь, не жизнь нашего человечества. Смерть последнего поколения сама по себе значила бы не больше, чем смерть предыдущих, — лишь бы после нас осталось и продолжилось наше дело. То, что в тысячах веков достигли наши объединенные усилия, наши способы властвовать над стихиями, наше понимание природы, созданная нами красота жизни, — вот что дорого для нас; и *это* мы должны сохранить для вселенной во что бы то ни стало, *это* передать другим разумным существам, как наше наследство. Тогда наша жизнь воплотится снова в их работе и наше творчество преобразует иные миры.

Как выполнить эту передачу? Вопрос был труден, но уже разрешим для нас. Холод и пустота эфирных пространств, убийственные для жизни, бессильны против мертвой материи. Ей можно доверить образы и символы, выражающие смысл и содержание нашей истории, нашего труда, всей борьбы и побед нашего мира. Брошенная с достаточной силою, она пассивно и послушно перенесет на неизмеримые расстояния нашу дорогую идею, нашу последнюю волю.

Что могло быть естественнее этой мысли? Разве сам эфир не создал нашей первой связи с теми мирами, принося к нам лучи их солнц, как смутную весть о далекой жизни?

Я возвещаю вам успех наших усилий. Из самого прочного вещества, какое могла дать нам природа, мы приготовили миллионы гигантских снарядов: каждый есть верная копия нашего завещания. Они составлены из тонких свернутых пластинок, покрытых художественными изображениями и простыми знаками, которые без труда будут разгаданы всяким разумным существом.

Снаряды эти уложены на точно определенных местах нашей планеты, и для каждого вычислены направление и скорость, которые он получит от начального толчка. Вычисления строги и проверены сотни раз: цель будет неизбежно достигнута. А начальный толчок, братья, произойдет через несколько минут. Внутри нашей планеты мы собрали огромную массу той неустойчивой материи, атомы которой, взрываясь, разрушаются в одно мгновение и порождают самую могучую из всех стихийных сил. Через несколько минут наша планета перестанет существовать и ее осколки разлетятся в бесконечное пространство, унося наши мертвые тела и наше живое дело.

Встретим же радостно, братья, это мгновенье, в котором величие смерти сольется с величайшим актом творчества, это мгновенье, которое завершит нашу жизнь, чтобы передать ее душу нашим неведомым братьям!»

И как эхо пронеслись по зале, воплощая одну мысль и одно чувство людей, слова:

«Неведомым братьям!»

А когда вслед за тем видение поглотил налетевший ураган света и огня, то последнее, что в нем потонуло, была у Мэнни та же мысль:

«Неведомым братьям!»

IV. К восходу солнца

Когда Мэнни очнулся, оставалось меньше часа до солнечного восхода.

— Ты ни минуты не спала, Нэлла? Теперь мне надо одеться и написать еще несколько слов президенту и правительству...

Заря загоралась в небе, и лучи ее проникали через решетку окна. Мэнни, одетый, снова лежал на постели, и Нэлла сидела возле него. Она внимательно, жадно смотрела на него: ей так мало пришлось его видеть.

— Спой мне песню, моя Нэлла.

— Это будет песня только для тебя и о тебе, Мэнни.

Стены тюрьмы слышали на своем веку много песен тоски, надежды; но едва ли когда-нибудь там раздавался такой чистый, прекрасный голос, полный такого чувства...

В расцвете молодости страстной
Любовь ты отдал за борьбу,
Чтоб волей непреклонно властной
Идее покорить судьбу.

Творец и вождь, великий в жизни,
В ее трудах, ее боях,
Ты новый мир открыл отчизне
На неизведанных путях.

Побед и славы в искупленье
Свободу отдал ты свою.
Ты долгих лет узнал томленье,
Тоски холодную змею.

Ты ждал, спокойный и суровый.
Твой враг пред скованным дрожал.
И ты дождался: жизни новой
Могучий голос прозвучал.

Ты в ней любовь и ласку встретил,
Союзом с нею победил,
И сердцем гордым ей ответил —
Ее безмерно полюбил.

Но мыслью строгою своею,
Но волей, твердой как алмаз,

Не в силах был ты слиться с нею;
И — наступил решенья час.

Навек уходишь ты из строя,
Чтоб ей открыть свободный путь.
Булат, что закален для боя,
Разбить лишь можно, не согнуть.

О прежних жертвах не жалея,
Ты большую приносишь вновь.
Сильна, как жизнь, твоя идея,
Сильней, чем смерть — твоя любовь!

Последние слова оборвались в рыдании, слезы градом хлынули из глаз Нэллы, и она не могла видеть одного быстрого движения Мэнни...

К восходу солнца он заснул, тихо, радостно, среди поцелуев любимой женщины, со словами:

— Нэлла... Нэтти... победа!..

ЭПИЛОГ

Смерть Мэнни развязала много узлов. Она нанесла жестокий удар его врагам, опровергнув их крики о его монархических планах и сразу поставив этих людей в положение обличенных фактами клеветников. В то же время отпал и вопрос о «диктатуре работ», так как Нэтти вовсе не желал ее для себя. Из старых сотрудников Мэнни была образована центральная коллегия работ; Нэтти, ее председатель, сохранил за собой всецело руководство техникой. Его влияние было очень велико; благодаря ему в течение почти десяти лет отношения центральной коллегии с рабочими союзами оставались мирными. Но сам Нэтти прекрасно понимал, что такое положение лишь временное, и употребил эти годы на подробную даль-

нейшую разработку плана Великих Работ, чтобы они могли успешно продолжаться и тогда, когда ему самому придется уйти. Мало-помалу состав правления менялся: одни умирали, другие уходили на отдых, третьи изменяли свою позицию. Наконец Нэтти остался в меньшинстве. Наступил промышленный кризис, и по внушению правительственной партии правление решило им воспользоваться, чтобы ухудшить условия труда. Нэтти тотчас же вышел в отставку и принял энергичное участие в организации борьбы против этого покушения. Гигантская забастовка, приостановившая Великие Работы, энергичная атака рабочей партии против правительства и несколько восстаний в разных местах вызвали жестокое обострение кризиса; правящие круги ввиду такой массы трудностей решили пока уступить. Но с этого момента исчезли последние неясности в классовых тенденциях, и разрыв пролетариата со всем старым общественным строем был закреплен.

Около того же времени умерла Нэлла. Она словно нарочно для этого дождалась, пока около Нэтти появилась другая женщина, прекрасная и молодая, с ясными, лучистыми глазами. Рабочие любили Нэллу и называли ее просто «матерью»; сотни тысяч провожали ее гроб и засыпали ее могилу цветами. Вечером в день похорон умер и Арри.

Покончив с инженерством, Нэтти всю свою научную работу направил на выполнение старого плана: преобразовать науку так, чтобы сделать ее доступной рабочему классу. Вокруг Нэтти создалась целая культурно-революционная школа: ряд его учеников, частью выдвинувшихся из рабочей среды, частью пришедших из другого лагеря молодых ученых, работали вместе с ним над созданием знаменитой «Рабочей энцикло-

педии», которая послужила затем опорой и знаменем идейного единства пролетариата.

На этом пути Нэтти пришел к своему величайшему открытию, — положил начало всеобщей организационной науке.

Он искал упрощения и объединения научных методов, а для этого изучал и сопоставлял самые различные приемы, применяемые человечеством в его познании и в труде; оказалось, что те и другие находятся в самом тесном родстве, что методы теоретические возникли всецело из практических, и что все их можно свести к немногим простым схемам. Когда же Нэтти сравнил эти схемы с различными жизненными сочетаниями в природе, с теми способами, посредством которых она стихийно образует устойчивые и развивающиеся системы, то его опять поразили ряд сходств и совпадений. В конце концов у него получился такой вывод: как ни различны элементы вселенной, — электроны, атомы, вещи, люди, идеи, планеты, звезды, — и как ни различны по внешности их комбинации, но возможно установить небольшое число общих методов, по которым эти какие угодно элементы соединяются между собою как в стихийном процессе природы, так и в человеческой деятельности. Нэтти удалось отчетливо определить три основные из этих «универсальных организационных методов»; его ученики пошли дальше, развили и точнее исследовали полученные выводы. Так возникла всеобщая наука, быстро охватившая весь организационный опыт человечества. Прежняя философия была не чем иным, как смутным предчувствием этой науки; а законы природы, общественной жизни и мышления, найденные разными специальными науками, оказались частичными выражениями ее принципов в отдельных областях.

С того времени решение самых сложных организационных задач стало делом не индивидуального таланта или гения, а научного анализа, вроде математического вычисления в задачах практической механики. Благодаря этому, когда настала эпоха коренного реформирования всего общественного строя, величайшие трудности новой организации сравнительно легко и вполне планомерно удалось преодолеть: как еще раньше естествознание стало орудием научной техники, так теперь универсальная наука явилась орудием научного построения социальной жизни в ее целом. А еще раньше та же наука нашла широкое применение в развитии организаций рабочего класса и их подготовке к последней, решающей борьбе.

Сам Нэтти, хотя и дожил до старости, мог видеть только первые битвы этой борьбы, которая продолжалась полвека. Его дети не были выдающимися людьми, но и не унизили памяти великих предков: они так же честно и мужественно сражались за дело человечества.

МАРСИАНИН, ЗАБРОШЕННЫЙ НА ЗЕМЛЮ

Поэма

Разбился Корабль о земные громады,
Все спутники в вечность ушли;
Мне нет возвращенья из этого ада,
С жестокой планеты — Земли.

А Марса родного багряная сфера
Сияет в бездонной дали...
Мне сердце сдавила Земли атмосфера,
Гнетет тяготенье Земли.

И выбор тяжелый: уйти ли из жизни,
Где все оскорбляет мой взгляд,
С мечтою о дальней прекрасной отчизне,
Где братство и разум царят?

Иль жертву тоски и мучительной боли
Для жизни чужой принести,
Той жалкой, что ощупью к счастью и воле
Стремясь, не находит пути?

Да... Люди... Их формы так странно похожи
На расу планеты родной...
Но сердце... Но все существо их — не то же,
И нет в них созвучья со мной.

Невнятно им высшей гармонии слово.
Зародыши смутных идей
Роятся в душе их. Наследье былого
Царит полновластно над ней.

Сквозь детский их лепет, средь хищных желаний
Лишь искры мелькают порой
Иных устремлений, порывов, мечтаний,
Предчувствий культуры иной...

И тотчас опять выступает стеною
Невидимой, прочной, как сталь,
Различье природы меж ними и мною.
И вновь безысходна печаль, —

Тоска по живой красоте единенья,
Гармонии братства святой...
И мир облекает холодную тенью
Трагизм безысходности той.

Но голос безмолвный науки бесстрастной
Мне слышен с планеты родной:
«То младшие дети Природы всевластной,
С тобой они крови одной.

Вы — старше; но шли вы такой же дорогой.
Сознания заря и у вас
Такою же грубой была и убогой,
И тоже темнела не раз, —

Насильем глушилась, в крови утопала,
Корыстью сквернилась она...
Сурова стезя к высоте идеала,
И боли, и грязи полна».

Усталое сердце внимает покорно.
Да, вот приговор для меня:
На поле тернистом работать упорно
Во имя далекого дня,

Когда человечество, кончив блужданья,
Задачи решение поймет,
И к высшей гармонии — жизнью слиянью
Дорогой прямою пойдет.

Тогда, победивши пространство и время,
Стихии и смерть поборов,
Две расы сольются в единое племя
Строителей новых миров.

Да, этой задаче отдать свои силы,
Сказавши отчаянью — «нет!» —
Спокойно и твердо пройти до могилы,
Оставив потомкам завет.

Чтоб в эру победную слово привета
Прощальное к милым снесли
От брата забытого с юной планеты,
С прекрасной планеты — Земли.

Октябрь 1920

ПРАЗДНИК БЕССМЕРТИЯ

Рассказ

I

Тысяча лет прошло с того дня, как гениальный химик Фриде изобрел физиологический иммунитет, впрыскивание которого обновляло ткани организма и поддерживало в людях вечную цветущую молодость. Мечты средневековых алхимиков, философов, поэтов и королей осуществились...

Городов — как в прежнее время — уже не существовало. Благодаря легкости и общедоступности воздушного сообщения люди не стеснялись расстоянием и расселились по Земле в роскошных виллах, утопающих в зелени и цветах.

Спектротелефон каждой виллы соединял квартиры с театрами, газетными бюро и общественными учреждениями... Каждый у себя дома мог свободно наслаждаться пением артистов, видеть на зеркальном экране сцену, выслушивать речи ораторов, беседовать со знакомыми...

На месте же городов сохранились коммунистические центры, где в громадных многоэтажных зданиях были сосредоточены магазины, школы, музеи и другие общественные учреждения.

Земля превратилась в сплошной фруктовый лес... Специальные лесоводы занимались искусственным разведением дичи в особых парках...

Не было недостатка и в воде... Ее получали при посредстве электричества из соединений кислорода с водородом... Освежающие фонтаны били каскадом в тенистых парках. Серебрящиеся на солнце пруды со всевозможными породами рыб и симметричные каналы украшали Землю.

На полюсах искусственные солнца из радия растопили льды, — а по ночам над землей поднимались электрические луны и разливали мягкий ласкающий свет.

Одна только опасность грозила Земле — перенаселение, так как люди не умирали. И народное законодательное собрание одобрило предложенный правительством закон, по которому каждой женщине в продолжение своей бесконечной жизни на Земле разрешалось оставлять при себе не более тридцати человек детей. Родившиеся же сверх этого числа должны были по достижении пятисотлетней зрелости переселяться на другие планеты в геометрически закупоренных кораблях. Продолжительность человеческой жизни позволяла совершать очень далекие путешествия. И, помимо Земли, люди проникли на все ближайшие планеты Солнечной системы.

II

Встав утром с роскошной постели из тончайших платиновых проволок и алюминия, Фриде принял холодный душ, проделал обычные гимнастические упражнения, облачился в легкую термоткань, которая давала прохладу летом и согревала зимой, и позавтракал питательными химическими пластинами и экстрактом из переработанной древесины, напоминающим по вкусу бессарабское вино. Все это отняло около

часа. Чтобы не терять даром времени, он — совершая туалет — соединил микрофоном уборную комнату с газетным бюро и выслушал новости мира.

Радостное ощущение силы и здоровья переполнило все его тело, крепкое и стройное, — как будто состоящее только из костей и мышц...

Фриде вспомнил, что сегодня в двенадцать часов ночи исполняется ровно тысячелетие человеческого бессмертия... Тысяча лет!.. И невольно мысль его стала подводить итоги пережитого...

В соседней комнате — библиотека собственных сочинений Фриде, около четырех тысяч томов книг, написанных им. Здесь же и его дневник, прерванный на восьмьсот пятидесятом году жизни, шестьдесят огромных фолиантов, написанных упрощенным силлабическим способом, напоминающим древнюю стенографию. Далее — за кабинетом — художественное ателье, рядом — скульптурная мастерская, еще далее — зал в стиле вариэноктюрн, сменившем декадентский, — здесь Фриде писал стихи, — и, наконец, симфонический зал с клавишными и струнными инструментами, на которых играл путем всевозможных механических приспособлений, достигая тем необычной полноты и мощи звука. Вверху, над домом, была устроена физико-химическая лаборатория.

Гениальность Фриде была разносторонняя и напоминала гениальность одного из его предков по матери — Бэкона, оказавшегося не только великим ученым, но и драматургом, произведения которого долгое время приписывались Шекспиру. В течение тысячелетия Фриде показал успехи почти во всех отраслях науки и искусства.

От химии — где, как ему показалось — он исчерпал все силы и возможности своего ума, Фриде перешел

к занятиям скульптурой. В течение восьмидесяти лет он был не менее великим скульптором, давшим миру много прекрасных вещей. От скульптуры он обратился к литературе: за сто лет написал двести драм и до пятнадцати тысяч поэм и сонетов. Потом почувствовал влечение к живописи. Художником он оказался заурядным. Впрочем, техникой искусства он овладел в совершенстве, и — когда справлял пятидесятилетний юбилей — критики в один голос пророчили ему блестящую будущность. В качестве человека, подающего надежды, он проработал еще около пятидесяти лет и занялся музыкой: сочинил несколько опер, имевших некоторый успех. Так, в разное время Фриде переходил к астрономии, механике истории и, наконец, философии. После того он уже не знал, что делать... Все, чем жила современная культура, его блестящий ум питал, как губка, — и он опять вернулся к химии.

Занимаясь лабораторными опытами, он разрешил последнюю и единственную проблему, над которой долго билось человечество еще со времен Гельмгольца, — вопрос о самопроизвольном зарождении организмов и одухотворении мертвой материи. Более никаких проблем не осталось.

Работал Фриде по утрам. И из спальни отправился прямо наверх — в лабораторию.

Подогревая на электрическом нагревателе колбы и наскоро пробега в уме давно известные формулы, которые не было надобности даже записывать, — он переживал странное чувство, все чаще посещавшее его за последнее время.

Опыты не интересовали и не увлекали его. Давно во время занятий он уже не испытывал того радостного энтузиазма, который когда-то согревал душу, вдохновлял и переполнял всего его высшим счастьем.

Мысли неохотно двигались по избитым, хорошо знакомым путям, сотни комбинаций приходили и уходили в повторяющихся и наскучивших сочетаниях. С томительным тягостным ощущением пустоты в душе он стоял и думал:

«Физически человек стал — как Бог... Он может господствовать над мирами и пространством. Но неужели человеческая мысль, о которой люди христианской эры говорили, что она беспредельна, — имеет свои границы? Неужели мозг, включающий только определенное количество нейронов, в состоянии произвести также только определенное количество идей, образов и чувств, — не более?..

Если это так, то...»

И ужас перед будущим охватывал Фриде.

С чувством глубокого облегчения, чего никогда не бывало прежде во время занятий, он вздохнул, услышав знакомую мелодию автоматических часов, возвещающую о конце работы...

III

В два часа Фриде был в общественной столовой, которую посещал ежедневно только потому, что здесь встречался с членами своего многочисленного потомства, большинство которых он даже и не знал.

Он имел около пятидесяти человек детей, две тысячи внуков и несколько десятков тысяч правнуков и праправнуков. Потомством его, рассеянным в разных странах и даже в разных мирах, можно было бы заселить значительный город в древности.

Фриде не питал к внукам и детям никаких родственных чувств, какие были присущи людям прошлого. Потомство было слишком многочисленно для того,

чтобы сердце Фриде вместило в себя любовь к каждому из членов его семьи. И он любил всех той отвлеченной благородной любовью, которая напоминала любовь к человечеству вообще.

В столовой ему были оказаны знаки публичного почтения и представлен совсем еще молодой человек, — лет двухсот пятидесяти, — его правнук Марго, сделавший большие успехи в астрономии.

Марго только что возвратился из двадцатипятилетней отлучки, он был в экспедиции на планете Марс и теперь с увлечением рассказывал о путешествии. Жители Марса — мегалантропы — быстро восприняли все культурные завоевания Земли. Они хотели бы посетить своих учителей на Земле — но их громадный рост препятствует им осуществить это желание, и теперь они заняты вопросом о построении больших воздушных кораблей.

Фриде рассеянно слушал рассказ о флоре и фауне Марса, о его каналах, о циклопических постройках марсиан... И все, о чем с таким пылом говорил Марго, нисколько не трогало его. Триста лет тому назад он один из первых совершил полет на Марс и прожил там около семи лет... Потом он совершил еще раза два-три короткие прогулки туда же. Каждый уголок поверхности Марса знаком ему не хуже, чем на Земле.

Чтобы не оскорблять все же правнука невниманием, он спросил:

— Скажите, юный коллега, не встречали ли вы на Марсе моего старого приятеля Левионаха, и как он поживает?

— Как же, встречал, наш уважаемый патриарх, — с живостью ответил Марго. — Левионах занят теперь сооружением грандиозной башни, величиною с Эльбрус.

— Так я и знал, так и знал, — загадочно улыбаясь, проговорил Фриде. — Я предсказывал, что в известном возрасте всех марсиан охватит страсть к большим сооружениям. Однако, юный коллега, до свидания... Мне надо спешить по одному важному делу. Желаю вам успеха.

IV

Маргарита Анч, цветущая женщина лет семисот пятидесяти, последняя жена Фриде, связью с которой он начинал уже тяготиться, была президентшей кружка любителей философии. Еще за несколько верст до ее виллы Фриде фонограммой дал знать о своем приближении.

Фриде и Анч жили отдельно, чтобы не стеснять самостоятельности друг друга.

Анч встретила мужа в алькове тайн и чудес — изумительном павильоне, где все было залито мягким ультрахромолитовым цветом, восьмым в спектре, которого не знали древние люди с их неразвитым чувством зрения — подобно тому, как еще раньше дикари не знали зеленого цвета.

Красивый шелковый туникон — до колен, чтобы не стеснять движений, — свободно и легко облегал ее стройные формы. Распущенные черные волосы волнистыми прядями упали на спину. И ароматом тонких и нежных духов веяло от нее.

— Очень рада видеть тебя, милый Фриде, — сказала она, целуя мужа в большой и выпуклый, точно изваянный из мрамора лоб. — Ты мне нужен для одного важного дела...

— Я это предчувствовал, когда ты в последний раз говорила со мной по телефоноскопу, — ответил Фри-

де... — Признаюсь, меня несколько удивил тогда твой таинственный вид... Ну, в чем же дело?.. Почему такая экстренность?..

— Я хотела так, мой милый, — с кокетливой улыбкой сказала Анч... — Может быть, это и каприз, но... иногда приходят желания, от которых трудно отказаться... Кстати, где мы встречаем сегодня ночью Праздник бессмертия?.. И сегодня же, если ты помнишь, исполняется ровно восемьдесят три года со времени заключения между нами брачного союза...

«Однако...» — подумал про себя Фриде и с неохотой ответил:

— Не знаю!.. Я еще не думал об этом.

— Но, конечно, мы встречаем его вместе? — с легкой тревогой спросила Анч...

— Ну, разумеется, — ответил Фриде... И от того, что неприятное чувство разливалось внутри его, он поспешил заговорить о другом:

— В чем же твое важное дело?

— Сейчас сообщу, мой милый... Я хотела приготовить к новому тысячелетию сюрприз. Идея, с которой ты познакомишься, вот уже несколько десятков лет занимает меня и, наконец, только теперь вылилась в окончательную форму.

— Гм-м... Что-нибудь из области иррационального прагматизма?.. — пошутил Фриде.

— О, нет!.. — с грациозной улыбкой ответила Анч.

— В таком случае, что-нибудь из области политики? — продолжал Фриде. — Вы, женщины, в этом отношении всегда хотите идти впереди мужчин...

Анч засмеялась.

— Ты великолепный угадчик, милый. Да, я приступаю к организации общества для совершения гражданского переворота на Земле, и мне нужна твоя

помощь... Ты должен быть союзником в распространении моих идей... Тебе — при твоём влиянии и связях в обществе — это очень легко сделать...

— Все будет зависеть от характера твоих замыслов, — подумав, возразил Фриде. — Наперед я ничего не могу тебе обещать...

Анч слегка нахмурила тонко очерченные брови и продолжала:

— Идея моя заключается в том, чтобы уничтожить последние законодательные цепи, которыми люди еще связывают себя на Земле... Пусть каждый человек в отдельности осуществляет то, что в древности называлось государством, — является автономным... Никто не смеет накладывать на него каких-либо уз... Центральной же власти должна принадлежать только организация хозяйства...

— Но ведь по существу так в действительности и есть? — возразил Фриде. — Скажи, чем и когда стесняется воля граждан?

Анч вспыхнула и горячо заговорила:

— А закон об ограничении деторождения женщин тридцатью членами семьи?.. Разве это не ограничение?.. Разве это не дикое насилие над личностью женщин?.. Правда, вы, мужчины, не чувствуете на себе гнета этого закона.

— Но ведь этот закон вытекает из экономической необходимости?..

— Тогда надо предоставить решение его не slučajностям природы, а мудрому вмешательству сознания... Почему я должна отказаться от тридцать пятого сына, сорокового и так далее — и оставить на Земле тридцатого? Ведь мой сороковой сын может оказаться гением, тогда как тридцатый — жалкой посредственностью!.. Пусть на Земле остаются только сильные и

выдающиеся, а слабые уходят с нее... Земля должна быть собранием гениев...

Фриде холодно заметил:

— Все это неосуществимые фантазии, которые к тому же не новы — были высказаны полтора-два столетия тому назад биологом Мадленом... Нельзя ломать порядки, которые являются наиболее мудрыми... Между прочим, должен сказать тебе, что женщины древней эпохи так не рассуждали. У них было то, что называется материнским состраданием: слабых и уродливых детей они любили более, чем сильных и красивых... Нет, я отказываюсь быть твоим союзником... Мало того, в качестве члена правительства, представителя «Совета ста», я накладываю свое veto на твои действия...

— Но ты как гений — не должен бояться переворотов!..

— Да... Но как гений я предвижу весь тот ужас, который произойдет на Земле, когда вопрос о расселении будет решаться свободной волей граждан... Начнется такая борьба за обладание Землей, от которой погибнет человечество... Правда, человечество неминуемо погибнет и по другим причинам, замкнется в безвыходном круге однообразия, — закончил Фриде, как бы рассуждая сам с собою, — но зачем искусственно приближать роковой момент?..

Анч молчала. Она никак не ожидала отказа.

Потом, холодно повернувшись строгим классическим профилем к Фриде, сказала с обидой:

— Делай, как знаешь!.. Вообще я замечаю, что в последнее время как будто чего-то недостает в наших отношениях... Не знаю, может быть, ты тяготишься ими...

— Может быть, — сухо ответил Фриде... — Надо наперед свыкнуться с мыслью, что любовь на Земле

не вечна... В течение моей жизни — ты восемнадцатая женщина, с которой я заключил брачный союз, и девяносто вторая, которую я любил...

— Ну, конечно!.. — сказала Анч, гневно закусив губки, и розовые пятна выступили на нежно-золотистой коже ее лица... — Но вы, мужья, почему-то требуете, чтоб женщина оставалась верна вам до конца, и почему-то только себе присваиваете право изменять ей первыми...

Фриде пожал плечами:

— Право сильнейшего, на котором ты только что строила свою теорию...

Анч от возмущения вся задрожала, но искусно овладела собой и с гордым спокойствием заметила:

— Итак, мы расстаемся... Ну, что же?.. Желаю вам успеха в вашей будущей жизни...

— От души желаю и вам того же! — стараясь не замечать яда ее слов, ответил Фриде.

Единственное чувство, которое он испытывал, было чувство тягостного томления... Тридцать один раз при объяснениях с женщинами пришлось ему слышать эти слова, с одним и тем же выражением в лице, голосе и глазах...

«Как все это старо!.. И как надоело!..» — думал он, усаживаясь в изящный, похожий на игрушку аэроплан...

V

Вечер Фриде провел на воздушном поплавке, на высоте пяти тысяч метров, в многочисленной компании молодежи, собравшейся по случаю приезда Марго. Сидели за большим круглым вращающимся столом, верхняя крышка которого подкатывалась на воздуш-

ных рельсах, принося и унося цветы, фрукты и веселящий возбуждающий напиток, необычайно ароматный и приятный на вкус.

Внизу феерическими ослепительными огнями блесла Земля... По сети гладко накатанных дорог катились автомобили спортсменов, позволявших себе иногда в виде редкого удовольствия этот старый способ передвижения. Электрические луны, разливая фосфорическое сияние, роняли мягкий голубой свет на сады, виллы, каналы и озера, — и издали в игре полусветов и полутеней Земля казалась затканною прозрачной серебряной сеткой...

Молодежь с восхищением любовалась красотой открывающейся перед ними картины, особенно не видевший Земли двадцать пять лет Марго...

Он повернул механический рычаг. И кресло, на котором он сидел, поднялось на стержне над столом так, что всем собравшимся стало видно говорящего.

— Друзья!.. Предлагаю тост и гимн в честь Вселенной!

— Великолепно!.. — радостно подхватили собравшиеся... — Тост и гимн!

Во время пиршества часто пели национальные гимны, составленные композиторами, патриархами семей. Поэтому вслед за первым предложением Марго сделал второе:

— Друзья!.. Так как нашему столу оказана честь присутствием здесь нашего уважаемого патриарха Фриде, то предлагаю спеть его гимн «Бессмертный».

И взгляды всех устремились на Фриде. Он сидел, погруженный в свои мысли, и — когда было произнесено его имя — склонил в знак согласия голову.

Под аккомпанемент величественного симфониона стройные мужские и женские голоса запели гимн,

написанный в звучных и смелых мажорных тонах. Гимн состоял из восьмистиший, заканчивающихся каждое словами:

Благословенна единая душа вселенной, разлитая
и в песчинках, и в звездах,
Благословенно всеведение, потому что оно является
источником вечной жизни.
Благословенно бессмертие, уподобившее людей богам!..

Торжественным хоралом плыли звуки, казавшиеся молитвенным вздохом самого неба, приблизившего к Земле свои загадочные и глубокие дали...

Только Фриде сидел по-прежнему безучастный ко всему, что делается кругом... Когда гимн был окончен, взгляды всех опять устремились на него. И один из более близких к Фриде внуков, химик Линч, взял на себя смелость спросить:

— Уважаемый патриарх!.. Что с вами?.. Вы не принимаете участия в пении вашего любимого гимна!

Фриде поднял голову... Сперва у него мелькнула мысль, что не следует омрачать веселья молодежи никакими сомнениями, но сейчас же на смену ей пришла другая: рано или поздно все неизбежно будут переживать то же самое, что и он.

И Фриде сказал:

— Этот гимн — величайшее заблуждение моего ума... Всеведение и бессмертие заслуживают не благословения, а проклятия... Да, будь они прокляты!

Все удивленно повернулись к патриарху. Он сделал паузу, обвел присутствующих полным глубокой мукой взором и продолжал:

— Вечная жизнь есть невыносимая пытка... Все повторяется в мире, таков жестокий закон природы... Целые миры создаются из хаотической материи, заго-

раются, потухают, сталкиваются с другими, обращаются в рассеянное состояние и снова создаются. И так без конца... Повторяются мысли, чувства, желания, поступки и даже самая мысль о том, что все повторяется, приходит в голову, может быть, в тысячный раз... Это ужасно!..

Фриде крепко сжал руками голову. Ему показалось, что он сходит с ума...

Крутом все были ошеломлены его словами.

Через мгновение Фриде заговорил снова, громко и строго, — точно вызывая кого на бой:

— Какая великая трагедия человеческого бытия — получить силу Бога и превратиться в автомат, который с точностью часового механизма повторяет самого себя!.. Знать наперед — что делает марсианин Левионах или что скажет любимая женщина!.. Вечно живое тело и вечно мертвый дух, холодный и равнодушный, как потухшее солнце!..

Никто из слушателей не знал, что ответить... Только химик Линч, через некоторое время опомнившись от первого впечатления, произведенного на него речью, обратился к Фриде со словами:

— Уважаемый учитель!.. Мне кажется, есть выход из этого положения. Что если возродить частицы мозга, пересоздать самого себя, перевоплотиться!..

— Это не выход, — горько усмехнулся Фриде... — Если такое перевоплощение и возможно, то оно будет значить, что мое настоящее, сейчас существующее «я» со всеми *моими* мыслями, *моими* чувствами и желаниями исчезнет бесследно... Будет мыслить и чувствовать кто-то иной, незнакомый мне и чуждый. В древности люди слагали басни, что душа человека после его смерти входит в другое существо, забывая о своей прошлой жизни. Чем же будет отличаться

мое обновленное и возрожденное состояние от прежних умираний и перевоплощений во времени, в которые верили дикари? Ничем... И стоило ли человечеству тратить гений на то, чтобы, достигши бессмертия, вернуться в конце концов к старой проблеме смерти?..

Фриде неожиданно оборвал речь, откатился в кресле на перрон площадки и, посылая прощальное приветствие, сказал:

— Простите, друзья, что я вас покидаю... К прискорбию своему вижу, что своею речью нарушил веселье вашего стола...

И уже приготавливаясь к тому, чтобы лететь на Землю, он с аэроплана крикнул:

— Так или иначе, только смерть может положить конец страданиям духа!..

Этот загадочный возглас поразил всех и родил в душах смутные предчувствия какой-то надвигающейся беды... Марго, Линч, а за ними и прочие откатали свои кресла на перрон и долго встревоженными глазами следили, как в ночном просторе качался и плыл, сияя прозрачными голубыми огнями, аэроплан Фриде...

VI

Фриде решил покончить с собой самоубийством, но предстояло затруднение в выборе способа смерти. Современная ему медицина знала средства оживлять трупы и восстанавливать отдельные части человеческого тела. И все древние способы самоубийства — цианкаль, морфий, углерод, синильная кислота — были непригодны...

Можно было разбить себя на миллионы частиц взрывчатым веществом или взлететь на герметическом

корабле вверх и обратиться в одного из спутников какой-нибудь планеты... Но Фриде решил прибегнуть к самосожжению и притом в его древней варварской форме, на костре, хотя техника его времени позволяла сжигать радиом в одно мгновение громадные массы вещества.

— Смерть на костре!.. По крайней мере, это будет красиво...

Он написал завещание:

«За тысячу лет существования я пришел к выводу, что вечная жизнь на Земле есть круг повторяемостей, особенно невыносимых для гения, самое существо которого ищет новизны. Это одна из антиномий природы. Разрешаю ее самоубийством».

В алькове тайн и чудес он воздвиг костер. Прикрепил себя цепями к чугунному столбу, около которого сложил горючие вещества.

Окинул умственным взглядом то, что оставляет на Земле.

Ни одного желания и ни одной привязанности! Страшное одиночество, о котором понятия не имели в древности, преследует его... Тогда — в прежнее время — были одиноки потому, что среди окружающих не находили ответа на искания духа... Теперь же одиночество — потому, что дух ничего более не ищет, не может искать, омертвел...

Без сожалений Фриде покидал Землю.

В последний раз вспомнил миф о Прометее и подумал:

«Божественный Прометей добыл когда-то огонь и привел людей к бессмертию. Пусть же этот огонь даст бессмертным людям то, что предназначено им мудрой природой: умирание и обновление духа в вечно существующей материи».

Ровно в полночь выстрелы сигнальных ракет возвестили о наступлении второй тысячелетней эры человеческого бессмертия. Фриде нажал электрическую кнопку, запалил зажигательный шнур, и костер вспыхнул.

Страшная боль, о которой он сохранил смутные воспоминания из детства, исказила его лицо. Он судорожно рванулся, чтобы освободиться, и нечеловеческий вопль раздался в алькове...

Но железные цепи держали крепко... А огненные языки извивались вокруг тела и шипели:

— Все повторяется!

КОММЕНТАРИИ

КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

Печатается по тексту первой публикации: *Богданов А. Красная звезда. Утопия*. СПб.: Товарищество художественной печати, 1907 (на титуле: 1908).

По одной из версий, прототипом главного героя был друг и соратник Александра Богданова Леонид Борисович Красин (псевд.: Зимин, Никитич, Ник. Ник., Лошадь, Юхансон, Винтер; 1870–1926) — инженер, участник социал-демократического движения с 1890 года, советский государственный и партийный деятель. Член ЦК РСДРП (1903–1907), Большевистского центра (БЦ), организатор и руководитель Боевого технического бюро при ЦК РСДРП. В 1909 году вместе с Богдановым выведен из состава БЦ. Нарком торговли и промышленности, путей сообщения (1918–1920); первый нарком внешней торговли СССР (1923–1925). Член ЦК ВКП(б) (1924–1926). После Октябрьской революции — на хозяйственной и дипломатической работе.

А. Богданов по праву считается своего рода предтечей и родоначальником советской научно-фантастической литературы, но его «Красная звезда» не была первым русским романом о Марсе. Еще в 1896 году уральский этнограф, беллетрист и путешественник Порфирий Инфантьев написал произведение под названием «На другой планете» (первоначальное название «Обитатели Марса»), а спустя пять лет оно было выпущено в Новгороде в изрядно исковерканном цензурой виде. В романе описывался социалистический рай, который был построен на своей цветущей планете процветающими и счастливыми марсианами, — общество, в котором

царит полное социальное равенство и начисто отсутствует эксплуатация одного человека другим.

«Утопия» — так жанрово определял свое произведение автор, при последующих переизданиях, правда, называя его «романом-утопией», — имела успех и широко обсуждалась, прежде всего социал-демократической «прогрессивной молодежью». Автор одной из рецензий, скрывшийся под инициалами С. Д., вспоминал: «Был ноябрь 1907 года, когда появилась „Красная звезда“: реакция уже вступила в свои права, но у нас, рядовых работников большевизма, все еще не умирали надежды на близкое возрождение революции, и именно такую ласточку мы видели в этом романе. Интересно отметить, что для многих из нас прошла совершенно незамеченной основная мысль автора об организованном обществе и о принципах этой организации. Все же о романе много говорили в партийных кругах...»

Спустя двадцать лет на гражданской панихиде, в речи, посвященной памяти Богданова, Н. И. Бухарин говорил о том, что роман «с трепетом и восторгом читала наша революционная молодежь. Он оказал огромное влияние на целое поколение российской социал-демократии, и многие товарищи обязаны ему тем, что ступили они на революционный путь» (Богданов А. А. Тектология. Всеобщая организационная наука: В 2 кн. М., 1989. Кн. 2. С. 345).

Далеко не все отзывы были исключительно положительными. К примеру, В. И. Ленин, по прочтении романа, обнаружил в нем глубоко «запятанный» махизм (такая оценка большевистского вождя закономерна и вполне объяснима: в это время (1907–1908) начинаются острые споры и идейные разногласия между Лениным и автором «Красной звезды», которые в 1909 году приведут к полному разрыву отношений). В защиту своего старого друга и единомышленника выступил А. В. Луначарский: «Можно ли считать „Красную звезду“ художественным произведением? Наши эстеты и критики поморщат носы, конечно. Помилуйте, художественных недочетов не оберешься в этой книжке, а чисто художественных достоинств: ярких образов, красоты и меткости слога, живых характеров и т. под. в ней почти нет. Тем не менее, я полагаю, что утопия А. Богданова может быть смело названа художественным произведением <...> Это отчасти научное

открытие, или его предвидение и популяризация, это пророчество. Сила поэтической мысли заключается здесь в победе над обыденным, в творческом построении прообраза грядущего целого из разбросанных и часто неуловимых элементов его, зреющих в недрах настоящего» (*Луначарский А. А. Богданов. Красная звезда. Утопия // Образование. 1908. № 5*).

Отозвался на выход романа и Максим Горький. Он писал: «Книга и понравилась мне, и нет. Чем понравилась? Светлой глубокой верой, тихой, прозорливой радостью, с коей автор смотрит в будущее. Не понравилась — излишком мудрости, несколько холодной и овевшей лица героев скукой, коя не должна быть ни ведома, ни присуща им — как мне кажется». Далее он отмечает, что Богданов «развернул картину, нарисованную слишком тонкими чертами, сложную...» (*Горький М. Письма: 1907 — август 1908 г. М., 2000. Т. 6. С. 144*).

«Красная звезда» неоднократно переиздавалась. С 1907-го по 1929 год вышло восемь изданий романа (в 1907; 1918, дважды; 1922, 1923, 1924, 1925 и 1929). Судя по «Автобиографии» Богданова, к 1925 году его роман был переведен «на французский, немецкий и еще несколько языков» (Российский Центр хранения и изучения документов новейшей истории. Ф. 259. Оп. I. Д. 1. Автограф; цит. по: *Неизвестный Богданов: В 3 кн. М., 1995. Кн. 1*). В 1923 году в Тбилиси появился перевод «Красной звезды» на грузинский язык, в 1925-м — на армянский, в Ереване.

«Вся полемическая литература против меня, столь обширная, что, при всем желании, мне нет возможности вполне ознакомиться с нею», — писал Богданов в «Воспоминаниях о детстве» в 1925 году. Но даже в то — еще не откровенно людоедское — время те многочисленные злобные выпады против неугодного философа, ученого и писателя в статьях и устных выступлениях уже нельзя было называть нормальной полемикой. Было придумано понятие «богдановщина», с которой полагалось расправляться беспощадно. Автору «посчастливилось» умереть до наступления самой страшной и кровавой поры. Он избежал репрессий. Но после его смерти им подверглись его произведения. «Красная звезда» не переиздавалась ровно 50 лет. В 1979 году роман включили (естественно, с сокращениями) в антологию «Вечное солнце» (М.:

Молодая гвардия, 1979. С. 250–379). В настоящем издании восстанавливаются все купюры, допущенные практически во всех предыдущих републикациях романа.

С. 19. *Доктор Вернер — литератору Мирскому.* — Помимо писательского псевдонима «А. Богданов», писатель А. А. Малиновский пользовался и другими; среди них — «Вернер». Под маской «*литератора Мирского*» (а в самом конце романа появляется на его страницах и «*философ Мирский*»), возможно, скрывается друг и соратник Богданова А. В. Луначарский (1875–1933), общественный и государственный деятель, первый нарком просвещения, академик АН СССР; литератор, публицист, критик, искусствовед, в юности изучавший философию в Цюрихском университете. На эту мысль наводит и один из псевдонимов Луначарского — «Воинов». Богданов относился к своему приятелю, коллеге и зятю (Анатолий Васильевич был женат первым браком на сестре Богданова, Анне Малиновской; кроме того, он являлся крестным отцом сына А. Богданова, Александра Александровича Малиновского) не без доли иронии...

С. 28. *Кюри, Мария* (Склодовская; 1867–1934) и *Пьер* (1859–1906) — французские физики, супружеская пара; с 1897 года занимались изучением явления радиоактивности. В 1903 году Шведская королевская академия наук присудила им Нобелевскую премию по физике.

Рамзай, Уильям (1852–1916) — английский химик и физик, лауреат Нобелевской премии по химии (1904).

«*Минус-материя*». — О «минус-материи», устройстве и принципах работы аэронефа и этеронефа см.: *Рынин Н. А.* Полеты при помощи минус и плюс материи (гл. 3) // *Межпланетные сообщения. Вып. 2: Космические корабли в фантазиях романистов.* Л., 1928. Один из пионеров космонавтики, Рынин указывал, что А. Богданов первым разработал идею использовать атомную энергию для двигателей космических кораблей. От этой идеи оттолкнулся и А. Н. Толстой в своей «Аэлите». Его герои, инженер Лось и буденовец Гусев, летят на Марс в интерпланетонефе — аппарате, имеющем много общего с богдановскими кораблями. А магацитлы, земляне, переселившиеся на Красную планету во время По-

топа, достигают Марса с помощью яйцеобразных кораблей, движущихся благодаря «силе распада энергии», то есть энергии, высвобождающейся при распаде атома.

С. 29. ...*двух ближайших, теллурических планет, Венеры и Марса*... — Имеются в виду планеты земного типа (от лат. *tellas* — земля). К теллурическим планетам, помимо Марса и Венеры, относят также Меркурий. Другие планеты Солнечной системы — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — принято называть планетами-гигантами.

С. 41. *Что же касается способа «пушечного выстрела»*... — Имеется в виду фантастический роман французского писателя Жюль Верна «Из пушки на луну» (1865).

С. 48. *Скиапарелли Джованни Вирджинио* (1835–1910) — итальянский астроном, профессор астрономии Миланского университета; был членом многих академий и научных обществ, в том числе и почетным членом Петербургской Академии наук (1904).

В 1877 году обнаружил на поверхности Марса сеть тонких линий, которые он назвал «*canali*» (каналы). Благодаря этому открытию утвердилась мысль об искусственном (рукотворном) происхождении «каналов» и были сделаны скороспелые и беспочвенные выводы о наличии на планете развитой цивилизации. Сам Скиапарелли не был приверженцем этой гипотезы.

С. 59. *Эрот* — планета Эрот (433), открытая в 1898 году; движется по эллипсу, большая полуось которого (1,46) несколько меньше большой полуоси орбиты Марса (1,52). Таким образом, планета движется, по сути, между Землей и Марсом. Но поскольку ее эллипс гораздо более вытянут, чем эллипс, описываемый Марсом, то часть его расположена внутри орбиты Марса, а часть — между орбитами Марса и Юпитера.

С. 64. ...*канто-лапласовской теорией происхождения миров*. — В трудах немецкого философа Иммануила Канта «Всеобщая естественная история и теория неба» и «Изложение системы мира» Пьера-Симона Лапласа, французского физика и математика, была впервые изложена гипотеза, основанная на эволюционных представлениях (об образовании Солнечной системы из облака рассеянной материи) — «небулярная гипотеза Канта — Лапласа».

С. 73. *Деймос и Фобос* — спутники Марса Деймос (с греч. ужас) и Фобос (с греч. страх), вращающиеся вокруг своих осей с тем же периодом, что и вокруг Марса, поэтому всегда повернуты к планете одной и той же стороной.

С. 78. *То был предок Мэнни...* — Далее следует краткий пересказ содержания романа А. Богданова «Инженер Мэнни»; герой этого романа — дед астронавта Мэнни.

С. 114. *...обновление жизни...* — Именно в «Красной звезде» Александр Богданов впервые изложил свою программу «обновления жизни» путем обменного переливания крови (в дальнейшем, когда он возглавил созданный в 1926 году по его инициативе Институт переливания крови, под руководством Богданова проводились эксперименты по продлению жизни и применялся термин «омоложение», хотя речь, разумеется, никогда не шла о полном омоложении; переливание крови применялось, в частности, для лечения анемии). См. также: Богданов А. А. Борьба за жизнеспособность. М., 1927. В этой монографии автор обобщил опыт многолетних исследований и развил идеи, вложенные им в уста марсианки Нэтти, одной из героинь «Красной звезды».

С. 191. *Вы встречали того, кого мы в шутку называем Старцем Горы; вы знали товарища Поэта...* — По всей видимости, подразумеваются В. И. Ульянов (Ленин; «политический вождь») и А. М. Горький («художник слова»).

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЕ»

Написано в 1923 году для грузинского перевода «Красной звезды». Печатается по изданию: Богданов А. Красная звезда. Л.; М., 1924.

С. 201. *Резерфорд, Эрнест (1871–1937)* — британский физик родом из Новой Зеландии. Признан «отцом» ядерной физики. Один из создателей учения о радиоактивности и строении атома. В 1899 году открыл альфа- и бета-лучи и установил их природу. Предложил планетарную модель атома (1911). Осуществил (1919) первую искусственную ядерную реакцию. Предсказал (1921) существование нейтрона. В 1908 году стал Нобелевским лауреатом по химии.

С. 202. ...доклад американских исследователей Вендта и Айриона... — В апреле 1922 года американские ученые Джеральд Л. Вендт и Кларенс Е. Айрион из Чикагского университета занимались изучением электровзрыва тонкой вольфрамовой проволоочки в вакууме, получая при этом около одного кубического сантиметра гелия (при нормальных условиях) за один выстрел, что давало им основания предположить о протекании реакции деления ядра вольфрама.

Именно я истолковывал шаровую молнию как атомный взрыв крупной «пылинки»... — см. статью А. Богданова «Что такое шаровидная молния» (Журнал Русского Физико-химического общества. 1911. Т. XVIII. Вып. 8. С. 441–443).

С. 203. ...сербско-французского ученого М. Петровича... — Михаил (Михайло) Петрович Алас (1868–1943), сербский математик, профессор Белградского университета, академик Сербской королевской академии. Начиная с 1906 года, разрабатывает «учение об аналогиях». Среди всех его изобретений самым значительным является гидрогенератор, за который он получил награду в 1900 году на Всемирной выставке научных достижений в Париже. Там же в 1921 году выходит его книга «Механизмы, общие для разнородных явлений».

ИНЖЕНЕР МЭННИ

Печатается по тексту первой публикации: Богданов А. Инженер Мэнни. Фантастический роман. М.: Издание С. Дороватовского и А. Чарушникова, 1912 (на титуле: 1913).

В дальнейшем роман несколько раз переиздавался (1918, дважды; 1922, 1925). В 1923-м в Москве «Инженер Мэнни» вышел в переводе на армянский язык. В 1929 году, уже в Ленинграде, в издательстве «Красная газета» — тиражом 120 000 экз. каждый — были выпущены оба романа «марсианского цикла» Богданова. Но если нового издания «Красной звезды» читателям пришлось ждать «всего лишь» полвека, то следующая републикация «Инженера Мэнни» состоялась уже в постперестроечные годы (см.: Богданов А. Вопросы социализма: Работы разных лет. М., 1990).

Сам Богданов писал о том, что его произведение посвящено «столкновению пролетарской и буржуазной культуры»

(см.: Деятели СССР и революционного движения России. М., 1989. Стлб. 33). В качестве носителя буржуазно-индивидуалистического сознания представлен инженер Мэнни. Его антипод — сын Мэнни «коллективист» Нэтти, во многом выражающий взгляды и позицию автора, чья эмпириомонистическая ориентация вызвала резкое неприятие романа Лениным. В 1913 году он писал М. Горькому: «...Прочел его „Инженера Мэнни“... Тот же махизм-идеализм, спрятанный так, что ни рабочие, ни глупые редакторы в „Правде“ не поняли» (Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. М., 1970. Т. 48. С. 161). Уже во времена глубокого застоя видный советский философ Э. В. Ильенков писал о том, какое важное значение имеет «Инженер Мэнни» для понимания эволюции взглядов А. Богданова (см.: Ильенков Э. В. Ленинская диалектика и метафизика позитивизма. М., 1980. С. 89).

С. 207. Из письма д-ра Н. Вернера... — Этот короткий текст потребовался автору для того, чтобы акцентировать связь между «Красной звездой» и «Инженером Мэнни», написанном позже и являющимся, с одной стороны, продолжением первого романа Богданова, но с другой — представляющим собой приквел, т. е. произведение, рисующее картины далекого марсианского прошлого и излагающее события, предшествующие тем, что описаны в «Красной звезде».

С. 209. После событий, описанных мною в книге «Красная звезда»... — Если в первом романе Леонид выступает в качестве главного героя, который в конце книги пишет мемуары о своих приключениях и злоключениях, то в «Инженере Мэнни» он, по воле Александра Богданова, является лишь автором предисловия к роману, переведенным им самим «с марсианского языка» и неким «загадочным образом» оказавшимся потом у доктора Вернера.

С. 211. ...исторический роман моего друга, писательницы Энно... — В «Красной звезде» Энно — молодой астроном и любовница Леонида (Лэнни).

С. 215. То была настоящая Вандея. — Вандея — один из первых 83 департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 года. А. Богданов сравнивает восстание, которое поднял герцог Ормэн Альдо про-

тив Федеральной республики, со знаменитым «Вандейским мятежом» под предводительством Жака Кателино, контрреволюционным выступлением крестьян, дворян и духовенства из Вандеи. Подобно восстанию в Таумазии, «Вандейская война» окончилась победой республиканских властей; только в отличие от марсианской «войны», длившейся год, она носила более глобальный и затяжной характер (1793–1796).

С. 218. *Его звали, как и отца, Ормэн; но он... всегда подписывался «Мэнни»...* — Пример «воображаемой марсианской этимологии» А. Богданова: на самом деле «Мэнни» — производное от имени «Эммануэл» («Эммануил»).

С. 224. *Знаменитый Ксарма...* — В этом искусственном имени, придуманном для героя автором, содержится прозрачный анаграмматический намек на Карла Маркса.

С. 229. *Нэллой* в «Красной звезде» звали мать Нэтти, возлюбленной Леонида-Лэнни.

С. 261. Если в первом романе Богданова *Нэтти* была врачом и любимой марсианской женщиной Лэнни, то здесь, благодаря автору, она «переквалифицировалась» и «переменила пол»: стала инженером и сыном Мэнни.

С. 275. *А если бы она была легка, тогда, братья, стоило бы говорить о ней?* — По первоначальному замыслу автора тайный съезд должен был завершаться стихотворением (оно приводится ниже) рабочего поэта. Стихи не прошли цензуру и не вошли в текст романа при издании его в 1912 году. Богданов смог опубликовать их только через восемь лет в «Пролетарской культуре» (1920, № 17–19), основном органе Всероссийского совета Пролеткульта, под псевдонимом «Н. В.» (Н. Вернер?).

Настанет день (Видение будущего)

Движутся стройно, оружием сверкая,
Массы волной боевой.
Эта гигантская сила людская —
Тело Идеи живой.

Гордо над гулом движенья всплывая,
Словно в порыве одном

Воздух и землю, и небо сливая,
Песня несется кругом.

«Прочь! сторонитесь богатые, знатные, сильные,
Время настало сойти вам под своды могильные.
Новый властитель, грозу собирая, идет.
Мы — его имя: великий рабочий народ!

Знаем: идти нам не близко, дорогой тернистою.
Песней ее мы украсим победно-лучистою.
Прошлое с ней погребем и достойно почтим.
Мы ведь по праву наследники предкам своим.

Мы — не могильщики. Нового мира строители,
Ради труда всетворящего мы — разрушители, —
Ради простора для скованной силы труда:
В нем наша цель, путеводная наша звезда.

В нашей работе, велениям нашим послушные,
Служат Огонь и Железо, стихии бездушные.
Нам ли господ и хозяев иметь над собой?
Миром должны овладеть мы и нашей судьбой.

Мир отравляет бессмысленно жизни дробление,
Ложь и насилие, страх и вражды ослепление.
В битве последней покончим единства врагов, —
То, что разорвано, свяжем на веки веков.

Кровью вспоенная, станет земля плодороднее;
Будет цветов полевых красота благороднее;
Речи и ласки таить перестанут обман;
Жизни потоки сольются в один океан.

Истины слово бессильно над душами старыми.
Время настало для нас убедить их — ударами.
Истину высшую новый учитель несет.
Мы — его имя: великий рабочий народ».

В песне звучит непреложная воля
Нового мира творцов.
Смерть иль победа — их общая доля;
Третьего нет для бойцов.

Раны бессмертного тела Идей
Жизни рассвет исцелит.
Братство свободное солнца светлее
Царство Труда озарит.

1912

С. 312. ...они просто умерли и стали вампирами. — О вампирах и «вампирической» теме в творчестве А. Богданова см. любопытные работы М. П. Одесского: Миф о вампире и русская социал-демократия (литературная и научная деятельность А. А. Богданова) (Литературное обозрение. 1995. № 3); «Физиологический коллективизм» А. А. Богданова. Наука — политика — вампирический миф (Одесский М. П. Четвертое измерение литературы: Статьи о поэтике. М., 2011. С. 367–377). См. также и работы самого Богданова о вампирах и «вампиризме идей»: Падение великого фетишизма. Вера и наука. М., 1910; Великий упырь нашего времени // Неизвестный Богданов: В 3 кн. М., 1995. Кн. 1.

С. 342. ...работали... над созданием знаменитой «Рабочей Энциклопедии»... — В 1908 году в письмах к различным адресатам Горький говорит о необходимости подготовить и выпустить «Энциклопедию по изучению современной России». Этот проект, подразумевающий издание цикла книг, посвященных различным областям знаний и ориентированный прежде всего на читателей-рабочих, Буревестник Революции задумывал вместе с Александром Богдановым. Несмотря на дальнейший разрыв с Горьким (1910), идеи Богданова, связанные с созданием подобной «Энциклопедии», воплотились в его книгах «Философия живого опыта» (СПб., 1913) и «Наука об общественном сознании» (М., 1914).

С. 343. ...положил начало всеобщей организационной науке. — См.: Богданов А. А. Всеобщая организационная наука: Тектология. М., 1913–1922. Т. 1–3.

МАРСИАНИН, ЗАБРОШЕННЫЙ НА ЗЕМЛЮ

Это стихотворение — маленькая поэма — А. Богданова (в авторской версии — «Марсиянин, заброшенный на Землю») было написано в 1920-м, но опубликовано только в

1924 году — в качестве приложения к переизданию «Красной звезды». См.: Богданов А. Красная звезда. Роман-утопия. Л.; М., 1924.

В 1984 году оно вошло в книгу, выпущенную в США, составив — вместе с романами «Красная звезда» и «Инженер Мэнни» — единый «марсианский цикл»: *Bogdanov A. Red Star. The First Bolschevik Utopia. Bloomington: Indiana University Press, 1984.* А. Богданов не собирался ограничиваться двумя «марсианскими» романами. Замысел третьей, заключительной части космической трилогии остался незавершенным, но отчасти воплотился в небольшом поэтическом тексте. Герой этой поэмы (и неосуществленного третьего романа), единственный оставшийся в живых среди членов неудачной экспедиции марсиан на Землю, живет среди людей инкогнито, как равный среди равных, никто не догадывается о его «внеземной душе» и принадлежности к марсианской высшей расе, уже построившей коммунизм на своей «отдельно взятой» Красной планете.

Известный генетик и биолог А. А. Малиновский, сын Александра Богданова, отвечая на вопросы В. Н. Ягодинского о Богданове и его «Марсианине...», сообщал:

«После двух романов, связанных с Марсом, А. Богданов задумал третий. Это должна была быть повесть о том, что первая экспедиция марсиан на Землю потерпела катастрофу при приземлении, и все ее члены погибли, кроме одного, который выжил и которого земные люди принимали за своего собрата, не догадываясь о его необычном происхождении. Не буду излагать даже важных подробностей. Скажу лишь о наиболее существенном. Марсианин видит дореволюционную Землю и смотрит на ее людей, ее порядки глазами человека человечества, которое достигло высшей стадии коммунизма, гармоничного, гуманного и разумного. Его потрясают эгоизм и озлобленность, усугубляемые глупостью даже в самых образованных и благополучных слоях передовых капиталистических стран <...>

Этот роман о трагедии человека, безвозвратно вырванного из того общества, которое для нас — образ прекрасного будущего. Но уже скоро Богданов увидел, что тяжелые обстоятельства его жизни и большие задачи, которые он

ставил перед собой (развитие тектологии, работы по переливанию крови и многое другое), не позволят ему вложить немалые силы в третий роман. Но он, захваченный идеей этого романа, все же написал стихотворение, передававшее эмоционально идею романа».

ПРАЗДНИК БЕССМЕРТИЯ

Рассказ при жизни А. Богданова публиковался лишь однажды. См.: Летучие альманахи. Пг., 1914. Вып. XIV. В 1991 году состоялась его публикация в журнале «Уральский следопыт» (№ 1. С. 25–28). Тематически «Праздник бессмертия» примыкает к романам «Красная звезда» и «Инженер Мэнни», но изображает, в отличие от них, не марсианское прошлое или настоящее, а будущее землян, давным-давно построивших настоящий коммунистический рай, в котором решена проблема старения благодаря открытию чудодейственного «иммунитета». Главный герой рассказа, гениальный ученый Фриде, во многом напоминает великого инженера Мэнни из одноименного романа. Подобно ему, в финале он кончает жизнь самоубийством.

С. 355. Бэкон, Фрэнсис (1561–1626), барон Веруламский, виконт Сент-Олбанский — английский философ, историк, политический деятель, основоположник эмпиризма. Вопрос об авторстве произведений Шекспира впервые возник в 1785 году, когда было высказано предположение, что автором этих произведений является Фрэнсис Бэкон. Так называемая «бэкониянская версия», по которой тексты, известные под именем Шекспира, приписываются Бэкону, не получила признания научного сообщества.

С. 358. Мегалантропы (мегантроп) — крупный человекоподобный ископаемый примат. Одни ученые относят мегалантропа к питекантропам, другие сближают его с австралопитеками. По некоторым данным, мегалантропы достигали в высоту до пяти метров.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Мирзаев. «Марс, давний старый друг! наш брат! двойник наш алый!..»	5
Красная звезда. Роман-утопия	17
Часть первая	21
Часть вторая	75
Часть третья	128
Часть четвертая	178
Послесловие к «Красной звезде»	201
Инженер Мэнни. Фантастический роман	205
Предисловие переводчика	209
Пролог	220
Часть первая	238
Часть вторая	261
Часть третья	284
Часть четвертая	326
Эпилог	341
Марсианин, заброшенный на Землю. Поэма	345
Праздник бессмертия. Рассказ	351
Комментарии	370

Литературно-художественное издание

СЕРИЯ «ЛЕНИЗДАТ-КЛАССИКА»

Александр Александрович Богданов

ПРАЗДНИК БЕССМЕРТИЯ

Избранные произведения

Ответственный редактор *Наталья Меньшенина*

Технический редактор *Сергей Малахов*

Верстка *Алексея Положенцева*

Корректор *Нина Натарева*

Директор издательства *Максим Крютченко*

Подписано в печать 07.04.2014. Формат 75×100 ¹/₃₂.
Гарнитура CharterC. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,68.
Тираж 2000 экз. Заказ А-2194.

ООО «Команда А» — обладатель товарного знака
ЛЕНИЗДАТ®

ООО «Команда А»

191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 9, лит. А, пом. 6Н
Тел./факс (812) 331-50-02

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в типографии филиала ОАО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идел-Пресс»
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2



VKLS0318A35901

А. БОГДАНОВ

ПРАЗДНИК БЕССМЕРТИЯ

Литературное творчество Александра Богданова (1876–1928) — одна из вершин этой уникальной разносторонней личности. Он был известен как талантливый врач-психотерапевт; автор оригинальных работ по экономике и философии; профессиональный политик; социал-демократ; член ЦК партии большевиков; сначала соратник, а затем соперник В. И. Ленина, его антагонист; член оппозиционной группы «Вперед»; лидер и идеолог Пролеткульта; организатор первого в мире Института переливания крови. Трудно назвать сферу деятельности, которой не коснулся бы А. Богданов, область науки, в которой он, настоящий подвижник и ученый-энциклопедист, опередивший свое время, не оставил бы след. В книгу вошли произведения, составившие так называемую «марсианскую» трилогию Богданова: роман-утопия «Красная звезда», фантастический роман «Инженер Мэнни», поэма «Марсианин, заброшенный на Землю», а также тематически примыкающий к ним рассказ «Праздник бессмертия», посвященный далекому будущему нашей планеты, где люди наконец построили коммунистический рай и открыли свой «эликсир бессмертия».

ISBN 978-5-4453-0176-9



«Лениздат-классика» —
лучшее
из русской и мировой
литературы



ЛЕНИЗДАТ

— 1917 —

«Лениздат» — одно из старейших российских издательств — был основан почти сто лет назад, в 1917 году.

Именно в «Лениздате» появилась первая советская массовая серия «Народная библиотека», где выходили произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Горького и других крупнейших писателей.

А в 80-е годы здесь печатались Зощенко, Шукшин, Платонов, Гранин.

Сегодня, сохраняя лучшие традиции российского книгоиздания, мы продолжаем знакомить читателя с книгами самых известных русских и зарубежных авторов, а также тех, чьи имена в последние годы были незаслуженно забыты.

ПРАЗДНИК БЕССМЕРТИЯ

А. БОГДАНОВ

